

Борис Климычев

## ЛЮБОВЬ И ГНЕВ ВОРА-ПОДРЕЗА (с)

р о м а н

### 1. СВЕТЛЫЕ СТРУИ

Когда господь своею милостию творил землю, то одни её уголки получились, как жарки угольки, иные, как чистые снежиночки, а в иных - всё леса да тропиночки.

Слобода Верхняя разместилась на берегу Тома, за ветром, стояли дома под боком у лесистой горы, которая выходила к реке носом, то есть, синим скальным утесом.

Выходили по берегам белые и синие глины, было много ивы, чтобы плести корзины. Бел-камень ломали, делали подвалы, да глину камнем бутили, бывало, А глину лишь сунь на гончарный круг, горшок сам получится вдруг.

А сочные заливные луга! А кедровая да сосновая тайга! Жирная пахотная земля, осенью золотом смотрят поля. Пусть на одежде порою прорехи, очень кедровые сладки орехи.

Река - чистота, христианам - крещение, а грешен, - проси у реки ты прощенья. А Тома приносит с Алтайской горы и стелет по дну самоцветов ковры.

Люди здесь всегда в делах да заботах. Сев, сенокос, пастьба, собирай урожай, выпекай каравай. А еще - зверь да птица, а еще - свежей рыбки хочется. Еще мы шорники сами, дуги гнем, телеги делаем да сани, еще плетем корзины и короба, какая уж тут, братцы, гульба!

А и свободное время выдастся, так не уйти далеко от слободы, как бы не нажить какой беды. Нападают вороги нередко, надо глядеть зорко, а стрелять метко. А чтобы было не так страшно, на синем утесе стоит дозорная башня, на ней стоят казаки да смотрят по сторонам из-под руки.

Но красота вокруг такая, что никому в голову не приходила мысль о переселении отсюда.

Слободжане многих уж родичей не досчитываются, ребятишкам толкуют:

"Не шастайте по лесам, немирной колмак утыщит!"

Строили избы, как крепости: окошечки-бойницы высоко под крышей. Каждая изба обнесена двойным тыном. А между ними - бегали большие зверовые собаки. Вся слобода была обнесена мощным острогом.

На дальних пашнях да в кедровниках были небольшие бревенчатые крепости. Увидишь врага, беги в башню, запирайся, суй в отверстие ствол пищали, отстреливайся, пока подмога не придёт.

Славно было жить в слободе. А чтобы исповедаться, повенчаться, - надо было в Томск ехать. Не ближний свет. Почти два часа езды. Правильно ли, что слобода при её красоте не увенчана венцом красоты - храмом божиим? К тому же крест святой против разбойников - первейшее средство.

Вон подрастают девушки остроглазые, стройные, вон парнишки себе в работе жилки наращивают. Станут девицы зрелыми, станут парни могучными, да была бы у них память о венчании в родном своем уголке. Церковь нужна.

Пусть её маковки и кресты глядят в воды быстрой Тома-реки.

И скамьи поставим возле церковной ограды, чтобы старики под кедрами молодость вспоминали. А церковь, она еще и крепость, она колоколами своими об опасности предупредит.

Когда семьи крепко дружили, то бывало, обносили тыном по две избы сразу, так и дешевле получалось, и надежнее. Так были объединены дворы Моховых да Тельновых. Во время разбойного налёта погибли на пашне старший Мохов да его два сына. Осталась Федора Мохова вдовой, а с ней девочка Устька - сиротка.

Семка Тельнов - Устькин одногодок. Бегали они по слободе вместе с той поры, как научились ходить, а не ползать. На обеих - одинаковые рубашонки, волос у обоих светлый,

родители-то в Сибирь-матушку от Бела-моря прибыли. А глазенки, как васильки во ржи. Росточку одного, поди, разбери, кто из них мальчик, кто - девочка.

Несмотря на запрет, уйдут, бывало, в поля, леса, к тенистым полянам, быстрым ручьям. Устька веночки плетёт, на себя, на Семку наденет. Черёмухи спелой наедятся, аж зубы черные, а язык синий. Пойдут после к Томе-реке, на бережке - глины белые. Выкопают в глине лунку. Семка туда пописает, станут на коленки, прилежно глину вымешивают. И лепят булки, куличики, куколок.

-Глянь, у меня лешак получился.

-Нет, лучше ты, Семка, на мой горшочек глянь!

- Семка, пописай еще, глину развести.

Сама писай, мне нечем более... Да нет, до реки идти далеко, в ладошках водичку не донесешь, да с холодной-то плохо месится.

Устька присела стала писать. Семка удивился. Сколько раз смотрел, не замечал, а тут - заметил:

- Устька, у тебя письки нет, отболело, али оторвали?

- Не отболело, не оторвали, так и было.

- Плохо, тебе каждый раз присаживаться надо...

Сказал и тут же забыл. Какая разница, как писать? Ну, родилась без письки, шут с ней, зато играть с Устькой всегда интересно.

Так годы шли. И с годами Устька всё более стала отличаться от Семки. Она стала в сарафане ходить, а он - в штанах. Семке голову обстригали, надев на неё глиняный горшок, получалась стрижка в кружок. А Устька волосы в косы заплетала, становились они у неё всё длиннее да пышнее.

Если в песне поют про русы косы до пояса, то Устиньины косы были почти до пят. Распустит волосы, так и закроется ими. Откуда, что взялось? Божий промысел.

Тяжело расчесывать, да красота-то радует. Правда, смотрелась Устька только в роднички у реки. Зеркал в домах слободских не держали. Ходил тут старичок-ведун. Сказывал. Брат его был монахом, жил на душе с Божиим страхом. Черт к нему ночью в рукомойник влез, а монах-то утром встал, да и закрыл рукомойник серебряным крестом. Чёрт томился, черт взмолился. Но Власий и не думал выпускать. Так, мол, тебе и надо.

А однажды пошел Власий собирать на монастырь, Идёт, лес и бор ему нравятся, и вдруг - навстречу красавица: ни в сказке сказать, ни пером описать, впору запеть или заплясать. Власий похвалил её красоту, а она:

-Это слово за сказку почту...

Попросила монаха достать ей зеркальце. В те поры в здешних местах зеркалами не торговали. Пришел монах в келью, спрашивает черта:

-Чёрт, зеркало сможешь сделать?

- Крестними, сделаю!

Снял Власий крест. Выскочил чёрт из рукомойника, дунул, плюнул, помочился в кулак, покраснел, как рак, и зеркало вынул из собственного зада, а оно сверкает, светится. Что надо!

Монах отнес зеркальце девице, она схватила его: глядится, глядится.

- Экая я, какая девица-душа, лицом и фигуркой, всем хороша. Не пойду ни за попа, ни за землепашца, а отдам честь свою девичью только царевичу-королевичу!

И всё смотрится, смотрится. И всё-то она в зеркале том - красивая, А на деле-то почернела вся, подурнела, нос стал, как морковка, сморкаться неловко. Увяла девка до срока. Зеркало-то от беса, одна сухота от него да морока.

Устинья в зеркало и не смотрится, у них и дома нет. А волосы, что ж, придёт время - замуж, в работу, тогда и обрежет. Пока - матери помогает, а всё - дитя: и по черёмуху хочется, и Томе-реке искупаться. Правда, теперь уж туда не Сёмкой ходит, а с подружками.

Вот раз побежали девчонки к реке. Шмели гудели, да стрекозы у бережка трепетали сине-зелеными крылышками.

Вода на перекате журчит, словно разговаривают многие люди вполголоса. И хочется лечь на гальку на перекате, пусть речная волна через тебя перекатывается, воркует.

В зарослях пижмы и тальников девчушки сдернули сарафанишки да рубашонки, бегут нагишом к воде, ладошками прикрываются, а Устька собственными волосами прикрыта.

- Села баба на горох - о-о-ох! - крикнули хором и разом окунулись. Сперва-то вода холодной кажется, потом поймешь- парное молоко. Смех, кипение воды, брызги.

А к кустам, где девчоночьи одёжки, парнишонки, как змеи-аспиды крадутся. Украли одёжу, намочили, такими тугими узлами завязали, что вовек не развязать.

Вылезли девчонки, а одёжки-то нет. Мальчишки возле той одёжки скачут, ладонь к глазам - смотрят, дразнят:

-Экие вы, какие, совсем не такие!

-А Сёмка от нагой Устьки и глаз не оторвёт. Аж дыхание перехватило. А один Устькин глаз, синий-синий, сквозь намокшие пряди глянул, и совсем по-взрослому Устька сказала:

- Не смотри, Сёма, ты лучше одёжку развяжи, да принеси.

И подчинился Сёмка, пальцы в кровь изодрал, развязывая, а мальчишки ругали его:

- Почто отдал? Пусть бы покуковали!

Пошли парнишки луки да стрелы ладить, девчонки в слободу вернулись. На берегу, мужики церковь строили. Пахло стружкой, толченым камнем, берестой.

Вздохнули девчушки:

- Может, когда-нибудь нас тут венчать будут.

Рассмеялась Устька:

- Если нас кто-нибудь возьмет.

## 2. ДЕТИ ВОЛХВОВ

На Акулину-вздери-хвосты варили "мирскую кашу". Посреди деревни она прела в огромном котле. Полагалось давать её всем прохожим и проезжим, нищим и монахам, но таковых не было, так приходили ребятишки да парни и девки с чашками, а иногда и взрослые мужики и бабы.

А на Аграфену-купальницу вся слобода шла баниться, тащили веники, сказывали прибаутки банные, пели банные песни.

На Ивана Купалу заплетали ветви двух близко стоявших берез, чтобы получилась живая арка, вечером прыгали через костры, качались на качелях.

Вместе с другими переселенцами пришли в Сибирь древние деды, волхвами звали их за седые кудри, длинные бороды и усы. Волхвы-то эти уже перед господом богом на одной ножке стоят, да их присловья и байки в души людские, как семена в землю ложатся.

Боялись слобожане не только ворогов-разбойников, но еще и нечисти всякой. Почему в одном хозяйстве корова принесла двухголового теленка? А когда медведицу в овсах убили да шкуру с неё ободрали, то и увидели: тело-то у неё бабье!

А сколько раз не только ребят, но и взрослых леший в лесу путал? Он по осоке бежит, сам - росточком с осоку, среди деревьев - сам ростом с дерево. Так путает, глаза отводит. Баба пошла за колбой<sup>1</sup> на часок, а вернулась через неделю. Исхудала, оборвалась, спасибо, что жива осталась.

Не то цыган, не то калмык через слободу ехал, да, лошадь под ним, а миновал дворы, глянули, а он на собаке гарцует! После сего случая, у одной бабы корова слегла, а у другой две козы сдохли. А собака, которая под цыганом была, после возле слободы бегала. Бежала, через голову перекувыркнулась и - бац! - Старухой стала: изо рта клыки торчат, пальцы кривые и с черными когтями. Коровья Смерть!

Одна баба "повешалкой" стала, баб звала. Согласна идти, вот тебе плат, утри им руки.

И наказали бабы мужикам, чтобы всех собак крепко-накрепко привязали, а сами не смели даже из дома выглядывать. Взяли бабы в руки ухваты, серпы, косы, кочережки, помела, скалки, дубины, вальки, катки. В полночь зажгли пучки лучин, и шум такой подняли, хоть святых выноси.

"Повешалка" впряглась в соху, пошли все вокруг слободы, чтобы трижды провести борозду. Пели при этом:

- Выходи, Коровья Смерть,  
 Из родимого села,  
 Из закутья,  
 Из двора!  
 Мы тебя огнем сожжем,  
 Кочергой загребём,  
 Помелом заметем,  
 И попелом забьем!

Знали, что на пути их может встать только сама Коровья Смерть. А она хитрая. Она может в любой образ войти, ей надо только сорок раз перекувырнуться.

И попалась им навстречу Коровья Смерть в виде старикашки с сумой. Свет луны был тусклый, но они тотчас поняли - кто это, забили старичка до смерти.

Скот в селеньедохнуть перестал, а старичка-то, Коровью Смерть, то есть, закопали далеко от слободы и в могилу вместо креста вбили осиновый кол.

Всё бы ничего, только один казак из деревни Казанки услышал про это дело, сказал, что ходил тут меж дворами старичок-бывальщик. Люди любили его на ночлег пускать, ласков был и бахарь отменный. Сказывал и про Анику-воина, и про Рахманов египетских, всякое такое прочее. Не его ли вы, бабы, забили сдуру? Что-то ноне не ходит старичок тот по деревням.

Верхнеслободцы сказали тогда казаку, что старичок-то бахарь в какие-нибудь иные края наладался, они ведь, калики перехожие, не любят долго на одном месте толочься. А казак им:

- Может оно и так, а может, оно иначе. Старичок, вроде, ни в какие дальние края не собирался.

Напоили казака вином, а он и говорит:

- Дешево не отделаетесь, соберите для меня миром двадцать ефимков, чтобы я век молчал.

Стали верхнеслободцы торговаться. Сговорились на десяти. Только ты, мол, казак, больше с нас ничего не спрашивай и про все забудь.

Так-то оно так, только покоя почему-то не стало. То девку родимчик забьет, то парень в постелю по ночам мочиться станет. А в 1636 году на Томе-реке такой ледяной затор сделался, что всю слободу по самые крыши залило. Вот так вам старичок и оторвался! А вы думали что? А ведь о наводнении и домовые предупреждали, веля собакам непрестанно лаять, да рыть ямы возле дворов.

Весь свой скарб все же успели попрятать на чердаки, али утащить на высокие места, на гору к самому Синему утесу. Вода-то сперва помаленьку прибывала, ставили мерные вешки, богу молились, на лучину шептали.

Сёмка в долбленной лодчонке перевозил к горе узлы, горшки, корзины с добром, сундуки с платьем. Лошадей и скотину разместили на горе во временных загонах.

Помог Семен и Устьке с матерью их добро на гору перевезти. И надо же было случиться, что в лодке татарской долбленной сделалась течь, а вода - ледяная. Устька промочила ноги и заболела. На горе, в шалашике, сделанном на скорую руку, лежала в беспомощности. Над ней причитала мать. И Семену так жалко стало подругу своего детства! А ну, как умрёт?

Взнуздal Семка коня и погнал на заимку к стрельцу Ипату. Был он неизвестно за что сослан в Сибирь. Мужчина ражий, голосом громкий. Грамотной.

Поселился Ипат в лесу, на отшибе. Его, бывало, спрашивали:

- Не боисси?

- Боюсь, черта да бога, да людей немного, а вообще-то я стрелец, хоть в поле, хоть в лесу, любому басурману башку снесу!

Дом его на заимке был рублен из толстенных лиственниц, отделан кедром, целебным деревом. Тын был, что твоя крепостная стена. И пасека у Ипата, и огромное поле, и даже маленькая своя мельничка на ручье.

Повез Семка Ипата в Верхнюю слободу. Осмотрел Ипат Устинью, лоб ощупал:

- Внутренний огонь у неё. Надо развести порошок семи трав толченых, вот он в туюске.

Вот на листке - молитва, с молитвой давайте пить теплый отвар...

Прошел Ипат по горе, осмотрел залитую водой слободу и похвалил:

- Место под церковь выбрали правильно, её на холме заливать никогда не будет.

Достраивайте быстрее, Господь вам в помощь.

Уехал из слободы Ипат. А дня через два и вода сошла. Солнышко пригрело, и на вспоенной половодьем земле травка буйно зазеленела. И Устька очнулась, на поправку пошла.

А мир Господень чуден в Сибири весной. Все наливается соком, спешит зацвести, дать завязь, чтобы успеть за короткое лето и плод вырастить.

Мужики дышали смоляной стружкой и ветром, рубили дерево, стружка летела, как тонкими кольцами завивалась. Сподобились вскоре церковь и под крышу подвести.

Написали в Тобольск-город архиепископу Герасиму, так, мол, так: храм есть, надобен поп-батюшка. К зиме ответ пришел: слободка маленька, попа не ждите, ему там руги-прокорма не будет.

А без молитв в божьем храме, жизнь-то не та. Не успели убытки от наводнения подсчитать, в летнюю жару пожарище случился. Хорошо - река рядом, а то бы все село сгорело. Но и трех домов жалко.

Недороды стали случаться.

Вспомнили тогда слобожане убиенного старичка. То ли это Коровья Смерть была, то ли, в самом деле, невинную душу загубили. Грех-то жить и не дает, и отмолить его негде.

Нашли могилку старичка, осиноый кол вытащили, поставили скромный крест.

Подумали, подумали и поехали стрельца Ипата в попы звать. А что же делать, если архиепископ отказал им?

Ипат отказывался, а потом, подумал, согласился. Оставил за себя на заимке хозяйствовать старшего сына, Ермолая.

Как приехал Ипат в слободу, первым делом из кисы своей посыпал на выделенном ему участке, и возле церкви, землю, взятую им еще из Москвы, когда его оттуда высылали. Часть этой земли он прежде заимке высыпал, а остатную - тут. Посыпал, да сапогом приотпнул:

- По своей земле хожу, по московской!

Поповский дом строили всей слободой, потому и встал он быстро.

Для церкви каждый что-нибудь да принёс: кто воску ярого, кто икону, кто свечку.

И почал Ипат службу вести чинно, благолепно, как подобает.

И окропил Ипат слободу, чтобы меньше дьявольских страхов тут водилось. И лечить мог, и грамотки челобитные писать. Лучшего попа-батюшку и придумать нельзя. И полюбили крестьяне отца своего духовного, всякий день за советом шли.

Устинья нередко поглядывала на церковь да вздыхала. Бывало, пойдет с серпом, травы резать, а Семка ненароком рядом оказывается. Рядышком стоят да молчат.

А дело было такое. Лавочник местный Андрон Веников Устькину мать в кабалу взял. Муж-то помер, коня нет, недороды случались. Семка помогал по-соседски, да конь-то у Тельновых один.

Андрон Веников давал в голодное время Федоре в долг то ржицы, то соли, то мясца кусочек. Давал-то с добром, да всё записывал, и Федору руку прикладывать заставлял. Может, лишнего немало приписал, разберись, поди.

А недавно пришел к Федоре с младшим сыном-Кешкой и говорит:

- Должна ты мне много. На полста ефимков набрала всего. Но если хочешь, ничего не будешь должна, а сам я у тебя по уши в долгу буду.

- Как это так?- спросила Федора, хотя отлично поняла, к чему лавочник клонит.

- Отдай Устьку за моего Кешку, и в расчете будем.

- О том надо Устьку спросить, против её воли я не пойду, она у меня одна, как сосеночка на утесе.

- Спрашивай да побыстрее, - сказал Андрон, - если же отказ, так долг сразу же верни.

Вот и встретились теперь Семен с Устькой вроде случайно, а думы их об одном. Семен молчит, молчит, да и скажет:

-Что же делать нам? Спрашивал я батяню, нет у нас таких денег, чтобы с Андроном рассчитаться. Что делать - ума не приложу, хоть в воду с обрыва бросайся.

Устька смотрит на него, смотрит, и улыбка лицо озаряет:

- А помнишь, Семка, детишками были, ты меня калекой признал, не-то, мол, у меня отболело что. Так на что я тебе, такая... увечная?

-Ну, уж ты, Устинья, скажешь, что мы тогда понимали? Оно смешно-то, смешно да все одно - невесело. Как же я без тебя буду?

Устинья не меньше Семена переживала да вида не показывала.

Гадала. Вышла раз на рассвете с первым куском во рту, первого встречного спросила: не придумает ли какое-нибудь имя. Мужик, почесал затылок и сказал:

- Авдей!

А какой Авдей? В слободе лишь один Авдей и был - дед столетний. Потом воск в воду лила, получилось невесть что. Возле церкви ночью голоса слушала. Не было голосов, только утки где-то кричали, да мыши в соломе шебуршали.

А однажды пришел к Федоре и Устинье поп Ипат и сказал:

-Ведаю вашу печаль. Я отдам ваш долг Андрону, а Устинья с Семеном мне потом потихоньку все выплатят. Будут робить, бог поможет.

- Да ты как про нашу заботу узнал? - удивилась Федора.

Ипат погладил бороду:

-Птичка летела, слезинку уронила. А как по любви женятся, так ангелы в небесах поют, радуются...

Осиновая чешуя на маковке церкви от дождя покраснела. А Устькины губы - еще краснее. Отзвонили Устьке и Семке колокола, отвеселилась слобода Верхняя, за исключением разве Андрона и Кешки.

Ангелы в небе говорили:

- Споём! Споём!

А Семка да Устька остались вдвоем.

Раздевал Семка свою Устьку дрожащими руками. Сердце прыгало, вздрагивало, как зайчишкин хвост. А в глазах ходили круги, словно он долго смотрел на солнце.

Обнаженная Устька лежала перед ним, как золотая долина, полная невиданных цветов и райских благоуханий, да показалось Семке, что и сами райские плоды лежат перед ним.

И много раз в эту ночь они умерли и воскресли вновь, удивляясь: как это до сих пор они могли жить отдельно друг от друга?

Утром Устька капризно сказала:

- Сем, а разве нельзя, чтобы мы всегда были соединенные?

Семен, полушутя, ответил:

- Да я бы и рад, но кто будет хозяйство ладить? Ну, не хмурься, ночь-то ведь всегда будет наша...

### 3. ЗА МНОГИЕ ВОРОВСТВА

В опалу попасть не так уж и трудно. В 1644-ом году в город Томской был сослан патриарший стольник Григорий Плещеев-Подрез.

Знатного рода был молодец: Плещеевы и Плещеевы-Басмановы, бывало, с одного блюда с царями вкушали. Бывали они и воеводами в разных городах, бывали советниками царей, служили посланниками в дальних странах. Григорий сам служил в Литве, видел и Данциг, Кёнигсберг, и Лондон, иохимталерами, а попросту - ефимками - сорил в заморских кабаках.

Знал Григорий многие иноземные языки. В чужих краях познакомился с алхимиками, чернокнижниками, волшебства у них всякие выведывал. Пытливый. Но не нашел таких, чтобы могли медь в золото обращать, разным мелким хитростям только и научили.

Патриарх Иосиф стремился получше укрепиться. Только что были смуты великие, и царь Михаил Фёдорович опасался всякой шатости. Иосиф написал поучение, остерегая народ и бояр от пьянства, непотребства и всяческой ереси. Пригрозил патриарх россиянам страшными карами на том свете, царь обещал то же самое на свете этом.

Однажды патриарх, оставшись один на один со своим стольником, напомнил вдруг, что служил Григорий Плещеев в Литве с одним человеком, который теперь в тайном приказе обретается.

- Нам ведомо,- сказал патриарх,- что ты с ним вместе вино пьешь, да оба вы блуду предаетесь. Грех твой велик. Но ты можешь послужить святой церкви, узнавая у этого человека касаемое церковных дел. Они там иногда замахиваются даже на престол Господень. Ты отмолишь свой грех, если будешь хорошо исполнять мой наказ.

Плещеев дернул плечом, вскочил и выкрикнул:

-Ярыгой хочешь меня сделать? Грехами попрекаешь? Ты-то и рад бы согрешить, да нечем!

Сказал сгоряча и тут же пожалел о своих словах. Побледнел Иосиф. Хорошо еще, что никто таких слов не мог слышать. Глухо сказал патриарх:

- Выгоню в шею, палачам сдам.

Григорий в очи его уставился, руку вперед простер, пальцами шелкнул:

- На три дня язык твой отсохнет! Еще пристанешь, вовсе языка лишу!

В гневе и изумлении вышел из палаты Иосиф, идя в опоки, всем молча кивал. И три дня после этого не принимал патриарх ни ближних, ни дальних, всем молча указывал на порог. Возьмет книгу какую, или пишет что, а сам мыслит одно: а ну как голос через три дня не вернется? какой же патриарх - без голоса? Слепому - еще можно, а без языка - никак.

Однако голос через три дня возвратился. Обрадовался Иосиф несказанно и к царю для беседы пошёл. С великим пылом стал просить царя, дабы отправил Григория-Плещеева-Подреза немедленно ни минуты, и непременно как можно дальше!

Царь видел, что патриарху не по себе, видать, сильно насолил ему Гришка, молодежь нынче пошла нрава дикого, это так, но спешка зачем? Не лучше ли всё дело подробнее расследовать? Может, Плещеев-то Григорий связан с кем, мало ли что открыться может? Тут такие могут быть заговоры и воровства, что и не подумаешь. Патриарх же концы отрубил... Но Иосиф настаивал: отправить немедленно в ссылку, и всё тут!

Михаил Федорович попросил всё обсказать поподробнее, все же знатной фамилии человек, заступников много найдется, жалетелей, как да за что?

Патриарх шепотом сказал царю, что Гришка, да, блудит, но и волшебством иноземным балуется. Следствие? Пока суд да дело, он и на царскую семью порчу наведёт. Лучше уж - подальше заслать, да и побыстрее!

Понял царь, что патриарх чего-то не договаривает, но и то понял, что зря старец просить не стал бы.

Издав царь указ, в коем сказано было, что ссылается Григорий Осипов Плещеев-Подрез "на вечное поселение в город Томский за многие воровства. На месте поселения держать его за пристава, а буде учинит какое новое воровство, взять в железа и посадить в тюрьму..."

Так блистательный вельможа был отправлен в дальние, дикие края. Почти два с половиной месяца по зимним дорогам с обозами, с казаками, с крестьянами-переселенцами, прочим ссыльным людом.

Дорога не столько утомила, сколько удивила своей протяженностью. Спал он в любой кибитке хорошо, ел, что придётся. И прибыв в Томской, сразу же пошел сказатья воеводе.

Воевода Семен Васильевич Клубков-Масальский встретил Григория с любопытством и не по злому. До бога - высоко, до царя - далеко. Ссылные в Томском не в диковинку, а этот - на особицу. Родовитый, и много чего про дворцовые дела знает. Выпытывал Семен Васильевич: как здоровье царя, что - патриарх, кто нынче в чести, а кто - в опале.

Сам воевода уже жил предполагаемым возвращением в Москву. И как бы примеривал её вновь на себя. Отвык. Теперь потихоньку отправлял накопленное в Сибири добро в Москву да в свои деревни.

Город Томский был немалый уже. Кроме крепости в нагорной части да острога, имел он еще три посада да два монастыря. Правда, в 1963-ем году крепость и острог сильно повредило пожаром, новому воеводе достанется обновлять башни и стены.

Семен Васильевич заглянул в грамоту с царским указом. Вслух прочитал Григорию о том, что велено его держать за пристава, а в случае чего, и в железа ковать, в тюрьму прятать. Улыбнулся воевода:

- Не стану тебе пристава давать. Сегодня ты в опале, а завтра, может, поважней меня станешь. Скажи своему вознице, чтобы отвез тебя в посад, именуемый Уржаткой... У ржи людишки поселились, от этого и название пошло.

Скажись там попу Борису, который в церкви Святого Благовещения служит. И благословит, и жилье сходное подыщет на первое время, а там и сам оглядишься. Да возьми Бориса в духовники, да не подведи меня, я ведь к тебе - по-свойски.

- Тяжек крест, а надо несть! - отвечал Григорий,- но опять же муха обуха не боится! От большого ума досталась сума, а между слепыми и кривой - король! Спасибо, воевода! Попробую в Сибири пожить. И здесь люди живут. И всякий кулик на своей кочке велик!..

А воевода подумал, что поп не хуже пристава приглядит, да и Гришка не в обиде будет.

Вечером того же дня поп Борис Сидоров да Григорий пили у попа в доме доброе церковное вино. На столе в оловянных и деревянных блюдах были отварные стерляжки головы, медвежатина, зайчатина, вяленые язи, копченые чебаки, соленая колба - известный сибирский победный лук, В туесах была клюква с медом.

- Край богат, народ не ленный,- говорил поп Борис,- но есть и вороги, и разбой.

В избе у попа было много оружия. Над лежанкой, крест на крест, висели дорогие русские и трухменские сабли, у входа в горницу в углу стояли копыя да алебарда, на лавке разместились пищаль да кожаные мешочки со свинцом и порохом.

-Так живем! - сказал поп, перехватив взгляд гостя.- Кыргызцы, колмаки и прочие басурмане почитай каждый год с войной набегают. И всегда, как гром среди ясного неба, хотя и есть караулы, разъезды, заставы. В городе, на горе спокойней за стенами, за острогом. Там - главная казачья сила, стрельцы, пушки на раскатах. А здесь-то тревожней жить. Налетят неруси раскосые, посева повытопчут, скот угонят, зазевашься, так и самого в полон уволочут, а то и жизни лишат. Что, дьяволы, делают? Если острог - не по зубам, так стрелы с огнем в посад пускают, сколько раз горели. А добро-то годами наживаешь, горбом своим.

- Но - простор! Пусть весна до нас добирается на месяц позже, чем до Москвы, пусть осень приходит на полмесяца раньше. Но, слава богу, заморозки редкие, рожь поспеваает, репы, морквы, луку, капусты - всегда в достатке. Бортъ есть, а кто и улы ставит. Мёд свой завсегда. А уж про дичь да рыбу, грибы да ягоды и говорить нечего, только не ленись...

- Ты бы, Григорий Осипов, о патриархе рассказал, ведь сподобился при самом служить.

-Что тебе сказать про патриарха, поп? Хоть и церковь близко, да ходить склизко. Сила после царя вторая. Но и патриарх - человек. Борода-то апостольская, да ус-то дьявольский. Не всяк монах, на ком клобук. Церковь-то грабит, а колокольню кроет, чтобы звону больше было... Погоди-ка, достану из сумы книгу, будет тебе на память подарок... Вот,

"Книга кормчая" называется, сиречь - поучения и собрания церковных канонов, патриархом Иосифом писанных.

- Достойное и богоугодное чтение! - сказал поп Борис, принимая подарок.

-Ну, рад, что угодил. Ты меня полюбишь, так и я тебя полюблю. Сейчас я нищий, к пустой избе замка не надо, это так. Но всякое худо не без добра. Не радуйся нашедши, не плачь, потеряв. Сам я заварил кашу, сам и расхлебаю. А уж вернусь в Москву, так о тебе не забуду, быть тебе в митре, так и знай.

- Ну, уж, нашими-то лаптями да щи хлебать! - воскликнул Борис,- там, на Москве, на каждое такое место по тыще своих найдется...



Но все же слова Григория заронили в душу Бориса надежду. Знакомство с Григорием могло обернуться в будущем толчком к подъему на недостижимые вершины. Такое тут уже бывало. Сегодня он - ссыльный, а завтра у него государственные вожжи в руках.

Гостевание кончилось. Вышли во двор, где стоял возок Григория. Поп махнул вознице, чтобы следовал за ними.

Снежок был рыхлый, в воздухе пахло весной. Улочки посада кривые, в каждой избе окна были только с одной стороны, и требовалось, чтобы все они смотрели на храм божий. Окна были вырублены высотой в бревно, а шириной в локоть, напоминали бойницы и на ночь задвигались досками. Каждый двор с сосновой избой и осиновой баней, был обнесен частоколом.

Над избами возвышались резные деревянные дымницы. Редкая изба топилась по-черному, означало это, что жили там, только что прибывшие их центра Руси, крестьяне-переселенцы, привычные так топить. Считалось, что березовая копоть спасает от всякой заразы и комара гонит. Томичи же били большие русские печи из глины, которую бутили камнем, выломанным на берегах Ушайки. Выкладывали многоколенные дымоходы, ставили высокие дымницы.

Многие дома имели красные окна со свинцовыми ромбическими рамками, в каждый ромб было вставлено небольшое красное стекло. В такое окно глядишь, и словно тепло от него идет. Были окна и со слюдой вместо стекла, либо с рыбьим пузырем, или просто с промасленным холстом.

Поп Борис провел Григория к добротному дому с двумя красными окнами.

- Вот в какой хорошине тебя поселяю! - не без гордости сказал поп,- дом тут ничуть не хуже моего.

Григорий подумал о том, что человеку не так уж много надо, если ничего лучшего в своей жизни не видал. А он-то бывал в покоях царских и патриарших, в чужих странах в королевских дворцах и замках бывал, Не с олова ел, с золота, да серебра. Обхождение знает, манеры. А здесь и конуру собачью дворцом почитают.

Замерзшее озеро поблескивало льдом. Вдали на горе еле угадывались башни Томского города. Свет горел лишь в двух-трех домах: сэкономили лучины да свечи. На въездной башне мерцал фонарь, возженный дежурившим там казаком. Посадские стены покосились, оторвавшаяся плаха скрипела на ветру.

Что-то тоскливое подступило к сердцу Григория, но он встряхнул головой. Заслали? Пусть! Ну, погодите, гиперборейцы!

Целовальник долго не отворял, между двойным тыном заходились в лае собаки, чувствуя чужого человека. Наконец, узнав голос попа, целовальник стал отстегивать многочисленные крючки и щеколды.

Узнав, что к нему на постой ставят бывшего патриаршего стольника, целовальник Еремей заахал и заохал. Дом-то не ахти какой! А так - отчего и не принять? Горница свободна, бог детей не дал, просторно.

- Много свечек жжешь, мало в постели стараешься! - пощекотал брюшко целовальника поп Сидоров.

Дородная жена целовальника поклонилась пришедшим в пояс, едва не коснувшись рукой пола, с интересом, исподлобья взглянула на незнакомца:

- Может, откушать изволите?

- Отужинали уже,- отвечал поп Борис, сказал целовальнику, чтобы устроил Григория получше и стал прощаться.

Целовальник рассказывал про свою трудную жизнь. Пропивают все до нательных крестов. Выпьет на крест золотой, а в заклад дает медный. А он не своим вином торгует, царским, смотреть надобно, аки орел с вершины, за каждым питухом, чтобы за каждую чарку было заплачено, чтобы никто самосадное вино в кабак не тащил.

Когда "лысый орел" назвал цену за постой, упомянув, что кошт в Сибири дорог, Григорий сказал:

- У меня, брат, одна рука в меду, другая - в сахаре. Я служил семь лет, выслужил семь реп. Хожу хоть и в латаном да не в хватаном. Ем мало, мне натошак и в рот ничего не лезет,

только рюмочка каши да чугунок вина. Много с меня не проси, помни притчу - на Руси: жернова сами не едят, зато людей кормят. К тому же мы с тобой дальняя родня: ваша Катерина нашей Полине двоюродная Прасковья. И еще знай: черви, жлуди, вини, бубны, шинпень, шиварган! Этого тебе пока что хватит. Остальное после доскажу. А теперь давай мне постелю, никогда прежде ночью не спал, а нынче почему-то захотелось.

Еремей лоб морщил, моргал глазами, соображал. Ничего не понял. И решил пока не спорить.

Возница внес дорожный сундук Григория, да потом еще второй - поменьше, и третий, вовсе махонькой. Григорий этот третий сундучок отпер, убедился, что все скляницы с мазями, притираниями, бальзамами остались целы, они были переложены для мягкости мешочками с целебными травами.

Григорий засунул малый сундучок под свою лежанку, прилег, не раздеваясь, и сразу же захрапел.

#### 4. ЭТО Я, ГУРБАН!

Подсохла глина на горе за Уржаткой. Гора эта была не столь высока, как та, на которой взметнулся город Томской, но тоже изрядная. И сосны росли на той горе, и лиственницы, и озера были, и поляны, на которых летом татары ставили свои юрты. По склонам росло много калины, рябины, шиповника, боярышника. Со склонов водопадами падали ручьи и речушки.

Как только подсыхала весной глина, уржатские парни да девчата говорили:

- Айда топтать Гурбана!

Поднимались на гору, на ровное место, и на виду всей слободы жгли костры, водили хороводы, затевали игры в бабки да в мяч. Мелькали разноцветные сарафаны, пестрые рубахи, играли домрачи, гудели дудошники, бывало, что и в заслонки стучали. Старики на завалинах плевались, мол, молодые беса тешат, мол, в наше время такого не дозволялось. Но это было завистью к юной силе. Ворчали беззлобно.

Наступал Иванов день, и на закате солнца парни и девки пускали с горы обручи, обмазанные дегтем и пухом, сперва поджигая их. И катились огненные колеса до самой Ушайки-реки. И шипели, упадая в воду.

"Топтать Гурбана", все ли знали, отчего такое присловье пошло? Только древние старики вспоминали, что был такой богатырь, погиб он в битве невесть когда и невесть с кем, и похоронен на вершине той горы в золотых доспехах, со всем богатством своим. А где его могила - забылось среди прошедших веков.

В тот самый солнечный денек, когда молодые уржатцы вылезли на гору "Топтать Гурбана", приехал в канцелярию к воеводе князец Тоян-второй. Сын того самого Тояна, который просил в здешних местах поставить русский город

Семен Васильевич встретил князца приветливо, радостно вышел навстречу из-за стола, сделал несколько шагов, обнял, троекратно поцеловал.

Тоян был красив, правильные черты лица, большие глаза, почти без раскосинки и чуть навывкате. Если бы не одежды татарские, да подбритые особым способом усы и борода, совсем бы русский человек.

Воевода пригласил князца присесть на лавку, сам занял свое место в резном кресле, за которым можно было видеть на палке деревянного льва, стоящего на задних лапах. Эмблема воеводская. На стене висела кольчуга Ермака, на столе помещалась деревянная фигура Николая Чудотворца, скорого заступника за всех плавающих и путешествующих. Сей держал на левой длани город, с башенками и церквями, а в правой - сжимал меч. Еще на столе стоял ларец, искусной работы, где была печать. Грамоты и указы, свернутые в трубки лежали на полке.

Тоян поклонился изображению Чудотворца, прижимая руку к сердцу. Потом подробно и уважительно расспрашивал воеводу о его здоровье и здоровье его родных. Воевода в свою очередь спросил о здоровье Тояна и его близких. Затем сказал:

- Говори, князь, прямо, не томи, нам известна твоя вежливость, да уж видно допекли, раз пришел ко мне.

- Ты видишь сквозь стены, - отвечал Тоян, - некоторые твои люди меня удивляют. Они захватили озеро под моим зимним городком, ставят там ловушки на зверя и птицу, моих же людей изгоняют и калечат.

Озеро это испокон веков зовется Гояновым, они же называют его теперь Нетояновым, или Нестоянным. Что измыслили? Понимаю, что это - без твоего ведома.

А еще, воевода, твои люди с Колмацкого торгового моих людей сбивают. Почто это? Мы - здешние, мы тут и до прихода русских торговали. А теперь многие наши ездовую повинность несут, а иные так даже и в казаки поверстаны. Нам без торгового не жить, нас не отталкивать надо, а вперед пускать.

Кстати, насчет Колмацкого торгового. Мои поданные там не только торгуют и меняют, а еще и новости узнают. То, чего вам бухарцы и колмаки никогда не укажут, нам будет точно известно. Так что от торгового нас отлучать, вам и расчета нет... Не скрою, после смерти хана Басандая, многие людишки в здешних юртах остались, которые вражеским лазутчикам подсказывают, когда, где и что лучше взять. За каждым не уследишь. К могилке Басандая на берег Тома нынче многие наезжают...

Тоян чуть улыбнулся:

- То ли бор нашептал, то ли река напела, а только известно, что нынче собираются на колмацкий торговый враги напасть. Идет по стойбищам говор, что от колдовства вымрет город Томской, сам понимаешь, что неспроста это.

- Спасибо, князь, что подсказал, а только и мы не даром хлеб царский едим. Наши лазутчики тоже кое-где есть. Охрану уже усилили. И все же за дружбу и привет земной поклон тебе, авось, и мы тебе когда-нибудь сгодимся...

Вскоре пришла такая пора, что солнце взъярилось. Мудро это придумано и не нами. Бывает пора холоду, а бывает и - теплу. И перемены эти делают жизнь веселее. Вечное лето, как и вечная зима, быстро бы надоели. А так - всегда что-то новое.

Прогрело солнышко омуты речные и озерные до дна. До кипения нагрело речку Ушайку. Только с великой рекой Томой не управилось, больно глубока, быстра и холодна эта река. Рождает ее алтайский ледник, и тысячи холодных подземных ключей питают ее.

По жаре и Колмацкий торговый открылся. Ехать к нему из Томского города, через мельничный мост, через Уржатку, да низом мимо Юртошной горы, мимо многих озер, стариц и проток. Дале - вид на огромную скалу, о которую Тома с разбега разбивается, делает поворот, крутит воронки, успокаивается ниже скалы. Там и перевоз.

На левом берегу огорожено прочным тыном огромное пространство, и чего там только нет! Люди - какие! Иной чернее печного горшка, только зубы сверкают, ни один толмач его не поймет, а тоже - человек! И баба у него, хотя и аспидного цвета, а дитенка к себе прижимает, и тоже совершенно черного. И видно, что не отмыть их никаким мочалом. И не жарко ему, даже палатку не натянет, сидит, ноги калачом свернет, а на голове цветное полотенце намотано. Иной серьгу, не то чтобы в ухо, в нос вденет, и радуется. В нос! Как казаки в Украине волам вдевают. Но - торгует! Парчой златотканой, шелком, муслином, кисеей - воздушней утренней дымки над озером. Черными серебряными кувшинами, перстнями из поддельного золота.

А товару на торговом! Таможенник-тиун писать в бумагах устал. "Оконечны слюдяныя, ложки карельчаты, колпаки с крашенинами, шубы бараньи, косы-горбуши, огнивы железны, мыла костромския, ножи ярославския, свечной воск, гребни роговые, гужи моржовые, скобы судовые, топоры чукрии с черенем..."

Пиши, служивый! Запиши ясных со шкурами лисиц и песцов, соболей, белок, мужиков с кедровым орехом, репой, зерном. Или немцев вон тех. Сидят под пологом, пузырь со льдом у них, в квасок ледышки подбрасывают, пьют. И товар солидный: голландское полотно и нити, певучие малые звонные колокола.

Запиши верблюдов. Их нынче пришло двести голов. У которых - один горб, а у иных - так и два. Ну, не издевательство над скотиной? Не зря она губу отлячила

. Наваливают на верблюда поклажу больше, чем он сам. И, говорят, при этом он может без воды жить полмесяца и без еды - месяц. Тут станешь горбатым! А еще с этих верблюдов шерсть стригут, чтобы кошмы катать, а верблюдиц еще и доят.

Китаец опилки жрёт, в рот горящую бумагу суёт, изо рта огонь идёт, веером в ухо ветер гонит - поддувало! Ах, чтоб этого китайца разорвало!

Ребятишки продают сбитень, сваренный на меду, с добавлением травки-шалфея.

Сбитень варен на меду,  
Хоть две чашки накладу!

А вот - важня. Весовые меры здесь - кантыри. Тиуны, ямцы, берут со всякого товара десятину налога. Гири у торговцев проверяют. Кто с обманной гирей станет продавать, тому по царскому указу сии гири на шею прикуют, навечно!

На двух высоченных башнях, в которых ворота, сидят казаки, следят: а что на торге и вокруг него делается? Стены высоки, ворота открыты так, что зараз больше одного всадника не въедет, пешие тоже, чтобы шли по одному.

Какой-то угрюмый, с глазом огненным, сторговал у бухарца жеребца, кису свою развязал, высыпал бухарцу деньги в шапку.

- Ну, уртак, твое добро! Посчитай-ка серебро!

Бухарец считать начал:

- Бир таньга, еке таньга!

А этот покупатель коня своего плеткой - хлесь! Вылетел в ворота, и быстрее молоньи помчался. А в шапке у бухарца серебро враз обратилось в черепки. Вай-вай-вай! Крик по торгу прошел.

Казаки кинулись за злодеем скакать, уж и кафтан ухватили его, а он мяукнул да гаркнул басом:

- Я - Гурбан!

И исчез.

А через день баба в Томском младенца приспала. Говорит:

- Снилось мне, что младенец мой черный весь и верещит так:

- Я Гурбан, Гурбан, Гурбан!..

Вот испугалась я и придушила его...

А еще через день было. Казак дежурил возле всполошного колокола на башне. Вдруг в ухе заскреблось, зазвучало, словно жук в него залез какой:

- Бурлы-мурлы! Бурлы-мурлы!

Казак схватил фляжку, голову набок наклонил, да в ухо вино залил. Думал - затихнет, а в ухе-то ка-ак гаркнет:

- Это я, Гурбан! Мне от вина худа нет, бурлы-мурлы, мне только веселее!

Казак с перепуга в колокол ударил, заметался народ:

- Али горит, али напали?

Казаки на башнях на дорогу глядят: пыль, всадники, стрелы свищут. Развернули стрельцы пушку и по дороге - шарах! Пыль за клубилась, собаки в визг ударились. Колокола в церквах зазвонили, люди с полей домой кинулись. Скотина ревет, калитки железными цепями гремят, кто-то из самопала пальнул, кто-то с крыши свалился.

- Запирайте ворота! Опускайте решетки!

Воевода на главную башню влез, немецкую зрительную трубку к глазу приставил, посмотрел, встряхнул трубку, еще раз глянул:

- Ни хрена нет!

Воевода белоснежный плат из кармана достал, трубку протер, в разные стороны смотрит - нигде, ничего. И вдруг в трубке зрительной глаз, черный, раскосый подмигнул и в ухе воевода противный голос услышал:

- Это я, Гурбан! Ты не воин, а чурбан! Хи-хи-хи!

Воевода трубку немецкую о землю брякнул, плюнул на неё. Ухо пальцем поковырял и сказал:

- Сие все от жары блазнится. Впредь на дежурстве в карты не играть, вина не пить, караулы менять в два раза чаще. Не исполните - кнута отведаете. А который стрелец переполох сделал, у него из оклада вычтем!

И поехал воевода холодной водой обливаться, пить со льда квас, по новейшим немецким рецептам настоянный.

В это же самое время на север от Томского города, в часе ходьбы от него, в монастыре в устье Киргизки-реки, куранты заиграли не то, что надобно. Обычно они играли "Коль славен господь во Сионе", а тут забористую такую басурманскую мелодию затарабанили: "Они были бы там, мы были бы там!" Словно бубны в частом ритме стучат. И в ритме мелодии этой козлиный голос поёт: "Я Гурбан, Гурбан, Гурбан!"

Игумен, старец Варлаам, настоятель, летописец, золотую цепь Патриарха Константинопольского имеющий, поначалу подумал: не дурачится ли кто-либо из иноков? Глянул, а циферблат часов крутится в обратную сторону. Горе!

Послали конного в город за мастером-немцем, хоть и не православный он, да в часах понимает. А часы свое долдонят:

- Я Гурбан, Гурбан, Гурбан!

Противно было слышать это. Она и речка-то здешняя Киргизкой зовется потому, что в прошлые года навалились здесь киргизцы на монастырь, обложили обитель, а стены слабые были.

Тогда монахи, которые помоложе, усадили старцев в большую ладью, дали им икону с изображением Казанской Божьей Матери. И держал самый старший эту икону, сидя на носу лодки. И пошла лодка сама собой из устья Киргизки и далее - против течения реки Томи. И зашла потом лодка в Устье реки Ушайки и по той реке приплыла к Ушайскому озеру, где бревенчатая пристань. И сошли старцы на пристань, поя хвалу господу, и подмоги монастырю просили.

Помощь опоздала. Разграбили киргизцы монастырь и сожгли.

Погибло в битве за монастырь семьдесят молодых иноков. Не о них ли молятся нынешние монахи? Не о них ли чистой печалью печалуются? А тут - на тебе - Гурбан!

Осенил отец игумен часы крестным знаменем, они и вовсе остановились. Зато и тарабарская музыка умолкла, и голос противный исчез.

А вечером того же дня на Юртошной горе колмаки да бухарцы сидели, в юртах с ними был тайный мурза, одетый простолудином. Сидит, ноги калачом, холеную бородку поглаживает. Кумыса надулся, аж пузо свисает. "Яхши-болсын!" говорит.

Тайное сборище. Но двое там, с вида нерусские, да под татарскими халатами у них кресты спрятаны. Может, их там за турков приняли: носы большие, глаза навывкате с красными прожилками. А были это - греки, Петр да Максим.

Лет десять назад они в Томской с казаками прибыли, которые их из туретчины вызволили. В домах они жить не захотели, в пещерах на склоне Воскресенской горы обретались. Скала отвесная, а в ней дорога рублена, а рядом - пещеры, с ручьями из них вытекающими. Там они и спали на соломе, пили из ручья, бороды не стригли, задубели.

Кто не идёт, всякий им копейку, либо корочку даст, помолитесь, мол, отцы, за нас грешных. А иному Петр и Максим натянутой веревкой дорогу преградят.

- Что, отцы мои, путь загродили? - удивится казачина.

- Брат, вернись, помирись с братом своим! - отвечают.

А казак-то и вспомнит: верно, согрешил, поругался. Заплачет, да и мириться пойдет.

Случалось Петру с Максимом болящих исцелять, советы мудрые давать. Звал их игумен Варлаам жить в обитель, отказались - видение им было.

И вот теперь сидели они в юрте той бесовской, а была она на самой вершине горы у Юртошного озера, заросшего красноталом, зверобоем, белыми и желтыми кувшинками.

Сидевшие в юрте ели халву, непонятные фрукты всех цветов. Съел Петр одну синюю грушу, и нос его тотчас принял грушевидную форму, басурманское кушанье крещеному человеку - яд!

Тут мурза хлопнул пухлыми ладонями, и вышел в круг с бубном главный шаман. На бубне, как на блюде, лежала горстка мухоморов. Он их брал губами и ел. Потом ка-ак ударил колотушкой в бубен, да ка-ак подскочил! И - айда плясать. Скакал, пока пена изо рта не пошла, тогда свалился и стал выкрикивать что-то на жабьем языке. А Петра с Максимом господь сподобил, и поняли они всё. Предсказал шаман, что будет в Томском смута великая.

Казачи и их начальники между собой передерутся. Так сделает шайтан по просьбе великого шамана.

- Ты хороший колдун,- важно сказал мурза, - но свары среди урусов и без колдовства случаются. А разве среди наших людей свар нет? Мне нужно такое колдовство, чтобы черная чума и желтая холера скосили жителей этого нечестивого города. Кто из вас, о достойнейшие из достойных, скажет, как это лучше и быстрее сделать?

И вышел тогда черный, густобровый и косолапый человек в халате желто-зеленом, как дыня, поклонился и сказал:

- Кабалистон-мабалистон! Джухры-бурдурухры! В этом городе баба намедни приспала младенца, я его выкопал и зажарил на вертеле. А теперь все сидящие здесь пусть съедят по кусочку и скажут: "Спасибо Гурбану!". Потом выйдем из юрты, и я покажу каждому место, где он ночами должен будет колдовать и насылать на проклятый город страшную порчу.

Петр и Максим побледнели: младенцами закусывать, это вам не синие груши есть, об этом страшно даже и думать.

- Я вижу, что вот этим двоим мое лакомство не по вкусу! - вскричал кривоногий,- хватайте их, на них - кресты! Тот мне было в этой юрте муторно и душно, а я сначала никак не мог понять - отчего это!

Тут кривоногий зарычал, как два тигра сразу, а зрачок в левом глазе стал у него бешено вращаться. Как юла, пущенная малышом по полу избы.

Греки кинулись к выходу. Они побежали мимо Юртошного озера, обрывая одежду о кусты и запинаясь о камни. Бедные схимники чувствовали, что от погони им никак не уйти, они были немолоды, ноги в деревянных башмаках были все свищах и язвах, сочились сукровицей.

Тогда Петр и Максим стали на бегу молиться, запели: "Спаси, господи, люди твоя!"

И надоумил их господь. И простерли Петр и Максим руки в стороны, как это в детстве ребенку снится, когда он растет, и почувствовали они, как неведомая сила оторвала их от земли и плавно понесла над Юртошным озером.

Преследователи завопили:

- Уйдут! Где лук и стрелы?!

А Петр и Максим уже Юртошную гору миновали, над уржатским озером, над Благовещенской церковью пролетели, над домами, где спали поп Борис с домочадцами, над избой, где спал целовальник Еремей со своей жонкой, да где в чулане лежала безропотная девка Палашка. Пролетели над полноводной Ушайкой, которая по-особому ворковала возле мельничных плотин да банных водозаборов. И плавно опустились они на дорогу, вырубленную в крутой скале возле самого их жилища. Слава богу, что сего полёта не видели - ни стража, ни жители города: прилично ли людям летать аки воробьи в таком-то возрасте?

- Свят-свят-свят! - воскликнул Максим,- страсти какие! Да, видать, не зря испытание вышло. Пусть они по-своему измышляют, а мы их - крестом, да святым постом. Посмотрим еще - кто, кого!

## 5. РЕБРО АДАМА

Кабак прикорнул возле посадских въездных ворот. Тут был казачий пост, стало быть, надежнее от всяких лихих людей оборониться. Все же - государево вино. В подвале солодежни был лед и бочки разных размеров. С улицы ход вел помещение, где стояли прибитые к полу столы и скамьи из нестроганных досок. Столы обшоркали локтями, а скамьи задами, и они блестели, как полированные.

подавали тут вино, медок, да еще щи с непонятной требухой и жаркое из баранины, бывали и пирожки с горохом или с требухой, когда - как.

На двери, ведущей в кабак сей, был намалеван задорный петух, в лапе его была кружка, и по всему было видно, что Петя не раз уже эту кружку опустошил и наполнил, потому что он сильно косил глазом.

С внутренней стороны двери имели запорную цепь и целую дюжину щеколд и крючков.

В противоположном от двери углу, за выступом печи, был стол, в центре которого с глупой ухмылкой беспрестанно кланялся китайский болванчик. Стоило раз нажать пальцем, и - кивал полдня. За печкой была еще занавеска, закрывавшая проход в поварню, где целовальник Еремей, да безропотная девка Палашка с дураком Федькой разливали вино в кувшины. Еще они откупоривали небольшие бочонки, которые ставились в центр стола, если гуляла компания.

Жена Еремея, Анфиса, хлопотала возле глинобитной печи. Палашка подала ей большую шкуру с лохматым хвостом и сказала:

- Вот, ободрала барашка.

Анфиса ухмыльнулась, сунула шкуру в топку, прикрыла дверцу топки.

- Разделай барашка побыстрее! - приказала она девке, требуху в щи брось, а мясо положи в лёд, захочет кто-нибудь баранинки, так пожарим.

- Может, подать чего?- обратилась она к Григорию Плещееву, выглянув из-за занавески. Григорий сидел за особливим столом, за печкой, в компании двух нерусей: Татубайки и Бадубайки. Оба - обедневшие князцы, удалились от своих племен в город, где превратились в людей занятых вольным промыслом. Немножко торговали, а больше в кабаках сидели.

Оловянные кувшины были полны, оловянные стакашки то и дело наполнялись хлебным вином. Лазоревый кафтан Григория был расстегнут, из ворота полотняной рубахи выглядывал серебряный крест с жемчугами, лежавшими на волосатой груди. На бобровой опояске висел бухарский кинжал в кованных ножнах из серебра, штаны были коричневые, козлиные, а сапоги зеленого сафьяна.

- Из скольких частей состоит Адам? - Григорий отхлебнул из стакашка, - Из восьми. Тело - от земли, кости - от камня, кровь - от Красного моря, чтобы шумела в радости и в горе, глаза же - от солнца, мысли - от облаков, волосы от дыхания, а душа - от света. Её в Адама вдохнул Господь, и дал власть над всем видимым и невидимым, в водах, в горах, на земле, и на небе.

- Из чего же баба состоит? - спросил Бадубайка.

- Ева изваяна из ребра Адама, она табаку и вину сестра, Сладка отравя сия, друзья, а и не отравиться - никак нельзя!

- Вот, хоть бы мою Аграфену взять...- заговорил Тишка Хромой. Его перебили:

- Пошел ты со своей Аграфеной! Пушай Григорий бает, больше нашего знает, у самого Патриарха стольничал!

- Есть чего кушать, да есть кому слушать! - продолжил Григорий, - Рогатой скотины - вилы да грабли, хорошей одежды - мешок да рядно. То-то и оно! Нищий рад и тому, что сшили новую суму. Будь пьян водицей, а сыт - крупницей. Иуда сребреникам удивился. А после взял и удавился. Не гонись за богатством, а гонись за братством.

- Богатство тоже не помешало бы! - снова всунулся в речь Григория Тихон.

- Безрукий кису украл, голопузому за пазуху засунул, слепой подглядел, немой заорал, безногий догнал. Пропало богатство, осталось лишь братство. Когда это было? Когда корова пол языком мыла, случилось такое веселое дело, - собака над городом нашим летела, несла голубой сарафан на шесте, да звездочка свечкой горела в хвосте. Ни в нашей земле, ни в Литве, ни в ливонах, не видел я счастья в одежках червонных. А кроме свободы и доброго хмеля, не вижу я счастья на свете и цели.

-Эк, чешет, - вздохнул Тихон, - сразу видно, что - непростой...Давайте играть начнем.

- Ты и так у меня на полгода заиграй,- отвечал Плещеев, - иди, мне дом строй.

- Я крест ставлю, ты должен играть, вдруг я отыграюсь, почем ты знаешь?

Тихон дрожащей рукой метнул из стаканчика три черных кубика с белыми пятнышками. Выпало две тройки, да одна шестерка.

- Одеяло алого цвету, ляжешь спать, а его и нету! - воскликнул Григорий, в свою очередь выбрасывая кости из стаканчика. Выпало три шестерки.

Григорий забрал серебряный Тишкин крест. Тишка бледнел, краснел, кусал губы и вдруг заорал:

- Дьяволу душу продал! И сам дьявол! У тебя шерсть по всему телу растет!

- Не косись середя на пятницу! Знаешь, что сказал монах? Мол, дернул его черт на свечке яичко спечь, а черт и говорит: "Да я сам такое впервые вижу!" Так, что, милый друг, иди полы в доме стелить, да стели получше, а то вечером без опохмелки останешься.

Пошел Тишка, повесив голову, где ж ему было знать, что у Гришки - подменные фишки? В одну из граней кости свинец вделан, и всегда этот костяной кубик падает шестеркой вверх.

А застолье продолжалось. Кто-то предлагал игру, проигрывал, уходил, тут же являлись другие.

- В карты! - вскричал Татубайка, - в кости мне сегодня что-то не везет.

- А на что играть будешь? - поинтересовался Григорий, - лучше квас сегодня, чем каша завтра. Вы мне долги в запись пишете, шелком вышивать рогожу, оно всегда - себе дороже. Слуг своих больше на кон не ставь, с них - ни плотники, ни в поле работники. Ты бабу свою на кон поставь.

Татубайка вскочил, ухватившись за рукоять кривой сабли.

- Не хочешь - не надо, тогда иди, не мешай играть.

- Ладно, ставь против бабы сто ефимков.

- Ты сам, со всем добром своим, столько не стоишь. Десять ефимков против.

Тут вскочил второй князец:

- Тоже хочу играть! Тоже бабу ставлю, да лодку новую.

- Твоей лодке, Бадубайка, пятак - красная цена, да и баба твоя почти старуха, - сказал Григорий. - Да ладно, сдам и тебе, помни мою доброту. Против бабы и лодки - десять ефимков...

Григорий подвинул к игрокам стакашки с вином, в которое успел всыпать аглицкого порошка, за науку князцы должны платить. Бадубайка с Татубайкой от выпитого обалдели. Григорий отлично видел обратную сторону их карт в бронзовом зеркале, висевшем у них за спинами.

- Крыто!

Глянул Бадубайка, а с аглицкой карты аглицкий дурачок в колпаке с колокольцами ему язык кажет.

Анфиса в поварне дурачку Федьке сказала:

- Поди, еще собаку где-нибудь на петельку поймай да приведи, а то жрать не дам.

- Келяс селям! - сказал дурачок, думая, что говорит по-турецки. Хлопнул дверью. Минуты не прошло, а он вернулся уже "с барашком".

- Ты чо принес-то, дурак! - заругалась Анфиса, - дохлая! На какой помойке нашел?

Еремей сказал:

- Ладно, не шумите, пусть Палашка обдерет побыстрее, да сразу на жаркое пустит, да перцу в мясо поболе, пьяные не поймут, сожрут...

Федька получил в награду два пирожка с горохом.

Свечерело. Григорий смахнул карты со стола:

- Ну, князцы, пора и расчет держать. Сядем на коней, да - за бабами вашими, а потом и ко мне - в гости...

Вот и дом Григория. Недостроен, но в окна уже вставлены свинцовые вертикальные ромбы с толстыми красными стеклами. В центр каждого ромба вписан овал голубого стекла.

Из глубокого каменного подвала ход ведет на берег Ушайки. Усадьба на отшибе, в зарослях калины и шиповника. Ледники, склады, а ближе к реке - баня, большая и крепкая. Плотниками работали заигранные Григорием казаки да крестьяне. Руководил домоделанием немец по имени Васька Иванов, который до крещения прозывался Томасом Саксом. Томас-Васька курил глиняную трубочку и ругал работников:

- Сволтши, вори, дьярак!

- Сам дурак! - огрызались мужики.



На каждого мужика Григорий имел кабальную запись, кого закабалил на месяц, а кого и на год, и грамотки закопал неизвестно где. В конце работы он наливал каждому работнику большую кружку самосадного вина, которое было куда крепче казенного, это и мирило мужиков с их подневольным существованием.

Томас выстроил баньку с тем расчетом, чтобы там можно было курить вино. Григорий велел добавлять в него красного камня. Вино обжигало глотку, это нравилось: пить, так уж, чтобы глаза на лоб лезли.

В доме работали бабы: сбежавшая от крестьянства, любительница веселой жизни, да выигранная в кости нерусская полонянка.

Когда Бадубайка и Батубайка с женами вошли вместе с Григорием в его терем, была уже ночь. Бадубайка, увидев роскошь жилья, заволновался:

- Только ты к моей жонке не лезь, она в работу проиграна.

- Да уж без работы у нас никогда не останется. А чтоб тебе не скучно было, с русской Маруськой познакомлю, хочешь?

- Ай, шайтан! Зачем так шутишь? - воскликнул Бадубайка. А самому очень хотелось поближе посмотреть на русскую Маруську. Григорий тут же вызвал её, она пришла с подносом, где разместились кувшин со стакашками. И неожиданно очень понравилась Бадубайке своей крестьянской дородностью. Бадубай был сам крупным, имел двойной подбородок и покатые плечи. Ему нравилось всё большое, а Маруська сколь копен наворочала, сколь снопов навязала, сколь зерна наваяла. Плечи, так плечи, руки, так руки, груди, так груди!

Ясашные выпили принесенного Маруськой винца и сразу начали позевывать, оглядываться, ища - где бы прилечь? Лавок и топчанов пока здесь не было. Князцы прилегли прямо на полу.

Их жонки в красных платьях, по которым рядами были пущены мониста, как вошли сюда, так и присели на корточки возле двери и не двигались с места. Теперь они испуганно заозирались.

- Принеси того сладкого, которое у попа Бориса купили! - приказал Плещеев.

Маруська метнулась в подвал и принесла серебряный кувшин. Григорий поднес женщинам бокалы, спросил:

- Как зовут?

- Фатима и Галия! - ответила старшая, - а вина мы не пьем.

- Да попробуйте, может, понравится, я теперь ваш хозяин, меня надо слушать.

Выпили жонки, сладко закружились их головы, никогда в жизни такого не было. Плохо помнили: как очутились они в верхней светелке, на полу, на коврах. И странно было ощущать кожей такие мягкие ковры, а розовый свет от фонаря сетчатого, чудно кованного, в виде древ палестинских, бликами ложился на их тела. И блики эти кружили и мелькали всё быстрее. Всё тут было до ошеломления необычно. Ничего подобного в жизни они не видали, ничего подобного никогда не ощущали. Казалось им, что перенеслись в иной какой-то мир, о котором даже в сказках никогда не сказывалось.

И словно тайный колдун полуночных стран начал их кружить, то одну, то другую, так, что погружались в забытие, в сумеречность. И что-то теряли, и что-то обретали.

Эти потери и обретения радовали и пугали. И невольно вздрагивали они от сознания того, что где-то на небе бог, который всё видит. Что же будет с ними за всё, что произошло? Но, может, это только лишь плата за то, в чем ошиблась их судьба? И в эти самые минуты думалось и о том, что так и надо, всем на свете мужьям, не умеющим холить, оберегать и защищать жён своих. Зачем их продали их в рабство?

А розовый дым наплывал, мелькание в нём какой-то мошки было далеким, как раннее детство. Выросшие в лесах, Фатима и Галия пели сердцами лесную песню. И совершалось теперь их падение, или возвышение? Они не могли решить. И зачем было решать? Песни во тьме бывают редко.

А графинчик серебряный позвякивал, бокальчик узорчатый поил, и цветные оконца мерцали.

Постучала Маруська:

- Хозяин, кто-то к нам ломится.

Татарки только теперь разглядели Плещеева: шерсть на руках, груди, спине, казалось, носит теплую рубаху. Они зацокали языками, а он, не одетый, спустился вниз, к двери, за нею сказали:

- Это Еремей, да Девятка Халдеев.

И целовальник, и Девятка Халдеев были зело пьяны, но если богатый казак Девятка от выпитого стал более степенным, то Еремей выглядел противнее, чем обычно. Свернутый на бок нос его был красен, как морква, лысина грязна и мокра почему-то, рот с заедами:

- Гриша, души мы с Девяткой вином усладили, теперь иных услад жаждаем. У тебя работниц кабальных много, дозвожь нам нам с жонками позабавиться.

Григорий протянул пальцы, сложенные фигой:

- Заходите гости в дом, угощу копченым льдом.

- Покрасивше и помоложе! - гундосо завопил Еремей

- Вот как дам сейчас по роже, мигом станешь сам моложе!

Еремей, как строптивый конь заперебирал ногами:

- Каторжник, вор! К палачу тебя сдам, под кнут. Сам у меня жил, а теперь мне отказываешь?

- У тебя я мало жил, вытянул ты много жил!

Еремей от сих складных слов взбеленился еще больше:

- Извет на тебя заявлю: казаков заигрываешь, глаза отводишь, тайком вино сидишь!

- Ты в казенное вино льешь горчицу и оно, сыплешь в бражку ты табак, жаришь дохлых ты собак!

Григорий, пинком отпер дверь, выпроваживая непрошенных гостей. На крыльце дал Еремеею пинка, крикнув при этом:

- Встретишь своих, кланяйся от наших!

## 6. ТАЙНЫЙ СГЛАЗ

Князь Дмитрий Иванович прибыл в город Томской на смену Кускову-Масальскому. Знал, куда ехал, взял с собой много шуб, шапок, запасы белья, полотна, привез многих слуг, церковные книги. Мечтал здесь хорошо свое дело править, заслужить благодарность царя.

Когда ехал сюда, случай был. Глянул раз из возка Дмитрий Иванович, а какая-то старуха своей клюкой ковырялась в следе, который оставил возок на снегу. Хотел послать слуг, чтобы схватили старуху, глядь, а её след простыл. А если, кто снег из вашего следа выковыривает - очень худая примета.

И пришло сибирское лето, и было оно плохое. Туманы были зеленые, от которых всходы портились

Дурачок Федька, сбежав с солодежни, шастая по верхнему городу, просил копеечку у каждого, кто попадался на глаза, сморкался, зажав большим пальцем одну ноздрю, затем пел странную песню:

А я травка зазия,  
Спереди залазию,  
Позади вылазию.

Попался он с этой песней воеводе на глаза, и Дмитрий Иванович спросил дьяка:

- Почто у вас дураки по городу шастают?

- Один у нас такой-то и есть,- пояснил дьяк,- он еще малый был, у него на глазах матку и батьку убили колмаки, да не просто - головы им поотрубали. Он и свихнулся. Думает теперь, что он не то бухарец, не то турок, слова нерусские собирает.

- А живет где?

- При целовальнике Еремее обретается.

- Пусть следит.

А ночью воеводе приснился Федька, будто ковыряет он луну ножом.

Город всеми своими окошками, всеми ночными шорохами своими и скрипами обещал недород, ветер на мысу противно выл, мол, сено сгниет, а рожь не поспеет.

Дмитрий Иванович морщился, как от зубной боли. Эх, сапог-то скрипит, да в горшке не кипит! Как он стал тут вершить дела, так и недороды пошли. У людей и шило бреет, а у нас и бритва не берет. Наколдовал кто-то?

И раз ночью буря была, и Дмитрий Иванович с содроганием проснулся и увидел страшную взлохмаченную голову снаружи окна. Сморгнул тогда Дмитрий Иванович и рожа исчезла. Она-то из вида исчезла, а в памяти засела. Кто это был? Анчутка какой, али еще кто? В груди, словно камень засел холодный. И дела в городе всё хуже и хуже шли.

Поехал, было, на охоту Дмитрий Иванович, смотрит, вихрь по дороге летит столбом. Выхватил саблю, рубанул по вихрю. Визг услышал, словно бы кошачий. Но ничего не увидел - глаза мусором забило. Проморгался, смотрит, а сабелька-то у него вся в крови! И повернул коня обратно, какая уж тут охота!

С тех пор и пошло. Вроде спал, а голова тяжелая, вроде ел, а голоден. В животе бурчит, аж в канцелярию идти стыдно. Ноги опухать стали, кашель мучает. Скрывает это от всех князь, да от себя-то куда денешься?

Осматривал недавно город - где, чего строить? Ехал на арабском скакуне, за ним казачий голова вез эмблему: лев вызолоченный.

После пожара стены и башни были наспех залатаны. Бело озеро, находилось за границами крепости, но под землей к нему был тайный ход, с деревянными трубами. Во время осады можно было и не выходить из крепости, вода из озера сама потихоньку сочилась в крепостной колодец. Но трубы нынче были засорены, надо было чистить. Правда, теперь на крепость налетают редко, побаиваются пушек, а вот на посадки то и дело наускаивают.

Надо бы и в посадах стены и башни перестраивать, но все же сначала надо крепость обновить. Здесь - голова, там - тело.

Посадские - люди отчаянные. Приспособились. Мало того, что каждый двор тыном обнесен, что посад имеет стены и башни, так есть внутри посада еще стены, которые делят его на четыре части. Просто так и посад не возьмешь.

В здешних местах в болотах, говорят, живут Дивьи люди, об ногой ноге и об одной руке. Когда это Дмитрию Ивановичу рассказывали, он подумал о том, что да, живут здесь Дивьи люди. Скольким здешним мужикам басурманы отсекали кому руку, кому ногу, кому выбили один глаз, а кому так и сразу оба. Сколько в городе людей покалеченных? Чем не Дивьи люди?

Сказки. А все же от здешних болот идет некий морок, подымается от них некая гниль, нечисть какая-то. Слава богу, что в монастырях братия молится, нечисть отвращает.

Подумал так, а монахи-то легки на помине. Мужики все в черном, с горящими свечами, поют, на монастырь собирают. Игумен Варлаам к воеводе днями заходил, говорил, мол, надо больше монастырю крестьян, чтобы у монахов было больше времени молиться, колдовские напуски отвращать.

Но надо прежде с мирскими делами разобраться.

Город! Помимо казаков, служилых, гулящих людей, тут и купцов много. Есть кузнецы, шорники, мельники, котельщики, пекари и даже часовщик один, немец, механик изрядный.

Избы в остроге все по уставу ставлены, все окнами смотрят на храмы, в подвалах - мешки да бочонки, да оружейный припас.

Люди неплохо живут в урожайные годы. А воевода здесь пока нажил мало. С пяти ясашных в год воеводе положено одну лисицу, да одну выдру. А ясашных этих - раз, два и - обчелся. Разве так насобираешь себе на старость? Сгоношишь?

Другие-то ловкачи тут обогатились. Тот же воевода Семен Васильевич Масальский, сколько кораблей всяким добром нагузил?

Если немного шустрей шевелиться, то можно как-то не без пользы для себя службу править. Да только Дмитрий Иванович характером мягок, добр, а доброту чувствуют, начинают жаловаться: того нет, этого. Тут уж впору не с них брать, а им давать.

Подскакали к Белому озеру. Оно было окружено удивительно белыми и стройными березами. Посреди озера на острове князь заметил юрту, а возле неё, опершись нарумяненной щечкой на руку, лежала, и глядела на озеро девочка лет двенадцати. По озеру горделиво плыла пара лебедей. Девочка пристально следила за ними. Несколько темных косиц падало девочке на грудь, звенели при каждом повороте её головки, серебряные и золотые подвески и мониста.

-Что это? Чей шатер? - спросил воевода татарского голову, который тоже следовал в свите.

- Се, князь, есть дочь Тояна третьего и внука Тояна второго. Она любит смотреть на белых птиц.

- Как? - удивился воевода, - есть еще и Тоян третий?

- Есть, пресветлый князь, - улыбнулся татарин, - Тоян первый завещал называть всех своих потомков Тоянами, так оно и будет во веки веков.

- Но ведь Тоян второй выглядит совсем молодым, когда же он успел стать дедушкой?

- У нас князья рано женятся, а девочек отдают и того раньше, двенадцати, тринадцати лет. Так что, княжна Тома, как это у вас говорят, засиделась в девицах. Может потому она так любит смотреть на белых птиц! - позволил себе пошутить знатный татарин.

Осмотрев острог, воевода сказал, что пора уже готовить лес не только для строительства нового города, но и для обновления острога. Ров углубить так, чтобы он стал каналом, в который пойдет вода из речки Белой. Трубы надо очистить.

Крестьянский начальник посмотрел на затянутое тучами небо: -

Князь, повинности крестьянам нельзя умножить, ныне чертовщина творится: посевы гибнут, трава гниет, зимой подохнут лошади да коровы, а о себе уж и не печалуемся.

- Верю, - сказал воевода, - наслышан, однако незаконные верши и силки твои землешки ставить успевают, стало быть, о конце близком не думают, да и время находят.

Повернули обратно. Возле одной избы князь спешился, постучал в окошечко:

- Люди добрые, кваском не попоите?

Вышла жонка в одеждах, аграментом украшенных, с поклоном подала воеводе берестяной ковш.

Воевода попил кваску, потом решил зайти в избу:

- Ну, как тут живете? Ну-ка?

В красном углу увидел иконы доброго письма, изба сложена из толстенных бревен, такое в Сибири лишь и увидишь, крыша сотворена "с боем", бревна стесаны под углом и получилась бойница, из коей можно стрелять, не рискуя быть пораженным вражьей стрелой. Были в избе сабли и пики.

- Муж твой - казак?

- Шорник, - ответила жонка, - а без железа у нас нельзя. У нас все тут не хуже казаков стреляют и рубятся.

- Что же, хвалю, - сказал воевода. Вышел во двор, оглядел двойной тын и прочее, сказал: - Чистая крепость!

Он удивлялся здешним храмам. Высокий тын, а вход через звонницу, коя, по сути - ворота крепости, узкие бойницы-окна, звонниц - на земле, а под куполом храма площадка, с коей можно вести огневой бой. В каждой из здешних церквей было по две трапезных. Мужчины молились в правом приделе, трапезная мужская тоже была справа, женская же - наоборот. Обе трапезные отделялись от моленного пространства резными решетками. В царские дни к обеду здесь давали вино. А в случае осады в трапезных готовили еду для защитников церкви. И трудно было ее взять. Поначалу бились на подступах ко двору, потом во дворе, а уж после запирались в церкви, где достаточно было оружия и еды, и был колодец.

Проехали в другой конец города, мимо воеводской канцелярии, царских погребов и складов, тюремного и посольского дворов, к другим воротам. С высокого мыса открывался вид на уржатские нивы, на женский монастырь на Юртошной горе, на дальние леса. В

женской обители жили монашки-черницы, престарелые жонки убитых казаков. Причудливо извивалась лента реки Ушайки, с мельничными плотинами, мостовыми переходами. Неподалеку от Богоявленской церкви и Нижнего посада Ушайка образовывала кольцо, внутри которого был остров, а ближе к горе было широкое Ушайское озеро. Ушайка ближе к устью разделялась на два рукава, оба они впадали в Тому-реку, а меж этими рукавами жили бухарцы, своей слободой.

Дух захватывало от красоты, открывавшейся перед глазами. Темные лиственницы и кедр, золотые сосняки и белые березы, калины, рябины, шиповники, все горело своим оттенком, все звало отрешиться от забот и тревог. Но забыться было нельзя: на мысу раскинули руки старинные шестиметровые кресты, под ними в долбленых колодах лежали первые томичи, черепа порублены, пробиты копьями и стрелами, кости переломаны.

Хоронили их из экономии места, по десять колодин в одной яме. Велось так, что хоронить надо было при монастыре либо церкви. Правда, знатные лежали отдельно. На мысу среди прочих именитых была могила Рукина-Черкасова, который разбил армию киргизцев, отвадив их от русских городов.

Дмитрий Иванович вздохнул: эх, права рука, лево сердце! Лежать вдали от чужих мест? И никогда не придут к нему поплакаться дети со внуками. Но Рукин-Черкасов хоть подвиг совершил, род прославил, а что, умрешь в бесславии? Вот так умер назначенный вместо Масальского Лобанов-Ростовский. Даже до места службы не доехал, в Нарыме помер. Вот - горе!

Человек предполагает, а господь располагает. А вот и он сам, Дмитрий Иванович, давеча давал своей собаке Кутьке куски да крохи от каравая, а собака есть не стала. Ой-ой! Примета известная!

А все же князь и подумать не мог тогда и ни за что не поверил бы, если бы ему сказали, что очень скоро и ему выроют могилку неподалеку от Рукина-Черкасова, что болело - и понять не мог. Вроде бы - ничего, а вроде бы - все. Остяцкие шаманы ничего не поняли, русские знахари и лекари - тоже. Приглашал он и немца, иезуита ссыльного, который ходил в черной рясе, подпоясанный длинной белой веревкой.

Петер Леонард этот был розмыслом. На верхней водяной мельнице он сделал гидравлюс. При движении колеса вода падала на малые досточки, приводившие в движение меха, посылавшие воздух в медные трубки. И звучала немецкая песенка. Распарившиеся в баньках бабы выскакивали нагишом, шатали в воду, возле колеса вода насыщена пузырьками воздуха, да еще и музыка звучит - диво!

Немец щупал живот Дмитрия Ивановича, заглядывал в рот. Но не сказал ничего. Так что-то пробормотал насчет мест, которые для здоровья мало подходят.

И написал воевода царю, дескать, прости ради бога, хотел послужить, да здоровьишко подвело. Пусть заменит меня на посту мой брат - Осип Иванович.

По осени пришло письмо о том, что царь на эту замену согласен, и братец скоро выедет в Томской. И не утерпел больной, поехал брату навстречу. Была у него еще надежда на тобольских врачей.

В Тобольске его устроили в покоях при монастыре. И голуби ворковали под кровлей, не давали заснуть. А после заморозки начались. И ночью собака выла, и он переворачивал подушку, а она, собака-то, все равно выла, да так страшно.

Ослаб совсем. Горенку, где лежал, жарко топили. И мухи летали, не хотели признать, что уж зима пришла. Он плакал как раз, когда две мухи - одна на другой - с противным жужжанием ударились о бугорок одеяльный как раз на уровне его глаз. Слеза увеличила мух до огромного размера. И подумалось не к месту: "Ишь, ты! Мухи и - те!" И так обидно стало!

Смерть?! Как не вовремя! А разве она когда-нибудь бывает вовремя? Ничего не сделал, только город, как следует, осмотрел, да замыслил много сделать. И вот... Рукина-Черкасова, небось, помнить будут. А впрочем, забудут и его. Сколько в Москве бесовского честолюбия, прихвостней возле престола, больше, чем мух возле варенья. Все загадят, засидят, особенно, если видят, что хлопушки на них нет!..

## 7. КЕЛЯС СЕЛЯМ!

Получив отказ в любодейной связи с татарской жонкой Галией, Еремей словно сбесился. Он принародно выругал Григория в кабаке, запретил гостям играть в кости и карты. А после отнес воеводе донос.

Григорий отговорился в съезжей, как мог и умел. На ссыльного всякий норовит поклеп возвести. А он дом делает, двор себе ставит, до гулянок ли ему? Взяли бы, должность добрую дали, чтобы царское жалованье шло, жить было бы проще. Ответили, чтобы был потише.

- Ладно, буду! - согласился.

Заманил к себе в дом дурака Федьку вечером того же числа. Угостил винцом, сладкую шанежку пожаловал. Спросил;

- Федька, ты в жизни баб знавал ли? Федька швырнул соплями:

- Не-а. Не даются, слюнявым обзывают, сопливым дразнят, ке-ляс-селям!

А как ему не быть сопливым, ежели он зимой и летом ходит босой в любую погоду? А слюняв по дурусти.

- Маруську хочешь? - спросил Григорий.

- Хочу. Не дастся! - скривился дурачок в улыбке. Григорий стукнул в стенку закута, и в зальце появилась Маруська.

- Танцуй! - сказал Григорий, - и Маруська пошла, как в хороводе, уткнув в бок одну руку и другой помахивая. Переспелые груди болтались, словно две бухарские дыни, пузцо с белесым пупцом вихлялось, ниже страшновато смотрелся махор.

Слюнявый вскочил, взревел.

Облапив дурака, Григорий кивнул Маруське, мол, уйди. Та скрылась.

- Сладка, что твоя малина, - нежно сказал Григорий. - Но даром даже чирей не садится, а сперва почешется. Понял?

-А чо ета? Чирей причем? Келяс-селям!

-Табак куришь? Печку растапливать приходилось?

- Не дают они... раз растапливал, чуть избу не сжег.

- Хорошо, айда в сенцы.

Григорий показал дураку трут, кремень, железку-огнивец. Дал все и сказал:

- Возьми и бересту зажги.

- Зачем?

- А ты не спрашивай. Марусенька понравилась ведь? То-то, брат. Научись огонь добывать, тогда и мужиком будешь настоящим... Ну, раз! Давай еще. Молодец, уже лучше.

Федька звякал железкой по камню, махал трутом, прижав его к бересте. Дул так, что от усердия забрызгал слюнями и себя, и Григория. Береста разгорелась.

- Ладно, можешь! - похвалил Григорий. - Вот тебе кувшин с жидкой смолой, а это туесок с порохом. Хоть ты и дурак, да поймешь: Еремея надо сжечь. Ты ему собак ловишь, а он тебя почти не кормит, хоть бы одежонку какую купил, куда годится? Он ведь тебя дармовым батраком держит, издевается. Разве не так?

- Так! Келяс селям!

- Ты его сожги, ко мне придешь и с Маруськой подружишься. Сделаю так, чтобы, чтобы ягодка сама в рот упала.

- Омманешь? Забожись, келяс-селям!

- Вот те крест! - Григорий был искренен. Выполнить волю Григория ей придется. Всякая Божия тварь должна это испытать, господом так задумано. А то бы плодились иначе, от почек, как дерева, рассыпали бы семена по земле без страсти, без радости, но бог судил иначе...

- Пошел! - подтолкнул он Федьку, - самое время, темно, ты на стены поплещи, и на крышу - обязательно. Только осторожно, тихо, как мышка подкрадись, да оглядись, нет ли кого. Поджигай быстро, да беги не сразу ко мне, а сперва к речке. Если сразу ко мне прибежишь - Маруську не увидишь больше. Понял? Ну, иди! Федька, было, пошел, но вдруг вернулся.

- Дяденька Григорий.

- Ну, чего ты мнешься, как красна девица,- говори прямо!

- Ягодкой не подавлюсь? Не глотал ищю.

- Дурак, ты Федька, дурак и есть. Все само проглотится. Об этом тебе думать не нужно, за тебя уже подумано, ты думай, как лучше Еремею сжечь. Да потихоньку.

Федька ушел. Григорий вглядывался в темноту. Сначала было тихо. Потом донесся неясный крик, и огненный петух закукарекал на Еремеевом доме.

Сонный Еремей выскочил, в чем мать родила, пустился догонять Федьку. Догнал, стал звать на помощь, чтобы связать дурака. В одной рубашке выскочила из дома жонка Анфиса, вспомнила, что вместе с домом горят замурованные в стены горшки с деньгами, зарычала, аки тигрица лютая, кинулась, было, к дому, заскочить-спасти что. Жар опалил волосы, рубашка затлела. И Анфиса с жалобным воем помчалась к Ушайке остудиться. В кустах оскользнулась, стала на четвереньки, Григорий оказался рядом.

И рычание было в кустах.

Только ночь видела в кустиках на пригорке двух собак: сверху - шерстью поросшая, снизу - белая, пышная, ревушая. Мордами - на пожар, задом- к реке. И хрип, и рык. А вдали - вой да крик.

Метались люди с ведрами, баграми, кочергами. Еремеев двор уж не спасали, лишь бы огонь дальше не перекинулся. В отблесках догоравшего дома били баграми Федьку, сломали руку, да ногу. Еремей орал:

- Не убейте! Небось, в пытошной скажет, кто его научил!

А в темных кустах две собаки грянули оземь, обернулись людьми. Встрепанная Анфиса, отряхивая глину с коленок, спросила:

- Куда же мне теперь?

- Беги давай к лысому, куда же больше? Муж он тебе, забыла?

Федьку отвели в тюремную избу, но держали там недолго. Вскоре в пытошной палач привязал его к "козлу", бил кнутом из воловьих жил:

- Кто научил? Запорю!

Федька заходился от боли, словно нырял в омут и обратно выныривал, а в дурной голове высвечивалась Маруська с грудями-дынями. Назовешь Григория Осиповича, так он Маруську не позовет... А какая Маруська, если руки-ноги перебиты? Да заложено было в молодое тело извечное желание, оно и пересиливало даже адскую боль.

Отливали водой, снова били. Орал, ругался по-турецки. А, может не по-турецки, только думал так, а бормотал на каком-то ином языке...

Григорий на допросе в канцелярии сказал надменно:

- Ежели в Томском что сгниет, прокиснет, али сгорит, так все ссыльный виноват? Так, может, недолго им быть, сквитаемся.

Федьку ему стало до боли жаль, проклял свою выдумку. Но не виниться же? А все льдинка - в сердце, не тает, проклятая!

Через две недели бирючи сзывали людей на Каштак, на Федькину смерть. Все посадки пришли. Поджигатели редки, известно всем, что за это полагается.

На ровном месте - домик из сухих жердин, только войти и стоять в нем. Домик полит смолой, обставлен снопами. Палач поставил Федьку на колени, поп Киприян исповедал и причастил дурака. Палач запер Федьку в домике, отбежал, кинул горящий факел. Федька взвыл. И в последнюю минуту промелькнуло в дурной голове, что это его обнимает Маруська.

## 8. ДУРМАН-ТРАВА

Князь Осип Иванович Щербатой прибыл в Томск вместе с телом несчастного брата своего. Не в Москву же было возвращаться? И выдолбили могилу. И долго стоял князь на мысу, касаясь своей могучей рукою гладко остроганного креста. И думы его были невеселые. В дальние дали посылает нас долг служить царю и Отчизне. И живот тут положить, а не зря ли? Хорошо, как царь праведен и о земле своей и о людях своих печется. А сколько мы видели пустых властолюбцев, которые земли свои растранижили, перед иноземными властителями сгибались в лъстивых поклонах: позвольте, мол, батюшка, усидеть на троне?

Ах, лукавцы царедворцы, бояре лукавы. Не каждый о земле своей печется, но многие о кошельках своих.

Вот брат, Дмитрий Иванович, в чужих краях богу душу отдал, служил до смерти, а много ли чего нажил? Ничего, кроме болести. Эх!..

Дивились томичи на нового воеводу, словно бы воскрес Дмитрий Иванович, ну как две капли воды похожи были братцы, потому и страшно на нового воеводу смотреть, как на мертвеца воскресшего.

Но прошло не так уж много времени, и томичи поняли, что новый воевода мало на своего брата похож. То есть глаза, борода, фигура, рост, все, как у Дмитрия Ивановича, а характер - совершенно иной.

Воевода Осип Иванович первым делом начал расширять и благоустраивать свои хоромы. Сперва-то строительством занимались его холопы, прибывшие чуть позднее самого князя вместе с его женой Аграфеной, сыном Константином и разными пожитками. Затем князь приказал сборщикам ясака у должников-ясашных забирать как бы в заклад рабов ихних, а то и родственников. Случались при этом и драки, и стрельба. Но разве власти поперек встанешь? Сразу не отдашь, что просят, придет отряд казаков и силой заберет.

Ясашные мирились. Так появилось на дворе у князя несколько нерусских рабов. Их крестили и дали русские имена. Они тесали бревна, ломали камень, работали на пашне.

Двенадцатилетнюю девку Таньку взяли в хоромы мести полы и помогать на кухне, ибо была шустра и хороша личиком, глаза - большие сливы, на тонких руках браслеты звякают, улыбчива, услужлива.

Князь решил в годы службы взять свое, да и за брата Дмитрия Ивановича покойного. Иные полоняне тут пригодились, других направлял в свои подмосковные имения. Хотелось увеличить дворню так, чтобы другие московские бояре завидовали. А иначе - на что же муки в этой морозной стране? И что за жизнь тут? Невежество и грязь. Того гляди, разбойники наскочат, а хуже разбойников летом гнус, а зимой мразы великие.

Князь тайно посылал своих людишек на промыслы, чтобы не в казну, а себе поболее набить в сундуки шкур лисиц, соболей и белок.

А еще рабы ему дичь заготавливали, рыбу ловили и солили, и коптили и вялили, брали орех, грибы, ягоды. Кто плохо работал, для того всегда кнут находился. И кабальные знали: убежишь - найдут, у князя казаков хватит - поймают в любой тайге, в любом болоте, да и заперют.

Любил еще Осип Иванович выбрать из челяди своей особу попривожей, да побеседовать с ней. И Аграфена, жена, тому не препятствовала. Она с сыном Константином, бывало, что еще устраивала? Придет к князю служилый с женой в гости, напоят гостя наливочкой с дурманом, уснет он, а жонку его уволокут в комнату князя, где у него лежанка для послеобеденного отдыха налажена.

Князь с чужой жонкой беседует, а Константин с Аграфеной друг друга отталкивают, заглядывая в щелку двери. Смешно ведь! Кому - смешно, кому - грешно

Есть о чём посудачить зимними вечерами: все такие беседы на особину получаются. Двух одинаковых случаев нет. Эта потеха, дак потеха! Они такое и в своих имениях на Руси устраивали, а уж в Сибири-то совсем утех нет, кроме этой.

Грех-то он грех, да забавно. И ревности у Аграфены давно нет. Не молоденькие. А его-то, могучего, на всё хватит, и ей останется, так лучше уж при ней, по ее выбору. А иную особу унижить хочется. После такого, только намекни ей, враз покраснеет до ушей и умолкнет,

И вот ушла Аграфена в гости к жене дьяка, Константин где-то бродил по чужим дворам. А на улице - сосульки до окон. Пьет князь от скуки, да не пьянеет, только скучнее делается.

Медведя зимой из леса привезли, сделали во дворе тыновый круг, туда Мишку пустили. Там он живет в неволе. Пошел князь, бросил косолапому буханку свежего хлеба, тот ее умял в один момент.

Еще скучнее стало. И подумалось почему-то: живу, как медведь в загородке. Старею вот... И слезы на глазах навернулись.



Вошел в светлицу, там Танюшка, басурманка, корчаги с цветами переставляла, заметила, что слезы у него блестят, спросила:

- Чего плачет тебе?

Ухватил ее за косы, в особливую светлицу потащил.

- Почто? - закричала девчужка. Кричи, не кричи, князь перед ней, что медведь-великан и сила его медвежья.

Князю надоело возиться со шнурками и застежками, ухватился корявыми руками за ворот платья и разорвал его вместе с рубахой до самого низа, таким же манером разорвал длиннющие басурманские штаны. И осталась Танька лежать на бывших своих одежках, как кедровое ядрышко.

Странно было князю на худосочном тельце видеть ладанку, шнурок коей не удосужился сорвать. От ладанки исходил щемящий запах какой-то дурманящей травы.

И чувствуя этот запах, он как бы вступал в какой-то иной мир, где наколдывают на травы, и нашептывают на воды. И был он, как в тумане.

И как бы проник он в тайный ребристый ход, в котором до него никто не бывал, и было сумрачно и жутко, и нерусское бормотание в сочетании со странным ароматом травы басурманской опьянили более, чем все выпитое вино.

И представлял он их в шалашах с кострами, где они глотают дым костра и поют свои гортанные песни. И как бы перенесся он в прошлое, где в диких набегах ухватывают и жонок, и малых девчужек, и сила встает превыше всяких запретов и небес. Там стоны удушаемых и убиваемых перемежаются со стонами радости. И жизнь темна, дика, страшна, а все же прекрасна.

Все это исходило от ладанки басурманской, от вздохов, и нерусских, странных слов. Откуда-то издали приплывало особенное устремление вперед к сокровенному, тайному, женскому. Отступление для разбега и новый скользящий рывок: вонзиться, достать, достичь! От солнца ли, от луны ли был ритм недалежного похода, подражающий ритму волн, приливу и отливу, смене дня и ночи и бог знает чему еще.

Чуял, что Танька тоже вовлечена в это движение. Она еще давилась слезами, но, вопреки своей воле, рвалась навстречу. Желание качаться, поражало её, заставляло растягивать губы в улыбке. Ритм её учащался, казалось, дальше все - смерть! Но князь продолжал наступление.

Завершив подвиг, князь почувствовал неловкость и измочаленность. Прилично ли ему, князю, порскать сухим стручком при дороге? Что за наваждение?

Велел Таньке подать мятного квасу, да тряпицу мокрую, чтобы приложить к голове. Она поспешно унеслась в неведомое. Но вскоре возникла в ином платье и как бы даже облик свой сменила. Подала квас и тряпицу, глядя исподлобья, невесть, о чем думая.

А князь гадал: подарить золотой перстень? Удивить? Но решил, поразмыслив, что хватит с нее и оловянного, а то еще возомнит о себе. Она же почему-то отказалась взять и оловянный.

## 9. ЕЩЕ ОДНО ЧУДО

Устинья с Семеном до весны 1645-го года жили безвыездно в своей слободе. Холод не терпит голода, крестьянину всегда недосуг.

А тут поп Ипат попросил их в город съездить. Дело молодое, лошадка добрая. Давно собирались в город за серпами, пилами, косами, да одежкой новой. Так пусть и поповское поручение выполнят.

При заимке, где у попа Ипата остались дети, была часовенка, а в ней икона еще с Руси привезенная: Николай Чудотворец, покровитель путешественников, плавающих, в дальние страны нуждой влекомых.

Хотел Ипат сделать эту икону главной в Верхнеслободском храме, да краска повыцвела, не разобрать уж лика святого. Ипат написал письмо попу Борису. Едут, мол, однослободцы в город за покупками, дозволю им ночевать, да сведи их с богомазом, срисовал

бы Николая Чудотворца. Сам бы поехал - дела не дают. Хозяйство. И паству надо учить, лечить и наставлять.

Мы тут все - люди приезжие, Николай Чудотворец охранит нас от бед и болезней...

Прибыли в город Устинья да Семен со стороны Колмацкого прихода. Означало это, что приехали они с полуденной стороны, с юга. Оттуда обычно колмаки набегали, вот томичи и стали звать эту окраину города - Колмацкий приход. С этой же стороны обычно подъезжали к Томскому послы разных теплых стран, приходили пестрые караваны. Послов останавливали отдохнуть как раз в слободе Верхней. А пока они там отдыхали, чистились с дороги, томичи готовились к их приему. Служилые надевали пансири да витые шлемы, брали оружие и выстраивались с двух сторон ведущей в крепость дороги, вместе с празднично одетыми горожанами.

С башен стреляли из пушек и пускали многие большие дымы. Громко звонил всполошной колокол и все звонницы при церквях. Трубили трубачи, били в литавры.

Послы, видя такое многолюдство, слыша такой грохот, да глядя на изрыгавшие огонь и дым башни, на корабли, стрелявшие на реке Томе и на реке Ушайке, и на Ушайском озере, изумлялись. И начинали понимать, что урусский царь больше самого великого хана, если в короткое время сумел он поставить в глухой тайге город столь великий, многолюдный и ужасный.

Но так бывало по прибытии в Томской послов. Устинью и Семена никто не встречал, никто им никакого салюта не давал, за исключением разве кобылки, которая от бега по кочковатой дороге громко пукала и роняла лепешки.

Побывали у попа Бориса. Тот свел их к своему духовному сыну - Григорию. У Плещеева во дворе свободно и в доме, там ночуйте. А для богомаза была дана записка.

Григорий мельком взглянул на деревенскую чету, показал, куда поставить распряженную кобылку. Предложил подкрепиться с дороги. Они сказали, что не голодны, взяли икону, завернутую в чистую холстину, и пошли по дороге к Верхнему городу.

Город ошеломил их многолюдством и красотой. Постояли на мельничном мосту. Слушали, как играют трубки изобретенного немцем гидравлюса. Смотрели, как падает вода с колеса.

Дорога к воротной башне была вырублена в камне, восходила вверх пологими уступами, дабы могли въезжать телеги.

В зарослях калины, боярки и шиповника вдруг возникли два старичка, в рубище, деревянных башмаках, они натянули поперек дороги веревку.

- Почто вы? - спросил Семен, сдвинув брови, но не от гнева, а от неожиданности. И сказал тогда старец Максим:

- Мы вам добра хотим. Позволь нам с братом Петром слово сказать?

- Почто не сказать? Старших нам всегда надо слушать.

И сказал свою притчу Максим:

- Господь создал пчел на благо человеку, а черту завидно, требует у бога себе несколько пчел. Бог и швырнул ему горсть. Только пчелы те чертовские, меду не дают, только жалят, называют их шершневыми.

И тогда свое слово сказал Петр:

- Если увидишь, что кто-то в церковь бросает камень, а на кабаке молится, - не ругай. Бывает, над церковью черти летают. А и на кабаке не грех помолиться, ибо там души свои губят, о смертном часе позабыли.

- К чему вы клоните, добрые старцы, не понял я, - ответил им Семен, - но слово ваше премудрое мы запомним. А идем мы в город к богомазу Герасиму Иванову-Иконнику. Несем икону, чтобы он с нее новую написал.

- Это мы знаем, - сказал Максим, - а над словами нашими думайте. Не мы их говорим, нам свыше сказано.

- Спасибо вам, отцы! - сказал Семен и хотел дать им ефимок.

- Ничего с вас не возьмем за слово божие, - сказал Максим, - идите с богом да живите по совести.

Пришли Семен с Устиньей на гору. Глаза разбегаются - дома большие, за крепостью в остроге целые ряды их, поди, найди Герасима!

Однако подсказали - куда идти. Встретил их Герасим, добрый мужик, улыбочивый, сам курнос, волосы лентой алой повязаны, чтобы на лоб не падали, глазам не мешали. В горнице у него - лепота, всюду иконы, иные уже готовы, иные сохнут. И краски в скляницах всех цветов, и кисточки беличьей и куны.

Усадил Герасим Семена и Устинью на сундук, поставил перед ними на стол малый блюдо с кренделями да кружки со смородиновым квасом. Помолился, взял в руки доску с углублением с одной стороны, на выпуклую часть доски была наклеена рыбьим клеем-карлуком материя.

- Сие - ковчег, основа иконы, на лицевую часть левкас слоями нанесен, это графья, ею лики черчу. И Герасим начертил лик Николая Чудотворца.

- Чудо! - удивилась Устька.

- Бог моей рукой ведет, - сказал Герасим, - но это лишь начало иконы, остальное допишу, когда подсохнет. Это верно, что чудо. Кому-чадо, кому-чудо. Еще мальцом, все, что видел, на заборах углем рисовал. И отдали меня в ученье к старцу, он был живописец, но уже слеп. Он в мои глаза из своих глаз все образы святые переложил. В том-то чудо мое и есть. Придите завтра, дописывать буду.

Пришли к Герасиму наутро, он им показывает ту икону, за ночь лик Николая Чудотворца оборотился ликом Спаса Нерукотворного.

- Ты почто икону подменил? - сказал Семка, - нам поп Ипат велел Николая Чудотворца привезти.

- Лик иконы изменился божьим промыслом, - ответил Герасим, - ладно, начну вновь Николая Чудотворца писать, а на ночь пусть поп Киприан, собора настоятель, запрет недописанный лик в мастерской, да на дверь печать поставит.

- Мы люди маленькие, - сказал Семен, - только поп Ипат нам про Спаса ничего не говорил. Пусть поп Киприан запечатывает, а мы посмотрим...

Вернулись Семен и Устинья на место постоя, стали свою лошадку овсом кормить. Григорий вышел, спрашивает:

- Ну что, когда икона готова будет?

- Чудо! - говорит Семен. И объясняет, как все было.

- Да, чудо, - подтверждает Григорий, а сам на Устинью смотрит. Как отужинали, Григорий Семена в свою светлицу позвал. Там - казаки, немец, князцы нерусские.

- Сейчас в кости будем играть, - поясняет Семену Григорий. - Давай с нами?

- Да не умею я.

- Ну, так учись. На вот, винца выпей.

Гости пили вино, курили табун-траву. Григорий поднес корбушку с табаком и Семену:

- Покури-ка табачку, он отрада мужичку!

- Говорят, эта трава растет на могиле блудницы, - сказал Семен. - Курил я как-то раз, стошнило.

Григорий рассмеялся:

- Это сколько же блудниц надо похоронить, чтобы столько табакаросло? Царь сюда на продажу каждый год двадцать мешков присылает, да из аглицкой земли купцы везут. У меня-то табак Вильсон, только курнешь - пропадет весь сон! Пробуй.

Семен выпил, покурил и стал посмелее. Один мужик имел две денежки, а выиграл горсть серебра. За такие деньги крестьянину надо всю жизнь горб ломать.

- Сыграешь? - спрашивает Григорий.

А Семен думает: а почему не сыграть? Выиграю серебра, Устинье мехов наберу, да материй добрых. Если про себя потихоньку молиться, так уж обязательно выиграешь.

Было, не было, ночь - к утру, а у Семена уже ни одной денги в кисе не осталось. Дернул сам себя за ухо, спросил:

- Что же теперь будет?

- Григорий говорит:

- Любишь смородину, люби и оскомину. Да не трусь. Займу. Отыграешься и еще с барышом будешь.

- Ты уж займи, ради Христа, век бога за тебя молить буду. А играть больше не стану, икону дождемся и - домой.

На другой день Устинья и Семен сходили на гору к богомазу. Чудо подтвердилось. За ночь лик Чудотворца опять обернулся ликом Спаса Нерукотворного, хотя мастерская и была заперта отцом Киприаном. Он и сказал:

- Вы, чады, возвращайтесь в свою слободу, а отца Ипата я призову, когда икона будет готова. Надо будет вместе вознести хвалу господу, да крестный ход устроить. А ваша церковь отныне и вовеки веков будет именоваться Спасской...

Пошли они с Устькой. А у Семена кто-то в голове тихонько подзуживает: "А что, если попробовать отыграться?" Пришли, и сказал он Устьке:

- Давай завтра будем покупки делать, а эту ночь еще ночуем?

А та и рада. Самой хочется подоле в городе побыть. Бабы в доме у Григория ласковые, знают много всяких баек. Сам хозяин любопытен, большой, говорят, был на Москве человек. И пригож. Хотя кроме своего Семена она никогда, никого не полюбит.

К вечеру вновь собрались у Григория игроки. Правило такое: что есть на столе, - ешь и пей, еще принесут, если не хватит. И много людей в доме, а еды-то, видать, еще больше. И все шутят, все веселы.

- Ну, бери карты, да получше смотри и думай, как ходить! - говорит Семке Григорий. - За битого двух небитых дают. Не отвалится голова, так вырастет и борода.

Вроде бы и выигрывать начал Семен, вроде бы и масть пошла. И сам не понял, как проигрался опять.

- Григорий Осипович, еще, не займешь ли?

- Дважды занимать - из пустого в порожнее переливать. Ставь на кон лошадь.

- Кормилицу нашу? А на чем поедем? А пахать, возить на чем?

- Ну что мы будем воду в ступе толочь? Масло не собьется. Сдали карты. Семка про себя молится богу, просит всех святых угодников один только раз ему помочь, сегодня, а уж потом он всегда сам будет справляться. Но то ли его не услышали, то ли помочь не захотели, раз он в такое греховное дело, как игра, влез. Проиграл лошадь. Спрашивает:

- А телегу поставить нельзя? Григорий удивился:

- А разве ж ты лошадь без телеги ставил?.. Ну, ладно, ставь телегу.

И телегу проиграл.

- Григорий Осипович, что же это будет? Как же я без лошади, без телеги, без денег? Помилосердствуй.

- Погоди, - говорит Григорий, - знаешь, почему черт в озере сидит? По привычке. Вот и ты привыкнешь. Да ты не хмурься, ты вот колмацкого дымку глотни. Да не вороти нос, угля сажей не измажешь, курил табун, теперь колмацкого попробуй.

На подставке шар с водой, дым потянешь, он сквозь воду идет, булькает водица. Огонек в колмацкой трубке пыхнул, через воду к Семке перешел. Если пристально смотреть, лица игроков вытягиваются, растут, такие громадные, что в рот можно войти, как в пещеру. Сморгнешь - все на место станет. Григорий предлагает:

- Устинью на кон ставь.

- Дьявол!

Глянул Семен, а у Григория за спиной два белых крыла простерлись.

- А-а! Ты - ангел, ну тогда - ладно, ставлю Устинью. Уж как старался Семен, как карты перебирал. Вроде игра хорошо пошла, сердце пело и - бац! Проиграл Устинью! Спросил, часто моргая:

- Как же теперь? Ведь жена она мне? Григорий успокаивает:

- Ну, чего ты? Женой и останется, чать бог вас венчал. А полгода у меня работать будет, вот и записку кабальную я приготовил, ты руку приложишь, да вот и свидетели есть! Мужики кивают, трубками дымя. Немец Васька Иванов говорит:

- От-шень кар-рош!

- Да как же я без жены в хозяйстве полгода буду? А посадские что скажут?

- Что нам - посадские? Мы люди городские. Законы знаем. И суд, и правед, все у нас есть, - смеется Григорий. - А ты возьми да отыграй Устинью, и делу конец. Мы порядок любим. Как карта выпадет, так значит, богу угодно.

- Так где же я денег возьму? Ты ж сказал, - не займешь второй раз?

- А ты себя на кон ставь.

- Как это? Что же, если я и себя проиграю?

- А полгода у меня будешь вместе с Устиньей работать. Еще одну записку-грамотку напишем.

Подумал Семка: вместе с Устькой? Тогда - не страшно. А может, отыграюсь. И стал тайком молиться, и под столом карты крестом осенять. Не помогло, проиграл и себя. Что, как? Сам не мог понять. Только, что недавно, сюда ехали имел лошадь, жену, деньги и нет ничего, и в кабалу попал?

Григорий по плечу его хлопнул:

- А ты не думай, не горюй! У меня служить - хорошо! И винцо будет, и еда, и табаку - сколь хошь. На, выпей!

Выпил Семен большой бокал вина, а ему еще налили, немец кричит:

- Дрюк ты мой! То тна!

Свалился пьяный, подняли его, отнесли в чулан, заперли. Григорий пошел в женскую половину, позвал Устинью:

- Грамоте знаешь?

- Совсем мало, поп Ипат учил. А что? Где Семен-то мой? Долго нет.

- Семен твой пьян сильно, а тебя он в карты проиграл.

- Что это ты, Григорий Осипович, как можно?! - гневно раздувая ноздри, спросила Устька.

- Очень просто. Вот, смотри, кабальная запись. На полгода ты - моя. Вот он и руку приложил, видишь?

Устька глянула, побледнела. Да как он смог, Семен, бумагу эту подписать? Знать, не любил совсем? Где же он?

- Хочу Семена видеть!

- Идем, - взял ее за руку Григорий. Она руку выдернула, но за

Плещеевым пошла. Отпер замок он, свечу зажег, - смотри!

Смотрит Устинья, а Семен пьяный не мешковине лежит, а рядом с ним баба ли, девчонка ли нерусская - соски торчат, и тоже пьяна, ни лыка не вяжет.

- Закрывать их, или пусть открыты лежат? - спрашивает Григорий, -

народу много по дому шастает, не дай бог набредут, увидят.

- Закрой их! - сказала Устинья и горько зарыдала. Плечи трясутся, платок сполз, косы за плечи упали, удивительно толстые и пышные, переливчатые.

- Не надо плакать, не надо, - погладил ее по голове Григорий, - не надо, пойдём, дам тебе винца легкого, заморского - горе залить.

Витая лесенка вела наверх. Григорий лез впереди, Устьку за руку тянул. Комнатка верхняя, теремная. Ковры на полу, ковры и на стенах, оружие дорогое по стенам развешано.

Григорий не стал зажигать свечу, луна светила загадочно, таинственно и колдовски.

- Пойду я! - рванулась Устька.

- Погодь, загадку разгадай: полна бочка вина, ни клепок, ни дна.

Что такое? Не знаешь. Тогда пей отступное.

Чуть не насильно пить заставил, пролила половину. Еще загадку загадал:

- На тычинке - городок, в нем семьсот воевод. Что такое?

Опять она не знала. В голове от вина кружение пошло. Еще заставил пить. Неожиданно за мочку уха укусил, но осторожно. Поднял ее, понес, задавая еще загадку:

- Поднять можно, а через избу перекинуть нельзя, что такое?

- Пух! - выдохнула она, - отпусти! Угадала!

Что он еще шептал, чего касался? Легкие касания, как пух. А в ней, как пузырьки в воде, что-то

шемящее передвигалось от сердца, растекалось по телу истомой, розовыми пузырьками разгоралось, неслышно вскипало.

- Палач! Заплечник! - обругала Устька, - пусти, пойду!

- Уедем! Ускачем! От мира, от боли! - шептал он, она словно в сон соскальзывала.

Слезы стыда закипели у всадницы, удивляло до изнеможения тело в шерсти, алое на черном, крест золотой.

Усмехнулся:

- Ну да, я бес! Только рог у меня один!

Устинья и предположить не могла, что такое может быть. Она уже изнемогала. Уже и луна скрылась с неба, и в окне посветлело. Народ заходил, застучал в доме, а изумительное путешествие все продолжалось. И она, дикая всадница, с распущенными длинными волосами, неслась, перелетала через моря безумия и восхищения, и не было этому ни конца, ни края. Во время полета, дикого и безумного, он не раз менял свои обличия, только изредка покрикивая:

- Держись!

И оборотился он горой огнедышащей, бушующей внутренним гневом, в бешенстве сметающей все на своем пути, извергая огненную лаву.

## 10. НОЧЬ НА ГОРЕ

Когда слухи о кончине царя Михаила Федоровича дошли до Томского, Григорий возликовал. Известно ведь, что новая метла по-новому метет. Новый царь простит всех, кто был у прежнего владыки в опале. Думал Григорий. Надежда то озаряла его своей улыбкой, то исчезала во тьме ночной.

Конечно, направил он с оказией в Москву к царю Алексею Михайловичу прошение о помиловании. Ждал, надеялся. Но никак пока его прошение в Томске не отозвалось.

Все эти годы Григорий стремился выбраться из ямы, в кою его патриарх с царем прежним засадили. Он не пропал, не загинал в этой дикой стране. Вот у него хоромы возле Ушайки, и работников уже достаточно. Он и второй дом завел в Нижнем посаде, еще лучше того, который у него на Уржатке.

Там, в Нижнем посаде, у него всем вершит немец Васька, да две солдатские Жонки, сбежавшие от своих мужиков аж из Тобольска. В двух своих домах Григорий принимает и казаков, и детей боярских, и людей гулящих, лишь бы денежки были. Всяких, кто хочет в карты поиграть, винца попить, да и жонки одинокие в доме обретаются. Придут - в карманах звенит, уходят, в карманах - тишина. Богатые откупались, а простые людишки, особенно нерусские, быстро в кабалу попадали.

Он из кабальных даже дружины собрал. Едет куда - они с оружием позади скачут, словно за воеводой.

Устька про Семку и думать забыла, только всё у Григория допытывается:

- А в Москву меня возьмешь?

- Возьму.

- А кем буду? В дворне твоей? - сожмется Устиньино сердце. Ничего не отвечает Григорий, или буркнет:

- Там видно будет...

У него свои мысли. Вывернуть яму наружу и вылезти, доказать. Вот - теперь смейтесь вражины!

Семен пристрастился к выпивке, и ему вроде бы Устинья даже больше не нужна была. В хозяйстве Григория он выполнял черную работу, скотину пас, летом спал на конюшне. Некоторые мужья требовали своих жен из полна досрочно. Таких Григорий за вихры таскал, а то и кнутом пользовал. Напившись хлебного, нередко бушевал Бадубайка:

- Отдай Галию! Жаловаться буду!

- Иди, иди! Заставят долг вернуть, а где у тебя деньги?

- Ну, одну ночь с ней спать дай?

- Пока долг не отработает, ты до неё не дотронешься.

- Ай, шайтан! - я князь!

- Ты не князь, а князец, князь это наш воевода, Осип Иванович. У него целый город руках, а у тебя - три кола вбито и небом покрыто. Не тянись туда, где и оглоблей не достанешь. Широкие плечи, да платить нечем! Хочешь ядрышко слопать, не разгрызая ореха. Нет, друг, за все надо платить!

Бадубайка пытался драться. Но сколь ни был здоров, Григория в борьбе и кулачном бое одолеть не мог. Однажды, будучи пьяным, с ножом кинулся. Григорий нож у него отобрал, после с неделю не давал вина и говорил при этом:

- По закону тому холопу, который зарежет хозяина, отрубает голову. Али не знал? А ты такой охотник, что пока зайца убьешь, так двух быков съешь. Выгоню - куда пойдешь? Мне ведь от тебя - ни пуха, ни пера, ни шерсти, ни мяса, на что ты мне?

- Я тебе за толмача служу.

- Только-то? В кои-то веки я с басурманами говорил?

Однажды Бадубайка таинственно поманил Григория на улицу. Отошли к Ушайке, где шумела, проливаясь с плотины, вода. Бадубайка шепчет:

- Знаю, где золото Гурбана лежит.

- Где же?

- Старик есть, береста, знаки на ней...

- Где старик?

- Туда ходить надо. Сакурсин... Конями скачут за рекой Томой...

Быстро собрались в поход. На дощаниках переправились с лошадьми через Тому.

Поскакали. Впереди - Григорий. Под алой рубахой - кольчуга, сабля в простых ножнах, в каждом сапоге - по кривому ножу. Васька-Томас в кургузой немецкой одежде, в латах, с сабелькой и пищалью малой.

Татубайка с Бадубайкой дорогу показывают, у каждого из десяти всадников либо копья в руке, либо топор, ножи - у всех. Мало ли кто на лесном просторе встретится?

Заливными лугами подъехали к возвышенности, на которой виднелась сплошная стена бора.

- Сакурсин! - указал вперед нагайкой Бадубайка. - Где правая рука, там бор, где Тояны живут, - Темурчинский бор называется.

Увалы лежали, словно ребра сказочного великана. И не было этим ребрам конца. Взберешься на один увал, за ним виднеется другой. И так - несколько часов пути. Частые стволы сосен - на всем видимом пространстве, мхи, лишайники, шляпки грибов, ковры черники, голубики, костяники, местами уже поклеванные птицами, осыпавшиеся.

Птицы то и дело вспархивали из-под ног лошадей, солнце еле пробивалось сквозь ветви, словно через малые оконца огромного храма. Почва была песчаной, влагу наверху не держала. Сухой песок спрессовался с опадающими хвойными иглами, пророс жесткими лишайниками. Григорий подумал о том, что бором этим ехать даже лучше, чем по московской бревенчатой дороге, али по каменной, аглицкой.

Долго скакали так они, неведомо куда. Неожиданно выскочили на прогалину с болотцем круглым, как пятак. Бадубайка осадил коня назад, закричал хрипло:

- Ай-ай! Сюда нельзя, духи живут, духи сердиться будут!

- А вот посмотрим, что там за дух?- сказал Григорий, поднимая саблю.

Вокруг озерца на ветках сидели в причудливых позах черные, лохматые люди. Что-то страховидное и нездешнее было в них. Многие всадники спятили своих лошадей, глядели испуганно, изумленно. Григорий сходу рубанул одного уродца саблей. Посыпалась труха. Уродец с земли как бы с укором глянул на Григория своими точками глазами.

Плещеев спешился, поднял уродца:

- Сколько кожи и меха на чучела извели! Дурни!

Кожаные мужики, с лохматыми растрепанными волосами, были похожи на странных зверушек, напоминали что-то из детских страхов. Но Бадубайка обиделся:

- Зачем чучелом называешь? На ваших иконах рожи малеваны, разве не чучелы?

- Сам ты болван, соломой набитый! - возмутился Григорий, - сравнил святую икону и мешок с трухой!

- Плохой дело, - серьезно и мрачно заговорил Бадубайка, - дух обиделся, он не простит, он пути не даст. Дух - не икона, он кровь пьет.

- Не болтай зря! Для старой бабы и на печи ухабы! Давай веди к старику. На коней! - скомандовал Григорий.

- Не в ту сторону! - крикнул Бадубайка, - айда в другую!

Еще долго ехали по увалам. Меж ветками мелькнул просвет. Вскоре выехали к большому озеру. Вокруг него сидело много людей. Неруси, в одеждах из рыбьих шкур, в чулках из налима, редко кто был в холщовой рубахе. Сидели с лохматыми головами, без шапок, только на одном мужике был старинный зимний московский колпак.

На середине озера в лодке стоял мужик, державший в руках "журавля" - кривой ствол осины, с натянутыми на него струнами. Длинные волосы этого мужика были перехвачены на лбу лентой, ударяя пальцами по струнам, он пел громко и заливисто непонятную свою песню. Звук отражался водой и легко летел над ее поверхностью к берегу, усиливаясь многократно.

- О чем поет мужик? - спросил Григорий своих толмачей.

- Это по-русски не сказать, - ответил Бадубайка, - это так: теперь месяц красных листьев. Ведь осина все свои листья покрасила, видел, красиво как? Сейчас надо - тюнек, сети доставать, смотреть, что бог слал. Петь надо, пить надо, "дедушке" дать надо, то есть духу, который главный. Чтоб не серчал на нас.

- Хороша песня, - одобрил Григорий, - а что же старик твой? Он тоже здесь на берегу?

- Его здесь нет, он висит.

- Как висит?! Он - кожаный?! - гневаясь, воскликнул Григорий, думая, что Бадубайка предложит ему беседовать с мешком, набитым трухой. Но Бадубайка уточнил:

- Он старый, но живой, как мы. Сколько ему лет, никто не помнит. Но он старше всех в тайге. У него вся кожа в язвах, на простой лежанке - не может, сплели из мягких широких ремней ему лежанку и подвесили ее.

Пришли в шалаш, коричневый, высушенный старец - висел. Заслышав шаги, голоса, он приоткрыл свой единственный глаз. Бадубайка долго говорил с ним по-басурмански, кланялся, прижимая руку к сердцу. Тогда старик велел подать ему туес, из него дед извлек бересту, на которой было что-то накарябано.

- Что это? - спросил Григорий.

- Чертеж, - пояснил Бадубайка, - четырнадцатидневная луна будет, на Юртошной горе в полночь надо стать лицом к луне и надо три раза прочитать волшебные слова:

Тичирк инходс, каруд инходс, адук зелопп каруд!

После надо отмерить тридцать шагов от белого камня, что лежит возле Юртошного озера с северной стороны, и копать меж трех больших лиственниц. Там - богатырь.

- Спроси, золото там есть? Правда ли, что богатырь лежит в шлеме и латах из чистого золота?

Бадубайка обратился к старцу, тот замотал головой.

- Теперь у него язык отнялся, - сказал Бадубайка, - теперь он только через неделю говорить будет. Григорий взбеленился:

- Ты ему скажи, если он не заговорит сейчас же, я ему башку дурную ссеку.

- Нет, - сказал Бадубайка, - лучше его не злить, а то удачи не будет. Береста у нас есть, дело верное, старец был мальчиком, когда Гурбана хоронили, он сам его видел.

- Так дай ему бересту, гвоздик, пусть нарисует богатыря.

Бадубайка перевел. Затем пояснил Григорию:

- Ему трудно шевелиться, но он дал знак: если ты дашь ему ефимок, он нарисует.

- Вот старый хрен, на что ему ефимок? По бабам, что ли, собрался?! - пошутил Григорий, но ефимок все же дал.

Старец взял дрожащими руками бересту, долго карябал по ней, потом Бадубайка взял у него рисунок и подал Плещееву.



На рисунке был изображен человек - не человек, но что-то вроде того. Огромный лоб, огромные глаза, в каждой руке - по мечу, мечи эти уткнуты в землю.

- Да, сказал Григорий, - парсуны рисовать он не мастер и в богомазы его бы не взяли. Да ладно, нам лишь бы Гурбана скорее найти.

Сменяв несколько оловянных перстней на связки вяленой рыбы и беличьих шкурок, всадники засобирались в обратную дорогу.

На временном стойбище уже шел пир, и певец сидел вместе со всеми, хватая зубами вяленое мясо и отрезая его возле губ острым ножом.

Ясашные говорили, что неплохо бы принять участие в пиршестве, но Григорий прикрикнул на них, а ну, как не успеют они засветло добраться обратно до Томского? В лесу ночевать?

В Томск вернулись усталые, но окрыленные мечтой. С нетерпением выждали четырнадцатидневной луны. Время настало. И, незадолго до полуночи, малый отряд скрытно двинулся к Юртошной горе.

В посаде все уже спали, только был слышен брех собак, да совы ухали в своих потаенных местах. Григорий взял с собой Устинью, Ваську-Томаса, Семена, здоровенного мужика заигранного, немого Пахома, Татубайку с Бадубайкой, которые все равно знали тайну бересты.

Все тащили лопаты, а Григорий еще вместительную тыквенную баклагу с вином, верная сабля да пара бухарских кинжалов тоже были при нем.

Повернулись лицом к луне, нашли камень, отмерили шаги, читая при этом в полголоса:

Тичирк инходс, каруд инходс, Адук, зелоп, каруд!

Как и было в плане, на поляне стояли три лиственницы. Мужики стали копать, при этом Григорий успевал отхлебывать из фляги, а комья от его лопаты были самыми крупными. Бадубайка с Татубайкой были еле живы от страха, Григорий, показывая им кулак, заставлял их копать. Устька и та рыла землю.

- Есть! - неожиданно воскликнула она. Вскочила, ударила левой рукой в сторону, вскричав: - аминь, аминь, рассыпья!

Все в момент повыскакивали из ямы, Кто же не знает, что возле каждого клада сидит и сторожит черт?!

Остался в яме лишь Григорий, он, трижды сплюнув через левое плечо, прочитал непонятное заклятье, подрыл землю кинжалом, затем выволок из ямы огромный череп с двумя бивнями, надев этот череп на руку, просунув ее в глазницу. При этом он грозно спросил Бадубайку:

- Где же Гурбан? Где золотые латы? Ведь это ты врал?

Он разглядел череп земляного зверя. Клыки чего-то стоят, но это было совсем не то, на что он рассчитывал. Золотой шлем, и латы сделали бы его одним из богатейших людей не только в Томском, но, может, и в Москве. А ведь клады, если где и остались, только здесь, в Сибири.

Он выпил половину вина из баклаги, встал, шелестели жухлые травы, по-прежнему ухали совы, в стороне города и посада было глухо, только изредка взлаивала собака, да светились, как светлячки, огоньки на сторожевых башнях.

Если бы богатым можно было стать легко! Тогда богатых было бы множество и богатство не имело бы значения... Чертов Бадубайка, заставил переться в дальние боры, заставил ночь не спать. Князь обделанный. Что ж, сейчас он будет таковым...

Мужики вырыли уже несколько ям, и среди трех лиственниц и подале - все было безуспешно. Григорий зевнул, подал баклагу Устинье, велел глотнуть самой, дать Семену да Томасу-Ваське, ну и другим, если останется.

- А Бадубайке не давай! - сказал он, -сейчас мы его зарывать будем...

- Как зарывать? - испугалась Устька.

- Надо, - сказал Григорий, - чтоб знал, как хозяина дурачить. Да мы не совсем, голову оставим, пусть дышит.

Григорий спихнул Бадубайку в одну из ям, мужики быстро его забросали, утрамбовали землю, торчала из нее только голова. Бадубайка хотел кричать, но Григорий - красноречиво показывал ему свой кинжал:

- Лучше молчи! Здоровее будешь!

Затем Григорий присел над Бадубайкиной головой.

- Эх, жаль, с вечера ел мало, - вздохнул он, - мужики, кто хочет?

- Он может откусать, - опасливо сказал Васька-Томас, присаживаясь над головой Бадубайки.

- Пусть попробует, - приободрил Томаса Григорий, - я тогда эту дурную голову сразу под корень саблей сбрею...

Устька отвернулась, пошла к озеру. Ей было жутко и смешно. Грех-то, какой, хоть и басурманин, а все-таки...

- Оставляем тебя, князь Бадубай, - торжественно возгласил Григорий, - обделанным, если ты вздумаешь после пожалиться кому-нибудь, то будешь зарыт в землю уже вместе с головою и навсегда. Аминь...

- Кричать-то хоть можно? - жалобно спросил Бадубайка.

- Сейчас -не надо, зачем людям сон портить. Утром монашки по грибы пойдут, тогда и аукнешься.

## 11. В КУЗНЕЦКОЙ ГОРОД

Осип Иванович нередко спускался в свои подвалы и заглядывал в сундуки. Были в его сундуках уже "иргизи" - снежные барсы, был и рыбий зуб", были самолучшие меха, но все же сундуки наполнялись слишком медленно.

Ясашные остячишки люди были непонятливые. И даже порой не было в их стойбищах ни единого человека, который бы мог разобрать писаную воеводскую грамоту. Когда ехали казаки их ясачить, то посылали вперед себя с кем-то из остяков веревку с тремя большими узлами. И тогда остяки понимали, что едут от "хозяина", как называли они воеводу, и тогда они присылали смену гребцов на дощаник.

Тайга-дело темное. В голодные зимы остячишки сдирали верхнюю кожу с сосен, а нижнюю ели. А для опьянения жевали корень айра, да особые грибы.

А городом управлять легко ли? Народу уже в посадах живет немало. А народишко всякой. Один беглый нетчик за Веселяшным озером землянку выкопал и колодец сделал. Не пахал, не сеял. Зерна единого в сусеке не имел. Пошел в посад, горсть зеленого порошка в колодец свой сбросил. Потом бегаёт по слободе, ушаты просит, дескать, у него полный колодец пива, не во что его наливать. Попер народ к тому колодцу. Перепились все. Через день трое померло, а пятеро заикаться стали.

Пошли его, нетчика, забрать в тюремную избу, а он сорок раз вокруг ножа перевернулся, стал сорокою и улетел.

А то ясашный один нашел в тайге человеческую голову отрубленную, да в съезжую избу ее приволок в мешке, за бороду вытащил из мешка и воеводе - на стол. Князь заорал на него, заругался, дескать, зачем это все? Чего мертвая голова скажет? Ясашный испугался, голову в мешок сует, а голова из мешка чуть слышно и сказала:

- Князь, влезешь в грязь!

Голову повелел Осип Иванович отнести в тайгу, на тоже место, где взяли, а ясашного в тюрьму посадить, как колдуна. А на душе покоя с тех пор не стало.

Был бы князь полным хозяином города, а то нет, придумали в Москве пытку: приставили на время службы как бы соглядатая. Илью Микитича Бунакова. Выползлец из вологодских лесов, мелкопоместный, а много о себе понимает. Про ту голову сказал, мол, зачем ее князь обратно в тайгу вернул? Мол, надо было палачу сдать, может, еще что сказала бы. Лезет не в свое дело!

По указу князя горододел Петр Терентьев вычертил "вавилонь", как новый город ставить. По плану в новый острог вошло и находившееся на мысу кладбище. Так Бунаков в том корысть увидел, де князь хочет могилу брата своего усопшего огородить государственной

стеной, де усопшие всегда лежат пред градскими стенами, поверье есть, что хоронят от врага, лучше любого оружия. У Бунакова вроде бы есть другой план нового города, много лучший.

По утрам из-за этого прохвоста даже в воеводскую канцелярию идти было неохота. Все поперек делает и говорит.

Опять пришел в канцелярию Осип Иванович в плохом настроении. И Бунаков вроде бы с ехидцей посмотрел, мол, задержался воевода. Воевода кивнул ему:

- Илья Микитич, зайди-ка, дело есть.

Осип Иванович уселся в свое воеводское кресло, расчесал частым гребнем бороду, глянул на статую Николая Чудотворца, перекрестился. Илья Микитич стоял перед ним, спокойный, ровный.

- Илья Микитич, Подреза Гришку допрашивал?

- Допрашивал и свидетелев звал.

- А пошто в тюремную избу не посадил?

- Да посадить-то недолго, Осип Иванович, толку-то, что? Ничо не доказано. Иные заявители в очи отреклись от слов своих.

- Не доказано? А палач - на што? Пытать вора ссыльного.

- Да как же, Осип Иванович? Не простой ведь...

- В царском указе прямо сказано, буде какое новое воровство учинит - в железа его, на чепь!

- Эх, Осип Иванович! То при другом царе было писано. А ныне еще не известно, чем это дело обернется. Они, Плещеевы-то, люди не малые, с Басмановыми и прочими родня. Свяжешься - не рад будешь.

- Так что же, так и будет свои воровства творить? Он пахотного мужика покалечил, руку ему отрубил.

- Вызывал того мужика. Говорили. Плещей ему руку отсек в драке, в кости играли, повздорили. Мужик-то первым рубанул Плещея по руке топором. Гришка руку показывал: рубец изрядный остался. Уже потом Гришка этому пахотному руку и оттяпал саблей. И то - левую, и только пальцы. Так Гришка сам же тут ему кровь заговорил и остановил, да потом лечил его. Мужик-то и не обижается.

(Бунаков не знал, что рубец на Гришкиной руке намалевал богомаз Герасим и очень искусно).

- Ишь ты! Лекарь какой! Сперва голову отрубит, потом прирастит! - сказал воевода. - Известно, что Гришка тайком вино курит, мужиков заигрывает. Ссылный, а холопов у него едва ли не больше, чем у меня.

(Насчет холопов, вы одним миром мазаны! - подумал Бунаков, но в слух этого не сказал, ясное дело).

- Да кто ноне в кости не играет, Осип Иванович? И вино сидят многие. За это хоть полгорода в тюрьму тащи.

-То-то и есть! Распустились! Ноне даже караульные на башнях пьянствуют и играют в кости и карты. Ему надо ворога смотреть, а он... А про Плещея говорят, что он человека убил.

- Все расследовано. Говорили, что в тайге убил ясадного. А свидетелей нет, поди, докажи. По одним слухам дела не заводятся.

- Говорили, малому князьцу Бадубаю на голову наделал. Как такое возможно?

- Бадубая допрашивал. Говорит, что все пьяны были, и он не упомнит ничего. Кто наделал, как.

- За этим Гришкой Плещеевым столько всего, что ему уже и башку рубить пора! - сказал сердито Осип Иванович.

-К нам, Осип Иванович, с Тобольского пишут, чтобы разобрали дело Левонтия Плещеева, нарымского ссыльного, который тамошнего воеводу обвинил во многих воровствах. Левонтий, как ты знаешь, Гришке дядей родным приходится. Так не отправить ли на время разбирательства сего дела Григория из Томского, как родственника заявителя. Пошлем его в Кузнецкой к Афанасию Зубову?

- Что ж, придумал ты неплохо, - согласился Осип Иванович, - но в заручной челобитной на Гришку еще сказано, что он отбил от пашни жену и мужа Тельновых. Поп Ипат это подтверждает. Надо бы крестьян Тельновых возвратить в их слободу Верхнюю. А Гришка пушай едет ко всем чертям!..

Так решила в то позднее осеннее время судьба Григория Плещеева Подреза. Узнав о решении воевод, Григорий позвал Устьку в верхнюю светелку, чтобы пить вино. Он перебирал её волосы, к которым давно привык, а теперь, словно увидел впервые.

- Эх, Устинья! Счастье с несчастьем, что ведро с ненастьем. Как же можно нам расстаться? Меня в Кузнецкой ушлют, тебя с Семкой в слободу.

А вот - флакончик. Дать Семке вина, и ты уже будешь не мужья жена. Ну что же ты? Нет розы без шипа, нет пчелы без жала. И нет любви без жертвы.

Устька дрожащими руками взяла флакончик с ядом. А через два дня призналась Григорию:

- Не смогла, я. В нужник яд высыпала. Я из-за тебя робеночка вытравила, а теперь еще Семку травить. Он-то в нашей любви виноват, что ли?

- Надо есть горькое, если хочешь сладкого. Да ладно, тогда до свиданьица...

Домом возле Ушайки Григорий оставил управлять Томаса-Ваську, вел бы учет вина, кое будет сижено, да покрепче вешал замки на погреба с бочонками. За домом в Нижнем посаде обещал доглядывать Девятка Халдеев с женой. Их двор был по соседству.

Из холопов Григория в Кузнецкой отправился только Бадубайка, но ехал он как бы сам по себе, ибо Григория везли казаки с письмом к воеводе Кузнецка.

Дорога была нелегкая, через многие горы и реки. Ехали казаки тайными каменистыми тропами, привалы делали в тихих, безлюдных местах. Выставляли дозоры.

Возле перевоза через Тому видели на скалах рисунки давних неведомых людей. Охоту на лосей рисовали те люди. Погоню. Удирающие лоси и бегущие за ними с копьями и луками человечки.

Григорий думал о них, о человечках. Был тут лосиный водопой, они тут и охотились. Ни городов с башнями тогда не было, ни огненного боя. Спали в пещерах, как отшельники Петр и Максим. Холодные, голодные. Однако род продолжали, и дошел этот род до сих дней.

Ночью из реки высывались белые руки русалок, их было видно при луне. И казаки крестились, и молили бога о прощении. А при порывах ветра слышалось чье-то жалобное завывание.

Чем дальше пробирались на юг, тем теплее становилось, тем меньше была заметна осень. Пошли холмы да увалы, иные горы дымились.

И настал день, когда на склоне горы увидели Кузнецкой город. Крепость каменную, тут не Томск, тут камня много, строить из дерева - резона нет. А за стенами крепости - все, как положено: воеводская хоромина, съезжая и тюремная избы. Церковь. Посады по склону горы, даже кладбище и то высоко на горе.

Воевода тамошний отнесся к Григорию строго. Прочел он письмо Осипа Ивановича Щербатого и сказал:

- У нас не заворуешь, жить будешь за приставом - Силантием Агеевым. Казаки тебя к нему сведут.

- Сам дойду, ноги есть и конь у меня добрый.

- Знаем, что ты не лыком шитый, да и мы не из рогожи шьем одежды, - сказал сердито Афанасий Иванович, - ты ссыльный и слушай, чего тебе говорят.

- Ну, да, - сказал Григорий, - понятно, что в бане хозяином бывает веник. Ладно, пусть введут на постой...

Идут, глядят. Ага! И тут - тыны двойные, много собак, караульные на башне, тоже люди беспокойно живут, в напряжении, как лук натянутый.

Пришли к Силантию на двор. Казачина здоровенный, хмурый. Женка его дородная, а зеленые глаза лукавы, улыбка такая ехидная. А еще с Силантием живут малолетний его сынок Петюшка, да престарелый отец, известный всему городу герой - дед Иван. Когда он свое геройство совершил, сам не помнит, малым был, лет одиннадцати.

И было так. Сперва-то над Кузнецким днем звезда зажглась и вроде бы с ушами, как у зайца. А в центре звезды можно было разобрать как бы две сабли кривые, крест-накрест. А через день у одних хозяев родился двухголовый теленок, а у других гусь стал петь по петушину. Потом вместо ржи выросла неведомая трава, ее косишь, а она пищит: "Нищета-нищета!"

И вышло, что хлеб собрать не успели, горох не смолотили, репу не выкопали, а город обложили телесы. Да так, что и мыши не проскочить.

Есть уже нечего, болезни пошли. Стрелы с огнем летят, дома загораются. Телесы на последний приступ идут. Лестницы к стене приставили, тучи стрел пуцают, а защитники города все убиты да ранены.

Ванятка на башню влез, к пушке приник, факелок поднес. Рывкнула пушка, да и в самую гущу проклятуших ядро ударило. Испугались нападавшие, с лестницы, как горох, посыпались, да на коней, да показали городу хвосты.

Вот что вышло. Так он стал героем. Если бы не он - Кузнецкой пал бы.

Что ж. С героем всегда приятнее. Бадубайку сперва приняли плохо, дескать - татар не держим. Григорий сказал:

- Что это вы, слуга ведь мой. Он мирной. Языки знает, на торг ехать или еще куда с собой будете брать, вас никто не обманет.

## 12. БАБЬЯ БАНЯ

Хоть и южная земля, но и там зима приходит ненадолго. Легли снега и в Кузнецком. В избе у Силантия Агеева поставец у - печи красный деревянный с железными держалками, в нем лучина горит, Агафья за прялкой сидит. Мужики уж вымылись, две соседки воду греют, готова будет, - стукнут в окно, Агафью позовут.

Силантий, Григорий да дед Иван хлебное вино пьют после бани. Доброе вино и не стоит ничего: Григорий с Бадубайкой сами его в той же Силантьевой баньке накануне высидели. Силантий опьянел, ругается:

- Ты, Григорий, за меня отдан. Днесь, опять кудой-то ходил без моего ведома. Ей богу, свяжу, я твой пристав, я чо хочу, сделаю с тобой.

Бадубайке смешно, Григорий хмурится, а пьяной казак все больше строжится, он не простой казак, он десятник, его сам воевода в почете держит.

А на лавке, напротив Агафьи, сидит Петька махонькой, он сегодня - царь гороховой. Шаньги Агафья пекла, да ватрушки, а в одну шанежку горошину запекла. Кому горошина в рот попадет - тот весь день царь, все его приказы выполняться должны. А на голову гороховому царю надевают корону бумажную, в одну руку дают скалку - скипетр, в другую - репу - держава.

Сегодня Петька с самого обеда - царь, уже и вечер, пора бы ему успокоиться, а он все приказы отдает:

- Батяня, прокати за коньку!

Силантий встает на четвереньки, Петька его босыми пятками в бока лупит:

- Н-но, пошел!

На Григории тоже не раз прокатился, на Бадубайке - тож. Сидит измышляет, что бы такое еще приказать?

Григорий подмигнул Бадубайке, в момент, когда Агафья лучину меняла, всыпал в вино Силантию порошок. Тот и задремывать начал. Деда Ивана тоже в сон потянуло - не те года. Да и Петька, устал, угомонился, спать готовятся.

Тут и в окно постучали - в баню Агафью зовут. Петька рядом с дедом на одной лавке прикорнули, Силантий - на другой.

Григорий с Бадубайкой в сенцы потихоньку за Агафьей вышли, надели бабьи кантыши, треухи, да по тропке, потупившись, за Агафьей скрипят. Если кто из соседских

дворов глянет, что увидит? Идут три бабы в баньку, две здоровенных, одна поменьше. Разве в темноте заметишь, что одной, самой высокой, кантыш маловат?

Григорий шепчет Бадубаю:

- Был я на Москве в войске. Вот так бывало: еще и боя нет, а уж пушки к бою готовы и ядра заряжены, мочи нет, как хочется неприятеля поразить.

Агафья с соседками остаются в предбаннике: испокон веков заведено в русских банях сначала мужикам помыться, а уж после - бабам. Мужик более чистым от природы числится. Устроен так. Хотя из одного теста и тех и других господь замесил.

Налили бабы воды в ушаты и ну, в предбаннике белье в горячей воде жамкать. А Григорий с Будубаем скинули кантыши, и всю одегу, и в жарко натопленную моечную ринулись.

Внутри банька обшита тонкими стволами осинника. На полке у двери - пучки целебных трав. В воде запаривать и голову мыть травяным настоем полезно.

Плеснул Григорий на каменку берестяным ковшом медового кваса с мятой, все заволокло туманом.

В мареве этом жарком, обжигающем забегали, как с завязанными глазами. Дверь из предбанника отворилась. В пару почти невидимые, проглядывали, маячили то ли белые лебедки, то ли облачка жемчужные. Меняли очертания, и звучали чудно. Бадубайка ухватил скользкое, юное облачко. Ах, хорошо! Ай, лестно! Ай, жарко!

Туман рассеялся. Бадубайка увидел себя в могучих объятиях старой тучи, а молочные луны юных колен воссияли в самой гуще тумана, на полке. И темная дьявольщина двигалась меж ними. И визг, и рык.

И кто-то невидимый еще поддал пара. Всхлипнули и вскрикнули то ли Анисья, то ли Дашутка, кто-то из соседских молодаяк. Но в молоке молоко не разглядишь. Бадубай чувствовал, как кружится голова и меркнет свет.

Баный дух. Таинственный и летний. Березовый, как жаркий день у реки. Запретное. Непонятное. Но всё очищают пар и вода. Квас и веники.

После, нахлеставшиеся вениками, распарившиеся и облившиеся холодной водой, сидели мужики в предбаннике. Попивали мятный квас со льдом, а бабы домывались, достирывались

Неволью поглядывали они на прибывших из Томского. Свалились на их головы приятной заботой. Бадубайка -ничего, а Григорий... Где такая одежда, чтобы швы не разошлись?

У Григория - свои думы. Силантий-то не поп Борис, свою должность пристава всерьез правит, со двора шагу ступить не дает. Можно было бы известить его, да ведь человек - не скотина, а сказано, что всякое дыхание господу хвалит. А воевода Зубов не понимает, что Григорий таков же, как он, человек, а может и - выше!

Сказано: срослые брови счастье сулят. Так где же оно заплуталось, счастье Григория? И молебен пет, да пользы нет.

Ездили заготавливать талины для плетения корзин, и приглядел Григорий заимку, заброшенную на берегу Томи. Как говорится: горница в подполье, подклеть под сенями, крыльцо в помойной яме, а вокруг двора стоят три кола.

Но перебраться, сманить мужиков да бабенок, мало их таких? Живут в тоске, спят на голой доске, пыль да копать, нечего лопать, только и ходу, из ворот да в воду. Нищий рад и тому, что сшили новую суму. Собрать таких на заимке, отсидеться там.

А, глядишь, дядюшка Левонтий в Москву переедет. Слухи дошли: крепко он своим изветом нарымского воеводу зацепил. Говорят, воеводу заменят, а дядюшку в Москву отпустят.

А ну, как дядюшке выбраться не удастся? Что ж, на заимке можно будет постепенно добрый отряд собрать, накопить свинца да пороха, чтобы не бояться любого ворога. Да двинуть к телесам, али к иным балбесам. Когда в Томске пили с боярским сыном Петром Сабанским, так рассказывал Петр, как в горе Алтае разбил князца Мандрика, да возле озера Телесского от скалы кус золота отломил. Там же и серебро можно рыть. Прыть-то прыть,

куда же после плыть? А золото тяжело, да наверх тянет. И царь простит, и патриарх, если Руси прибыль дать!

Ему бы много и не надо; стольником, либо окольниковым. Воеводой стать где-нибудь, али узкая грудь?

А что? И выберется. И выбьется. Почешет еще Зубов свою лысину, и Осип Щербатой свою бороду подерет. Не на такого напали!..

А бабы уже выстирали все. Прибрались. Агафья говорит, руки в боки уперев, и на Бадубайку с Григорием глядячи:

- Ну, бабоньки, чего расселись? Али разморило? Надевайте треухи да кантыши, айда в избу, спать пора...

Смешно Агафье: зело забавные им две бабоньки достались, затейные!

### 13. БАРБАКАН

Если кошка съест вареного гороха - оглохнет, а жить человеку плохо - засохнет. Кому - кистень, кому - четки, кому - кнут, кому - хомут. Уедно псу, да неужелю. Так и Григорию. Всю ночь не ест, весь день не спит. Извелся. От великих порядков и непорядки бывают большие. А краденая кобыла куда дешевле купленной обходится.

Молодого казака Кешку десятник без очереди в караул сто раз посылал. Сто первого раза - не будет. Демка Холстинин, да Петька Грамаш тащили в великий пост брагу. Не пили - несли, может, про запас. А воевода за это попотчевал их кнутом.

И вот уж и Кешка, и Демка, и Петька исчезли из Кузнецкого, на заимке живут, лес валят, строить собираются.

А дело к теплу. Герасим Грачевник пригнал грачей, Алексей Кувшинник пролил кувшин. Меняй на телеги сани свои, да на гусиные топай бои!

На Благовещенье цыган продал шубу, не мучают грешников в аду, из зимника с ульем к полянке иду.

Если к этой поре у птицы нет гнезда, будет все лето ходить ногами, хотя, и имеет крылья. Девки в такое время не заплетают косы, ходят простоволосы, парни на девок с ухмылкой глядели: словно - в постель, али только с постели.

Ну а Григорий решил теперь умереть. Все уговорено было с Агафьей да Бадубаем. Как раз на Благовещенье и слег. Лежал на лавке, бледный, бредил:

Тичирк инходс, каруд инходс,  
Адук зелоп каруд!

Силантий удивился:

- Крепко лихоманка взяла, аж по-басурмански заговорил.

Пригласили знахаря. Если в Томской переселялись обычно северяне, то в Кузнецком много было людей из южных русских степей. И сами пришли, и старцев своих привели.

И пришел один древний и говорил по южному мягко, а борода была ниже пояса. И был у него ивовый посох. Когда он кого-нибудь вылечивал, то делал на ивовом стволе надрез, и болезнь из человека уходила в этот надрез. И на ивовом стволе появлялась шишка. У старца Евтуха посох был весь в таких шишках.

Этот старец даже мертвых прежде к жизни возвращал. Ложился рядом с умершим, прижимался к нему телом и лежал три дня и три ночи. И живая сила переходила из тела Евтуха в тело умершего. И воскресал! Но то было давно. Теперь Евтуху это было не под силу - мертвых воскрешать,

Пощупал он своей ветхой рукой лоб Григория и стал читать заговор:

- Первачики, другачики, колода да лодачки, перводан, другодан, на колоду угодал, пятьсот-судья, пономарь, ладья, Акудина кошка, голубина ножка, прела, горела, по морю летела, за морем пала, церковь стала, кум да кума, полкубышки ума, рыбчин, дыбчин, тараканьи дырчин, в подполье была, не заплесневела, на пять костров, половина дров, сжег царь Соломон, а смерть, поди вон!

А через неделю заголосила Агафья:

- Ой, сиротиночка, на кого ты нас оставил?

Бадубайка утирал скупую мужскую слезу. Силантий оторопело смотрел на лежавшего на лавке белого, как мел, Григория. И даже жалость взяла: он-то строжился над мужиком, ругал его, бывало, связать обещал, воеводе пожаловаться. Эх, люди! Не любим мы друг друга вовремя, пока на этом свете живем. А на том и спросят с нас за все. Агафья говорит:

- Мерку снимай, да иди гроб заказывай Мишке Косому, да пусть колоду хорошую, добрую выдолбит, дерево-то большо надо, мужчина-то помер вона, какой! Так ты иди, значит, помоги там Мишке-то, он, небось, дешевле возьмет. Да иди, воеводе скажи о делах наших. Постоялец-то человек казенный был... Ну, а я соседок позову покойника обмывать...

И пошел Силантий выполнять, что она сказала, а сама она позвала соседок, тех самых, с которыми всегда в бане мылась.

И вот уж - церковь. Поп благолепный, с хорошей бородой и кудрями, привычно затянул:

- Со душе праведных скончавшихся душе раб твоих, Спасе, упокой!..

Пришел в церковь и Афанасий Иванович Зубов, покрестился мелко. Теперь еще забота. Отписывать придется о смерти ссыльного. Молодой помер, сие огорчительно и попреки могут быть...

И вот уж кладбище, яма в кремнистой почве, и хор, из монахов состоящий, в зеленых фуфайках и штанах, и шляпы черные, и поют не столько приятно, сколь заунывно:

- Житейское море, воздвигаемое зря, напастей бурюю, к тихому твоему пристанищу притек...

Закидали могилку, временный крест установили, потом уж Мишка с Силантием большой вытешут, какой прилично ставить над могилой доброго христианина. И вот - небольшая процессия заплаканных баб, задумавшихся мужиков потихоньку пошла с холма.

Только скрылись они за поворотом, как выскочили из кустов Демка Холстинин да Петька Грамаш, оба с заступами в руках, спешно разрывают могилу, кричат:

- Гриш, ты живой?!

Глухо. Встревожились мужики, еще быстрее заработали заступами.

Вот и крышка, сдернули ее, Григорий сел на колоде, глаза протирает.

- Чо молчал! - осерчали мужики.

- Вас бы сюда, так поняли бы - чо, - хмуро сказал Григорий. - Душно, аж вспотел, воздух уж кончался, стал бы я орать, последний воздух тратить... Дождался и - ладно. Долго, наверно, бабы тут слюни распускали, того гляди, по правде бы похоронили...

Выбежали в распадок, там кони к деревьям привязаны. Вскочили на коней, поскакали тайными тропами на заимку.

Не ближняя дорога, кругами, мимо города, мимо казачьих постов, лесом, скалой. Берегом.

Вот она и заимка. Барбакан! Нерусское слово. Тут литовцы раньше спасались, то ли поляки, то ли немцы, то ли еще кто. Но звучит хорошо, как слово "свобода"! Барбакан!

Много чего на Барбакане этом надо сделать. Избы две старые перекатать, дом построить, тын новый, двойной, связать, да камнем забутить. Уже и оружие на заимке есть, поляки притащили две пищали немецких знатных, казаки тоже пушчонку малую сперли в городе еще зимой, да на санях привезли. Помаленьку порох добывают, баб посылают на торга.

Григорий вычертил "вавилонь", показал на них будущую крепость. Когда тын будет готов, поместится в крепости достаточное число изб. Подземный ход из крепости уйдет под тын и выведет к реке, а в нише хода замуруют бочонок с порохом, на случай, чтобы подорвать этот ход было можно.

Камня для строительства много сколько надо. Мать сыра земля велика, а камни - хребет ее, в этих местах кости земли выступают там и сям. Отламывай, да строй. Людишек не хватает, оружия.

Людей привлечем жизнью свободной, добрым вином, веселой игрой. В печи котлы вмажем, трубки проведем, охлаждать будем водой из родника.



Нужда и за заплаткой грош найдет. Можешь после отказываться, мол, я, во-первых, - не пью, а во-вторых, - и так выпил! Мы по яйцам пройдем - не раздавим, мы из печеного яйца цыпленка высидим! Проживем!

А время-то идет. На Ивана Богослова - сей, не говоря ни слова. Жадничать не моги, пеки для нищих пироги. На Исакия змеи идут на свою свадьбу, не покидать бы нам вовсе усадьбу. Страшно. Но нужно, чтобы было на столах брашно. Убить змею, вытащить жало, да натопить из той змеи сала, сделать из сала овечку, и посвятить любимому человечку. Как засветит змеиная свеча, так будет снова любовь горяча!

Надо было Григорию создавать на Барбакане свое войско, надо было засылать в Кузнецкой своих лазутчиков, чтобы всех обездоленных, обиженных склоняли уйти поскорее на Барбакан, туда, где светлы речные воды, под команду Плещея-воеводы.

И отправил он беглую жонку Василису, дав ей наказ, зайти немедленно к Агафье, когда ее мужа дома не будет, сбежала бы от Силантия к новой жизни. Он знает, что Агафья-то дня не дремала, Агафья помаленьку отбавляла порох и свинец из мужниных припасов, да складывала в дорожные корзины.

Когда приехала за ней Василиса, все у нее было готово. Они дождались, когда свекор гостевать ушел, а Силантий был тогда на службе.

Агафья сбежала к соседкам, подговорила Анфису да Дашутку сбежать от мужей на веселую жизнь. Они и рассудили, что веселая жизнь гораздо лучше скучной.

Навьючили лошадей и свободных взнуздали, чтобы перемену иметь. Поскольку на окраине жили, так удалось выбраться незаметно. Агафья и Петюшку с собой взяла:

- Был ты царем гороховым, будешь теперь царевичем Барбаканским...

Тропы в горах узкие, у баб лазать по ним привычки нет. Спешились, минуты не прошло, вскрикнула Дашка. Бледная стоит, шепчет:

- Змея меня укусила.

Оглядели Дашку, так и есть, ногу прокусила змея проклятушая, а куда делась - кто знает?

Дальше до Барбакана Дарью пришлось, где волоком волочь, где на лошади в седле придерживать, чтобы не свалилась.

Григорий баб поругал, надо было ногу перевязать, яд отсосать, кинжалом разрезав ранку.

Принес свой мешочек с травами. Перенос-трава собой мала, цвета ворона, стручки с семенем. Развел траву и корень в вине, другую траву вскипятил в воде. Стал одной травой Дашке ногу мазать, другой травой поил свою банную зазнобу. Да все с приговором:

- Змея Медяница! Зачем ты кусаешь добрых людей? Бери своих теток, сестер и дядей, и змей заberi и родных и чужих, да жала повытащи ныне у них, и вынь свое жало из Дарьи моей, не то напушу целу груду камней. Не вытащишь жало, тебя я сожгу, и пепел развею на дальнем лугу.

- Какова была змея? - спрашивает Григорий Дарью, - не заметила?

- Как бы черна сильно, да в крапинку, а глаза под пленкой, как под рыбьим пузырем. Кольцо - в кольце, кольцо - в кольце. И как я в те глаза посмотрела, увидела как бы ход круглый, идущий прямо на небо, а там ангелы прекрасные хором поют. Больше ничего и не помню.

- Хватит и этого, - сказал Григорий, - через змею к ангелам никогда не придешь...

И - как в воду глядел. Кто-то стал ловушки с рыбой из реки по ночам вынимать. Была на заимке пара овец и тех утащили. Так шкуру неподалеку с головой нашли.

Велел Григорий мужикам спать с оружием, по ночам стали дозоры ставить, И услышали дозорные, как кто-то избушку, где меха лежали, обошел, да с двери пробует замок снять.

Крикнули дозорщики "караул!" да кинулись к избе, а из-за нее выскочили черные лохматые серые, рогатые и вопиют:

- Р-р-ья! Р-р-ья! Р-р-ья!

Страшно! Лесовики, лешие. Глаза отводят. В такого и стрелять пулей бесполезно. Он ее зубами ловит. Надо медную пулю, заговоренную, тогда - да, можно и духа убить, а так -

нет, сам с жизнью простишься, или с ума сведут. Дозорщиками были тогда Холстинин да Грамаш, затарабанили в окна:

- Помогите! Бесы! Лохматые! Саблей рубим - не рубится!

Выскочил Григорий без штанов, в аккурат с Дарьей лежал, от змеиных укусов ее долечивал, бежит, сам косматый, голый, а в руках - ничего нет.

Догнал одного лохматого, перекрестился, ухватил его за руки, за ноги и - боком об баньку. Лохматый пикнул, засипел и зловонное облако выдохнул из себя, аж волосы опалило мужикам. Бадубайка из пищальки ударил огнем. Завизжали окаянные, через тын и дыры стали сигать. А один кровью капал.

Григорий разъярен, вила с назьмов вытащил:

- В лесу и медведь костоправ! Я вас выправлю!

Один серый плюнул себе через правое плечо и, втянув голову в плечи, заговорил человеческим голосом:

- Не губи душеньку! Мы думали, тут люди живут, а оно вон чо!

- А чего ж, не люди разве?

- Да сверху ты обличьем немного с человеком схож, а сам весь в шерсти, коль не дьявол - кто ж?

- Одного спросили: отчего глуп, а он ответил, де вода у нас такая. Я-то православный, а вот ты, что за оборотень? - строго спросил Григорий.

- Нетчики мы. Ушли с Руси за Камень. Сам знаешь, царь-батюшка велел казнить за воровства только на Руси. За Камень уйдешь - вина прощена. Нас могут только лишь к пашне, али к заводу приписать. А мы работой всякой тяготимся, не приучены, ни на царя, ни на барина, ни на монахов горб гнуть не хотим. Нигде нас в бумагах нет, не записаны, потому нас и нетчиками зовут. В нетях ходим. Еще порой серозипунниками кличут, зипунишки-то старые, драные. Обносились.

Григорий протер глаза:

- Похоже, правда, что не черти, только мелкие вы, да и грязью заросли. Грязь с вошью с вас соскрести, так и людьми станете. По ошибке, видать, загубили одного.

- Да, Ярошка не жилец, искровился, и Дружинку ты о баньку расшиб. А вот Яремка, Мемейка, да я Якушка, живы пока, слава тебе господи!

- По чужим амбарам шарить, так и с остальных дух выбьют.

- Нас, нетчиков, бывало, ватага в сто человек собиралась. Шорцев да телесов грабили, а не только, что мелкое что. Да мы от ватаги-то отбились. Нам лишь бы поесть...

- Я же говорю - мелочь вы. Да ладно, живите в Барбакане. До утра в амбаре. А уж побанитесь, чистое оденете, тогда будете жить в избе. А если, что не по мне - запорю, я хоть не царь-батюшка, а в этой заимке для вас старше царя. И вином, едой обласкаю, и бабу дам, а не будете слушать - шкуру спущу.

И пошел голый царь к больной Дашке, а "духи" в сарай потащились.

Наутро оказалось - все живы, и ушибленный о баньку, и Бадубайкой подстреленный. Всех отмыли, всех своими травками Григорий подлечил. Стали люди, как люди. Правда, ростом мелковаты. Но ничо.

А Якушка великий затейник хоть сказки говорить, хоть рожи строить, хоть глаза отводить. Был в Руси он петрушечником. Его за то и били там кнутом. Сбежал за Камень, а то по указу Федора Михайловича в тюрьму хотели сдать. Бывало, бабы попросят:

- Якушка, сказку!

Он начинает:

- У хозяина сад, в саду виноград, ворона летает, ягодки ворует. Мужик взял колоду, налил в её воду, ворона летела, в ту воду села, торбалась, торбалась, выторбалась. Сохла, сохла, высохла. Взмахнула крылом, ушиб её лом, упала в колоду, в холодную воду. Торбалась, торбалась, выторбалась. Мокла, сохла...

И не было этой сказке конца. Заводил Якушка другую сказку и той тоже конца не оказывалось. Смешил всех присловьями разными.

Бабы на заимке помаленьку хозяйство вели, мужики избы ставили, лодки строили, охотились, рыбу ловили. А в Томе гулял красноперый хариус, остроносая стерлядка сигала, и ходили жирная нельма да благородный осетр.

Барбаканцы коптили мясо и рыбу впрок, каждый свой выполнял урок. И шли от неволи сюда и тоски, беглые жонки, волхвы, казаки, и уползали сюда, как ужи, от неудобства, от злобы и лжи. Везли инородцы меха свои лучшие, везли и сыры золотые, пахучие, ибо за все тут платили сполна, женскою лаской и чаркой вина.

Стало на заимке больше трех десятков людей, жили получше, чем в неведомом беловодском царстве-государстве, о котором на базарах, бывало, волхвы распевали. Все спали со всеми. Ели все из одной огромной общей миски. Но первый кус всегда был Григорию, да двум его Жонкам: Агафье да Дашке. А Петька, единственный на Барбакане ребёнок, обласкан был более, чем какой-либо иной мальчик на земле. И говорил своим барбаканцам и барбаканкам Григорий таковы слова:

- Вот разживёмся конями, сбруей, оружием, добрыми лодками, поведу вас в страну вечного счастья. Всё по дороге возьмем, что оружием и силой возьмется, радость вовеки не переведётся. Да не смутят вас походы и битвы, ешьте и пейте, и пойте молитвы!

#### 14. МОРСКОЙ БОЙ НА ТООМЕ

Потеряв жену и ребенка, Силантий затосковал, а отец его древний от всегдашней тоски по внуку и вовсе преставился. Старому-то много ли надо? А тут - такой удар.

И у других казаков и заводских мужиков Жонки сбежали. Куда, зачем? Но не зря у бухарцев и прочих черных персиянцев толкуют, что в стенах есть мыши, а у мышей есть уши. Хребтины земли болезные тоже чувствуют, кто, куда скачет. Земля травами своими плачет. А если трава по ночам шелестит, то это земля о своём говорит.

Всё стало известно воеводе Афанасию Ивановичу. Нежданно-негаданно вырос неподалеку Кузнецкого города другой город! И там есть свой воевода Григорий Плещеев-Подрез. Вот те на!

И вызвал Силантия воевода, и стал допытываться: как? Не уследил? Не донёс! Приставом был назначен! Упустил преступника, да еще и собственную жену с робятенком потерял? Где это видано, где это слыхано у военных людей?

Велел воевода брать казаков да скакать к заимке той, городком оборотившейся, мол, командуй, Силантий, жену с сыном выручи из плена, а злодея Плещея свяжи по рукам и ногам и доставь к допросу! Сам такое неслыханное злодейство допустил, сам его и искореняй!

Силантий гневом воспылал. Саблю наточил - волос сечёт, рушницу зарядил, трех самолучших казаков с собой позвал. Уж я этому проклятому злодею покажу кузькину мать! У этих казаков тоже жонки на Барбакане прятались. Казаки зубами скрипели, обещали всем барбаканцам ребра пересчитать!

Скакали, аж лошадей загнали, распалились по дороге, только доехать, уж мы их! Ух!

Подъехали наконец-то посланцы воеводы к Барбакану. Ну. Дела! Стена! Всё по правдишному. На стене дозорный смотрит:

- Чего надо?

Силантий говорит:

- Вора Григория Плещеева, как беглого и преступившего против царя и воеводы, должны взять под стражу и отвезти в тюремную избу. А также велено всех беглых жонков забрать, отвезти домой, и бить кнутом. С остальными разберёмся потом.

Дозорный попросил подождать, мол, доложу. Затем ворота распахнулись, вылетели оттуда в вывернутых шубах, какие-то нехристи с визгом ужасным, мигом набросили арканы на всех четверых посланцев воеводы, за ними и другие выскочили:

- Баран-барабан, тарабун-шарабун, шерсти клок, вилы в бок, выйдет толк, будет прок!

И визжат проклятушие, и в заслонки стучат, и на скрыпках скрыпят.

И потащили связанных казаков в крепостцу.

Вышли на высокое крыльцо Григорий с Бадубайкой. Григорий обернулся к своим и спрашивает:

- У нас есть еще жареные мужики в запасе, али уже всех поели?

Один чёрный и злобный, в колпаке дурачком, отвечает:

- Последнего вчерась сожрали за ужином, даже и не хватило на всех. Я так всегда хожу голодный, шибко редко мужики нам в полон попадают, жарить уже некого.

- Ну, тогда,- говорит Григорий,- вот этого, самого здоровенного на обед зажарьте, да смотрите, чтобы не пригорел, а только подрумянился. - И показывает на Силантия.- Остальные пусть пока в сарае сидят, а то если всех сразу зажарить, так заклекут, как в прошлый раз, невкусные будут. Мы ведь больше одного мужика в день все равно не съедаем, у нас еще ведь и горох, и репа есть.

Схватили тут нехристи Силантия, к костру тащат, который во дворе для готовки пищи был разведен. Взяли Силантия за руки и за ноги, над костром держат, на казаке уж и одежда дымиться начала, а они его - то одним боком - к костру, то - другим.

Григорий говорит:

- С одежей он долго жариться будет и невкусно, пусть разденется.

Силантия отпустили, но аркан с шеи не снимают. Упал Силантий на колени перед Григорием:

- Батюшка, царь Барбаканский, или как тебя еще величать? Прости меня, грешного, не надо меня жарить, не надо меня есть, я тебе живым больше пригожусь. Не губи душу, всё, что хочешь, буду делать для тебя, хоть матушку-Тому ложкой вычерпывать.

- Ладно,- говорит Григорий,- на первый раз прощаю, но только чтобы больше сюда не ездил. И отныне и вовеки веков ты теперь будешь зваться Силантием Жареным, так и знай, что теперь ты не Агеев, а Силантий Жареный, и внуки твоим тоже будут Жареными, и правнуки.

- Батюшка, дозвожь сынишку Петюшку посмотреть?

Григорий дозволил, но Агафья беседовать с бывшим мужем не пожелала, и Петюшку к нему не повела, как не настаивал Григорий.

Так и уехали казаки в Кузнецкой ни с чем. Силантий в воеводскую избу и заходить боялся. Что скажешь? Что чуть живьем не зажарили?

Воевода Афанасий Иванович сильно разъярился:

- Как так? Казаки одного беглого смутьяна привезти не могут? Их там - сила? У царя-батюшки силы на всех достанет. Усмирим, в ребро их бабушку! Успокоим! Десять лет, как пойдут какать, так и будут плакать. А может, вообще - всю остатнюю жизнь! Позвать Романа Грожевского!

Явился Грожевский. Сей поляк, ссыльный крестился в православные, чтобы на царской службе быть ему мочно. Дворянство свое возвратил тем крещеньем. Щеголь, каждую пылинку с себя сдувает. Русы кудри -накладные, черны брови - наводные! А может, настоящие, мы не проверяли. Однако же, воин изрядный, по замороским учебникам учён войска водить, крепости осаждать.

Говорит воеводе:

- По науке быть, надо крепче бить. Их там тридцать мужиков, а мы сорок возьмем. Корабль возьмем изрядный, на него - пушки, да одну большую, нагнать на них холода, чтобы поджилки тряслись, они и сдадутся, и другим неповадно будет.

А в Барбакане такое вино высидели, что во всём мире ничего подобного не сыскать, чем больше пьёшь, тем больше хочется. Это ведь отсюда такое слово пошло: "стакаться", значит стукнуть стаканами, сойтись тесно. И стакались барбаканцы за милую душу.

А дозор на реке не дремал, вовремя увидел на реке черную точку. Она росла, выросла в щепку, потом - с собаку, а тогда и видно стало - бежит корабль. Пропела труба, прощай гульба!

Григорий велел одну пушку вытащить за ворота, запрятать в кустах, да и затаиться. Сидеть тихо, корабль мчит лихо, подплывет на выстрел одним ядром борт пробить ловчее, другим - мачту сломить скорее. А наши братья остяки с другого берега реки незаметно в легких челнах подплывут, да пустят тучу стрел с огнём. А пока чёлны пусть в кустах прячут.

Неруси говорят:

- Тоом, Тоом! - так река Тома у них зовется. Ну, как не назови, только в горшок не сажай!

Тома-Тоом, да дело не в том! Только Грожевский отдал команду спустить сходни, как из кустов рывкнула пушка. А с другой стороны на корабль огненные стрелы полетели, одна стрела попала в бочонок с порохом, он и взорвался, покалечив несколько человек, а этого ни в каких военных учебниках не написано.

Но Роман велел и пожар тушить, и на берег сходить, и из пушек бить, и крепость окружать. А сам гонца послал за подкреплением.

- Ну, Аника-воин,- сказал воевода Афанасий Иванович,-корабль загубил, а махоньку заимочку не взял. Учили вас, да переучили. Сам туда поеду, я этому голутвеннику Гришке такое покажу, что ему небо с овчину покажется.

Сотня казаков самолучших, в плечах широких, бородатых, суровых, крови не боятся, в бою веселятся. Вьючные лошадки боевой припас тянут, под копытами травы вянут. Клонится лес, пыль до небес. Пушки медными зевами смотрят, не терпится огнём рыгнуть. В путь, в путь!

Долго ли коротко ли ехали, но доехали. Выстроились, пики вздели, стяги развернули, запела труба, Эх, судьба! Судьба- индейка, а жизнь - копейка! Да и на копейке, копейщик выбит не зря. Уря-уря!

На опушке выстроились пушки. Эх, дадим Барбакану по макушке!

Григорий вылез на тын:

- Эй, православные! По приходе к городу надобно отдать ему честь, каждому храму - по три поклона. Первый наш храм - изба, где вино сидим, второй - спальня, где на ваших жон глядим, третий - мыльня, где наши грехи смываем сильно!

Кланяйтесь, давайте! А стрелять и не можете, у меня в рубашке заговоренные нити, меня серебряная пуля не берёт, и медная не берёт, сорок чарок в рот, уж тогда - возьмёт!

Воевода покраснел, как вареный рак, как в борще бурак, и глаголит так:

- Кто его поранит - сердчать не буду, даже награжу, только до смерти не бейте, с него надобно допрос снять.

Стрельцы стреляют, один глаз закрывают, другим - пялятся, а Григорий с тына не валится. Пули - дон-дон! А в ответ - поклон! И налево поклонился Григорий и направо, и посередке тоже. Кричит со стены:

- Эй! Криворукие! Еще одну пулю зря потратили! Я вот царю отпишу, не бережете де казенные припасы.

Воевода велел стрельцу ударить в барабанное лукошко: всем на приступ! Уря-уря! Стрельба пошла гуще, пушки катят гуще, пушкарки колеса крутят, пушкарки корзины с припасами волокут:

- А вот - угостим!

Пыль и дым. Лестницы уже у стены, это вам не к теще лезть на блины!

И вдруг сзади в спины красным кафтанам ударила пушка ядром, и несколько пищалей стрельнуло. Ах, чтоб вас, барбаканцев, раздуло!

Повалились нападавшие в разные стороны. Крик стоит:

- Обошли!

Тонет заимка в дыму и в пыли.

Кинулись конные в кусты, только что тут пушка была, пищали били. Никого не видать ни в лесу, ни в поле. Растаяли что ли?

Барбаканцы ушли в подземный ход, дыра искусно была замаскирована в кустах, и задвигалась камнем.

Григорий знал счет. Сто обученных казаков, это вам не тридцать мужиков. Хвастай, не хвастай, а гарнизон слаб, теперь одна надежда - на баб. Созвал он всех и крестьянок, и горожанок, всем по ендове крепкой настойки дал выпить:

- На вас, бабы, теперь одна надежда. Воевода крепко за разбитый корабль осерчал, большую силу сюда пригнал. Нам теперь и не отбиться, и не вылезти тайно - окружены. Но я

знаю норы всякой войны. Умеючи и вошь легко бить, только надо изловчиться. Только вы можете сделать так, что на время казакам и стрельцам будет не до нас.

- А как? - спрашивают захмелевшие бабёнки.

- А вот в том-то и квас...

Когда он объяснил им свою задумку, шорские и телесские жонки засомневались, но Агафья с Дашуткой да Анисьей уговорили их:

- Вы что? Все мы с Григорием Осиповичем были, то он - выше, то мы - ниже, а то и - наоборот. Как же нам теперь его не спасти? Защитим его, чем сумеем!

Иные все-таки сомневались:

- А хорошо ли так-то?

- Григорий усмехнулся:

- Не свят ухват, а свята сковорода. Мимо баб да гороха никто так не пройдет, хоть раз да ущипнет. Я сам был патриаршим стольником, я ваш грех замолю. Защитить ближнего - это дело богу угодное.

Убедил, не убедил? Поднес еще наливки по ендове, у баб сразу все сомнения и отпали.

Первой на стену вылезла Дашка, и заорала:

- Эй, казаки! Идите, смотрите, али некрасиво?!

Казаки даже рты пооткрывали, а сказать ничего не могут.

Молодайка-то хороша, каждый бугорок, каждая выемка - всё на своем месте. И пушок рыжеватый, и ноги белы да упруги, и бедра круты. А тут и Агафья с Анисьей выскочили, а тут и шорские и телесские жонки. Все сошлись в одном месте, у одной стены. И нет приступа, а есть не то вертеп, с небывалым представлением, не то что-то, чему и названья нет. Воевода Зубов подъехал посмотрел:

- Фу, срамцы! Казаки, вы - не видали сроду, что ли?! - и сплюнул, и отвернулся, хотя самому-то хотелось посмотреть. Один казак ответил:

- Не то, чтобы совсем не видели, но где ж их столько-то сразу еще увидишь?

- А ну, айда со стен! - заорал воевода, - щас стрелять будем!

- Смотри чем и как стрелять, - сказала Дашутка, зазывно вильнув коленками.

Воевода разинул рот. Даже борода затряслась. И подумал огорчительно, что он-то уже отстрелялся. Хотя, в такую-то красотку, можно бы и стрельнуть разок.

Пока шли все эти препирательства с бабами, Григорий быстро вывел всех мужиков наружу. С собой вынесли не только оружие и припасы боевые, но всё высиженное вино перелили в бурдюки и тоже вытащили через подземный ход. А бабы остались в Барбакане.

- Пусть, - сказал Григорий, - воеводе тоже нужен трофей, после все равно к нам прибегут. Нам - что? Не сотрется, не медный пятак...

Так кончился бой на реке Томе.

## 15. ТАЙНОЕ ЗОЛОТО

К осени в пещерах, куда Григорий привел свое воинство из Барбакана, стало жить холодно. В пещеры эти всегда прятались нетчики. Были тут кое-какие подстилки, была и посуда, но все-таки жить было скучно. Из Кузнецкого до этих гор добралась только Дашутка. Агафья осталась при Силантии Жареном и, хотя и грозилась прибить его поленом, но в горы лезть к Григорию не захотела.

Дарья рассказала, что Барбакан был весь порушен и сожжен. Корабль починили, и он уплыл в Кузнецк. Воевода посылает лазутчиков - выследить Григория.

И Григорий решил сам явиться в Кузнецк к воеводе. Он явился туда в сопровождении нескольких нерусей, привел верблюда, которого отобрали у караванщиков. Принес и кусок золота, якобы самородок. Для того чтобы изготовить это чудо природы, пришлось вытащить серьги из ушей у бабенок и у некоторых мужиков, снять все золотые перстни - у кого были. Все сплавили с песком и глиной для убедительности. Вымазали в смоле.

Когда Григорий вошел в съезжую, первой мыслью Зубова было - вызвать стражу. Но Григорий поклонился ему поясно:

- Не спеши казнить, Афанасий Иванович, - не пришлось бы миловать.

- Как так миловать?! - побагровел Зубов, смеешься? Тебе придется ответ держать по государевой измене. А это - плаха

- Говорю, не спеши судить, - повторил Григорий и достал из кармана лазоревого кафтана плат, в который был завязан "самородок",

- Что?! - привстал Зубов.

- Жила там, - коротко пояснил Григорий, - а может, и россыпь есть.

- Жила ли, еще что, а отвечать тебе придется.

- А я и не отрекаюсь, семь бед - один ответ.

- Хорошо. Кто про золото знает?

- Я, да слуга мой - Бадубай.

- Татарин болтлив? Дело государственное.

- Мы с ним, как один человек.

- Все равно поедете только вдвоем с сыном боярским Романом. Покажи ему, где эта жила, да, смотри, не утай ничего... Дело твоего дядюшки Левонтия, слышать, уже рассмотрено. Скоро тебе можно будет в Томской ехать. Я напишу Осипу Ивановичу, что, мол, вел ты себя в Кузнецком ладно. Как ответ придет, так отправим тебя. Не знаешь ли ты еще какой жилы в горах?

- Кроме сей - не ведаю.

- Ладно, свези Романа к жиле. Поживешь до ответа Осипа Ивановича, да и - в Томской. Мне ярьжки доносили - у тебя там целых два дома. А потом, глядишь, и на Москву выберешься. А уж будешь там, не забывай и нас, бедных.

- Не забуду! - пообещал Григорий.

Воевода хитрил. Он не собирался отписывать Щербатому, что Гришка вел себя тут хорошо. Наоборот, он только что отправил в Томской челобитные кузнецких казаков и крестьян на Подреза. Они обвинили его в том, что "завал всех за горы Алтайские Дон завести на тамошних реках..."

Многие жаловались на то, что войну устроил, людей побил, жонок поотбирал". От себя воевода добавил, что Кузнецкой стоном стонет от бесчинств Подреза. Из письма можно было понять, что если бы можно было Гришке десять раз отсечь голову, то и этого было бы мало!

Григорий повез Романа Грожевского к жиле. Скакали вдвоем в ущелье, и топот копыт гулко отдавался в расселинах. Высоко в небе кружили коршуны, зловеще смотрели каменные бабы, которым шаманы и камы намазали рты кровью.

Старый вояка Грожевский, внутренне содрогался, но не показывал вида.

Еще заведет чертов каторжник под ножи какой-нибудь шайки. Гришка показал на выступающее каменное ребро. Извилистая золотая полоска блеснула. Солнце как бы завязило один из своих лучей в этой скале.

- Иезус- Мария! - воскликнул возбужденный Грожевский, он забыл, что он православный, и начал читать католические молитвы, потом сказал:

- Должно быть, гора состоит из чистого золота. Никогда не слыхал, чтобы жила так явно выходила на поверхность.

Поляку хотелось убить Гришку, а заодно и воеводу, чтобы никто, кроме него, Романа, не знал больше про эту скалу. Потихоньку тут поработать с полгода, а потом прощай варварская страна! Все европейские столицы будут улыбаться пану Роману! Но... Гришку он мог убить хоть сейчас, но воеводу... Тогда бы Грожевский превратился сразу в государственного злодея, ему бы тогда не было спасения. Задержали бы, нашли. Не выбрался бы из Сибири, ни за какие коврижки.

Нет, это все пустяки. Тут иное. Они и так с воеводой озолотятся. Не зря же именно ему Афанасий Иванович доверил тайну. От разноречивых чувств у пана Грожевского играли желваки и выступали на лице красные пятна.

Григорий смотрел на скалу совершенно спокойно. Два дня назад, прежде чем отдаться во власть воеводы, он настрогал золота с татарской бляхи в ступку, истолок и растер пестом. Затем смешал золотой порошок с яичным желтком и уксусом. Обмакивая в получившийся состав кисточку из хвоста куницы, он тщательно вычертил на скале эту золотую линию.

Краска получилась прочная, ее не смоят никакие дожди. И теперь Григорий был доволен: его затея вполне удалась.

После поездки с Грожевским к "золотой" скале, воевода вновь велел Силантию поселить у себя Григория, сказав:

- Скоро придет из Томского ответ, тогда же мы твоего квартиранта отправим в Томской. Так что потерпи чуть...

Силантий Жареный смотрел на варнака смиренно, поняв, что плетью обуха не перешибешь. Внутри у Силантия, словно жилка лопнула, прежде делавшая его упругим.

И по субботам Силантий напивался после бани до отшиба памяти. И не видел, как Бадубай и Григорий в женских одеждах в полумраке спешат вместе с бабами к баньке.

От местных Бадубайка узнал, что в Кузнецкой прибыл великий шаман, и на пустыре поставлен чум, в котором он будет камлать.

Пошли посмотреть шамана. С платья великого свисало девять кукол, что означало, что шаман связан с духами, кои сидят на девяти вершинах Алтая. Бубен был весь увешан лентами, сколько лент - столько раз улетала душа шамана к вершинам поднебесным для бесед с духами.

И Григорию, и Бадубайке налили по чеплашке чего-то кислого и обжигающего глотку. Чеплашка обошла круг зрителей, ее то и дело наполняли. После выпивки все оцепенели, Григорий чувствовал, что тело его стало свинцовым.

И тогда шаман принялся колотить в бубен и подпрыгивать, все это сопровождал подобием песни, с выкриками, рычанием и визгами. С лица шамана градом катил пот, грудь его бурно вздымалась. Вдруг он замер, закрыл глаза, напрягся и... плавно, поднятый неведомой силой, перелетел через костер. На этом камлание кончилось. Григорий спросил своего друга и помощника:

- Бадубай, что сейчас было? - спросил с надеждой, что Бадубайка ответит, мол, ничего не было. Бадубайка спокойно отвечал:

- Он немножко летал.

Каму подали чеплашку с чертовым напитком. Григорий подсел к старику, мигнул Бадубайке:

- Переведи ему, что я поражен его могуществом, скажи ему, что я его озолочу, если он научит меня летать.

Старик смотрел на Григория щелками прятанных в морщинах глаз, и ощущение у Григория было такое, словно по лицу бегают муравьи. Старик тихо сказал несколько слов.

- Что он ответил? - обернулся Григорий к Бадубайке.

- Сказал, что дорога к духам очень длинная, для того, чтобы одолеть ее, надо забыть обо всем мирском, думать только об этой дороге, жить ею, тогда, может быть, и полетишь однажды.

- Чертов старик! - обозлился Григорий, - ходячие мощи. Ветром дунет и он полетит! Забыть о мирском! Когда тебе в субботу сто лет исполнилось, так и поневоле о мирском забудешь. А если человек обо всем, что есть в мире, забыл, так на какой ляд тогда ему крылья? Куда тогда ему лететь? На небо? Так все равно там будем все до единого.

Вернулись в Кузнецкой. Ночью Григорию снилось, что он взмыл над Кузнецким, полетел над горами и лесами, пролетел над Томским. Опустился в слободе Верхней, подхватил там Устинью, долетел до Москвы, показал патриарху и царю фигу, пописал на Сибирский приказ, прямо на шапку Трубецкому.



Выехали из Кузнецкого Григорий да Бадубайка вместе с казаками, охранявшими обоз с ясаком. Зима еще только готовилась поплотнее сжать в объятьях эту суровую землю. Переехали гору, которая звалась Змеиной. Однажды видел Григорий в детстве змеиное гнездо, на всю жизнь запомнил: переплелись, где головы, где хвосты? Что хотел сказать создатель? Пресмыкаться? А змеи змей не кусают, а люди людей едят, могут съесть, не откусывая от тела, а могут и прямо сожрать, рассказывали, что так делали в лесах оголодавшие нетчики.

А сбежать-то Григорию невозможно - следят. Да и некуда. Куда? Искать пятый угол? Дырок-то много, а выскочить некуда. Хоть дом сгорел, да ключи в кармане. За что же его мордуют? Он не парился в сапогах, не молился в шапке. А вот...

Проехали и другую гору, которая называлась Горящей. Она и на самом деле горела, и дым шел, и кое-где языки пламени из боков горы вырывались. Набрали казаки возле этой горы черного горючего камня. После на привалах кидали этот камень в костер и он горел жарко и ровно.

Уехали из Кузнецкого. В дороге чувствовал Григорий, что у него чешутся лопатки. Думалось: а что, если крылья растут? Зачем у человека - лопатки? Ноги, ходят, пальцы хватают, сердце кровь гонит, а лопатки? Может, человек ангелом был? Так вернул бы господь за все мучения Григорию крылья. Полетел бы, в Томском присел бы, а потом - аж до Москвы. Но опять же, если одному - крылья, то могут их дать и другим. Догонят. Получается - не выход. А все же было бы неплохо.

Эх, черны брови наводные, русы кудри накладные! Ступаю и траву не мну! Разожгли казаки костер, а он им и говорит:

- Хотите, через него перелечу? Старший казак говорит:

- Один так-то учился летать. Взлетел, "летает и летает. Спросили его - пошто не садится. А он отвечает: "Летать-то летаю, а сесть не могу!"

- Я сяду! - пообещал Григорий. - Сейчас буду камлать, как великий кам, которого мы с Бадубаем видеть сподобились, пошаманю, а потом взлечу.

Казаки винца выпили и говорят:

- А что ж, лети, только не сильно далеко.

И стучал Григорий в лукошко барабанное, и кричал разное, все делал, как тот старик. Потом стал на краю костра, напрягся. А только и смог, что перескочить через костер.

Казаки смеются:

- Взял бы сам себя под мышки, а так-то любой может прыгнуть. А мы-то испугались: вдруг улетит? Отвечай тогда! Нет, не повесить яичка на спичку.

Сел Григорий рядом с ними, выпил и говорит:

- Ну, крепка брага! Второй раз в жизни такую пью. Одну пил в цыганском таборе под Москвой, отроком был еще. Дали стакан браги, да перетянули поленом по голове и говорят, мол, видишь? Крепка брага, с ног валит!

С шутками, да байками одолели-таки дорогу до Томского.

Билось сердце у Григория при виде домов и рек здешних. Многое тут уже с ним было! Но прежде сердечных дел, надо было другие решить.

Доложился воеводе и был отпущен к дому своему. Невеселыми словами встретил Григория Томас-Васька:

- Беда, Григорь Осипович, воевода лютует. Всех на делание острога гоняет, отдыха нет. Вино не продать, Жонки наши без дела заскучали, иные сбежали, иных воевода из города выслал. Доходов нет...

На другой день прискакал казак в съезжую, Григория вызвал. Пришел Григорий. Воевода Осип Иванович, не дал и лба перекрестить, и поклониться не дал. Сразу кулаком по столу ударил, и орать принялся. Самыми погаными словами Григория честил. Григорий ему отвечал:

- Ты, воевода, сильно-то не шуми. Оно так, в поле и жук - мясо, а в лесу - и медведь митрополит. Да только слышал я, что одна кобыла с волком тягалась, так от нее только шкура и осталась.

Илья Микитич сидит, потупившись, молчит. А что сказать, если Зубов пишет о Григории такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать?

- Вранье! - говорит Григорий,- вашего Зубова на кривой кобыле не объедешь, у него правды не найдешь, как ног у змеи, не мудрено голову срубить, мудрено обратно приставить. Вы подумайте своими головами...

Дьяк Патрикеев бумажными столбцами потряс:

- У нас челобитные от многих кузнецких людей на тебя имеются, все в бумагах писано.

Григорий поглядел на этого черта тощего, ушника тщедушного, шишимору эту канцелярскую. Перо за ухом, на кисточки для росписи на столе, на свитки бумаг по полкам:

- Дьяк! Мы не с твое писали, бумага терпит. Я Зубову золото нашел. А сам он - кто? Пока молчу, а могу извет заявить. Это так вот безрукий украл, голопузому за пазуху засунул, слепой поглядел, глухой подслушал, немой заорал, безногий догонять кинулся. Вот и вы, все вывернули на изнанку.

- Палача! - заорал воевода. - Поддать ему ума в задние ворота!

Палач Ефим пришел с батогами. Григорий глянул ему в глаза. Ефим всякое видел, иных сжигал, иным головы отсекал, всяко глядели. Но что-то было во взгляде Подреза такое, что палач как-то затуманился.

Григорий сам разделся, сам на лавку лег, мол, давай, почеси спинку! Бил его палач не сильно и с опаской. Волос на спине смягчал удары, как ковер или попона. Воевода крикнул, было:

- Посильней! - хотел что-то добавить, но осекся, так глянул на него Григорий. И промолчал князь все остальное время.

Отсчитал палач удары, Григорий вскочил с лавки, не удержался, сказал Щербатому:

- Бил ты, князь, ни за что. Помни!

Хлопнул Григорий дверью, на ходу натянул кафтан, прыгнул с крыльца, да на - коня, свистнул и был таков.

## 17. ВОРОБЬИНЫЙ СКОК

На Спиридона Солнцеворота прибыл день на воробьиный скок, а медведь в берлоге перевернулся на другой бок. Бабы закармливали кур из правого рукава, да говорили при том волшебные слова. Но не пришло лето, мало курям света, а в темени кочет песни петь не хочет.

В свят вечер не ели до утренней звезды, столу связали ноги, чтобы не сбежал никуды.

В святки не гни ни обруч, ни прут, не то черти приплод сопрут.

В святки прикатил Григорий в санях в Спасскую слободу. И сразу к Устинье и Семке: старый друг, дороже новых двух.

А в слободе дела странные. Не поймут, что такое, но нет никому покоя. Давно уж ни за что убили старичка, много воды укатила река. Но все-то бредут сквозь густые леса к здешним местам чудеса.

Семка помогал мельнику Платону прошлой осенью зерно молоть. Явился нищий в рублище, попросил горсточку ржи Христа ради. Платон и говорит:

- Тебе горсть, другому - другую, так я в прорухе буду, у меня, чать, зерно не свое, а даденное. А Семке того нищего жаль стало, он сказал:

- Я дам ему горсть со своего мешка! - и сыпанул нищему со своей ржицы две горсти.

На другой день они все даденное крестьянами зерно смололи. Семка стал свое зерно молоть. И был-то всего мешок. Мелет, мелет, уже десять мешков муки намолот, а зерна на жерновах не убывает. Платон говорит:

- Хватит тебе, дай-ка я свой мешок подставлю! - подставил и сразу мука идти перестала, нет ни зерна, ничего. Озлился Платон, в тот же вечер пошел к попу Ипату и говорит:

- Семка Тельнов - колдун, глаза отводит, с чертями знает. Ипат вызвал Семена к себе, ругается:

-Говорил я тебе, что пьянка до добра не доведет? Кайся и молись!

Семка и молится, и кается. Своя рожь в этот год не уродила и с мельницы его прогнали. Привез десять мешков муки, намолотых из одного мешка зерна.

А слободчане знаться с ним перестали: колдун! Его к себе не принимают, сами к нему не ходят, в церкви сторонятся. Что тут делать? Запил пуще прежнего Семка.

В город поехал да пару мешков муки на колмацкую травку сменял. Запрется в бане и курит, смолит. И с Устиньей совсем спать перестал. Просто рядом полежать может, а больше - ничего. Ей обидно. Научила ее старушонка одна. Ночью влезла Устинья на колокольню, привязала лоскут от своей рубахи исподней к языку колокола. Звонарь придет, звонить начнет, к Семке от того звона мужская сила вернется.

Но враг рода человеческого силен. Не раз в эти дни Семка в Томской возил муку на колмацкую травку менять. Устька сильно на него озлобилась. А что делать?

Так жили, мучались. А тут вдруг Григорий - нежданно-негаданно. Едва выпили с Семкой по чарке, тот и свалился под стол. Он уже до этого едва на ногах держался.

- Едем в город, - сказал Григорий Устинье, - Семку в сани с собой посажу, придерживай его, чтобы видели, что с мужем едешь. У нас народ - у каждого ворот!

И погнал Григорий лошадей. На Устинью поглядывал да думал. С тех пор, как приехал с Кузнецкого, все хотелось Устинью повидать, да знал, что в поле они с Семкой ломаются, думал: пусть зима ляжет, праздники придут...

По приезде из Кузнецкого пришлось ему сидеть дома тихо. Васька-Томас рассказал, что в отсутствие Григория приходили воеводины люди, влезли в баньку да всю винокурную хитрость переломали. Побывали и в нижнепосадском доме и там котлы и трубки повыдергивали в баньке.

Васька ходил к воеводе жалиться. Говорил, что котлы - не для сидения вина, а для выделки кож. Не поверили. Посмеялись и дали прочесть новый царский указ: аккуратный Васька сделал выписку из указа, которую и прочел Григорию. Вот что было в бумаге: "Разбои, корчмы и бледни искоренять всяко, чтобы при воеводстве никакого иного воровства и убойства..."

Воевода велел считать свободными заигранных прежде Григорием казаков. Они и разбежались, кроме немтыря Пахома. Ушел Татубайка и увел в леса свою Фатиму.

Но женское сословие в доме Григория не убывало. Вслед за ним из Кузнецкого приехала Дашутка. А Галия привела в дом девку Таньку, которая была холопкой князя, да сбежала от него. Григорий велел беречь Таньку пуще глаза. Это козырь против воеводы: неправильно холопит людей, девок сильничает.

Все это думал, пока ехали из слободы в Томской. И вот и - город, толпа смотрит, как монахи кажут вертеп. Григорий приподнял Устьку: смотри!

Вертеп был с луковкой наверху, как церковь. Окошечко, а в нем видно: Богоматерь держит на руках младенца Христа. Над ней витает святой дух в виде голубя. По левую руку её - святой Иосиф, по правую - дары волхвов: золото, смирна, ливан. Вокруг вертепа вращалось бумажное колесо, приводимое в движение теплом свечи. На том колесе проносились три бумажных царя, на бумажных же конях.

Вновь сели в сани, проехали на Уржатку. От холода Семка немного очухался:

- Где это я?

- В раю! - сказал ему Григорий.

А праздник сиял огнями. С горок мчались на санках парни и девки, кидались снежками. Возле дома Григория Ушайка блестела зеркальным, синим льдом, в этом зеркале отражались заиндевелые деревья. Васька-Томас вышел на крылечко с глиняной трубочкой в зубах:

- Ряшенный у нас, отшень карош!

Приехавших встретили "кикиморы", "лешие", "купцы". Последние имели на себе только подштанники и шубы - мехом наружу. Купцы заорали Устинье в ухо:

- Сколько аршин отмерить?!

- Двадцать! - опрометчиво сказала она, тотчас ей отсчитали двадцать ударов прутом по спине.

В дом вошли еще мальчики и девочки со своим маленьким вертепиком. Один мальчик назывался трапезником, он зажигал свечи, тепло которых вращало бумажных ангелов, они как бы порхали. Другой мальчик звался дьячком, он собирал в тарелочку копейки. Григорий дал

малышам целый рубль, они со смехом удалились. Затем Плещеев таким же манером отделался от ряженных. И сказал Ваське-Томасу:

- Боле никого в дом не пускать. Запри на чеши ворота, и калитки и дом. Подавайте ужин.

Явились Дашутка, Пахом и Танька, которые тоже смотрели вертепы, причем Григорий сказал:

- Я же говорил - Таньку на улицу не пускать, а то Осип ее поймает мало ей не будет!

- А мы ее рядили кикиморой, - рассмеялась Дашутка, - она рожу сажей мазала, кто ее узнал бы? Да ведь погулять девке хочется, али нет?

- Похочется, похочется и расхочется. У вас, у баб - черт в подкладке, сатана в заплатке. И не про вас ли сказано: уедно псу, да неулежно?

В этот момент пришел Бадубайка и принялся колотить в запертые ворота, он был весь в снегу. Когда его впустили, Григорий спросил:

- Где ты был? Почему пьян и в снегу весь? Бадубайка сказал:

- Был я в кабаке, слушал людей. Кое-что тебе рассказать хочу.

- Говори тут, у меня от своих секретов нет, а Семка тоже свой, да пьян к тому же до того, что вряд ли завтра вспомнит, что сегодня ел.

- Ярыги говорят, что воевода следить за тобой велел.

- Я это знаю. Разве я в кабаки хожу? Разве я кого заигрываю? Разве я вино курю?

- Любому человеку скажу под страхом смерти, что нет за тобой такого!- сказал торжественно Бадубай, хотя знал, что винишко-то помаленьку Томас курит, да Бадубай сам ему помогал. - Нет, друг, ты, как приехал, так читал толстые книги, в которых много умного написано, которое кроме тебя и не понять никому.

- Да так и было, - сказал Григорий. - И скоро вы узнаете, что я не зря все это делал.

Когда поужинали и все разговоры были закончены, разбрелись по дому в разные закутки женки. А Семка уснул прямо за столом. Григорий взял Устьку за руку и повел ее в верхнюю светелку. И луна светила в окно, напоминая о давнем.

Проснулись в доме поздно. Семен уже встал и никак не мог найти Устьку. Григорий оделся, спустился вниз. Спросил Семена:

- Голова-то трещит со вчерашнего?

- Эх Григорий Осипович! Только и ходу, что из ворот да в воду. Вино-вином, а без колмацкого шара теперь жить не могу. Нет ли у тебя травки затейной?

- Нет Семка. Ярыги одолели воеводские. Ни самому угоститься, ни гостей угостить... Что, если мне в вашу слободу перебраться? Хочется иногда вольным воздухом подышать, да и винишко там потихоньку курить можно будет. Как думаешь?

- А что? Возле нашей усадьбы - пусто. Стройся. Дашь попу Ипату на церковь, он сход подготовит, вынесут решенье.

- Да ведь лес-то уже сейчас готовить надо, если летом строиться. Что - если мы у тебя в доме, Семен, поживем, пока лес готовим? Я да Бадубайка, да Пахом, да бабы, а Томас-Васька будет здесь за моими домами присматривать.

- Что же, - сказал Семен, - я согласный, хоть завтра переезжайте. Мне лишь бы всегда опохмелка была, да травку хоть раз в день покурить. А так я согласный.

Тут и Устька появилась:

- Заспались мы с бабами, с вечера-то сказки говорили, поздно спать легли, а сегодня еле глаза протрали...

## 18. НА СТАРОМ ГОРЕЛЬНИКЕ

Поселились Григорий да его челядь у Семки Тельнова в доме. И сразу чудо великое случилось. Пошел раз пьяный Семка в баню в неурочный час, стал топить ее зачем-то, да

уснул на лавочке. Тут вдруг треск раздался. Семка пробудился, видит: плаха в предбаннике поднялась, а из-под нее вылез зеленый, осклизлый, волосы и борода - мочальные, глаза оловянные. Банник! Кинулся сей ирод на Семку, и давай душить. И вдруг другой лохматый в баню заскочил, с выпученными глазами коренастый, криворукий и кривоногий. И того Семка тоже узнал: Огуменник! Таков он есть, так про него и рассказывали.

- Семка! Помогай! Лупи его крестом по лысине! Семка снял крест и давай охаживать Банника. Вдвоем с Огуменником кое-как этого ирода уторкали, обратно под плаху затолкали, и Семка плаху покрепче гвоздями прибил.

Рассказал он про эту историю дома, все село узнало. И соседи перестали к Тельновым в баню ходить. Да ну ее к шутам, если там страсти такие!

И тогда в этой баньке Бадубайка потихоньку стал винишко сидеть. Известно ведь, если лесины для стройки готовить, да стройку начинать, подмогу нанимать, мужиков надо вином поить.

А дни шли. Хорошо зимой иметь теплый кров. Ведьмы на Малахия задаивали коров. Крещенский мороз был так ярок, что надо ждать приплода белых ярок.

На Петра полукорма вышла половина корма. На Сретенье зима с летом встретились, Василий Капельник - закапало с крыш, Авдотья Плющиха - наст сплющен и рыж.

На Никиту - льдины-глыбы, все прошли, а нету рыбы, чужу лошадь утопить, вот и рыбе в реке быть!

Эх, а в Томе-то реке, видать, много чужих лошадей поутапливали, рыбы-то в ней всегда полно! Да ведь водяной там живет, то-то и оно! Тонут каждый год и рыбаки, и охотники, да купальщики и купальщицы. Меньше было летних гроз, чем пролили слез.

Известно, что в тростниковых зарослях, возле уединенных островков водяные строят свои палаты из ракушек и камушков самоцветных речных. И кто же, как не водяные, нынче устроили возле Слободы такой сильный ледолом-затор, что льдины громоздились чуть не до небес? Подгуляли, видать, на свободе, да и разбушевались.

Потом все утряслось. И лед прошел. И зашел к Тельновым один человек, и спрашивал, где повивальную бабку ему найти? Он-де из дальней таежной заимки, пришло время его зазнобушке-женушке рожать, надо бабку звать.

Семка с Устиньей послали его к бабке одной, которая детей могла принимать. А когда незнакомец ушел, Устька и заметила: скамья-то мокрая! Водяной был! Они иногда принимают вид обыкновенных людей, когда им на земле что-то нужно. Но их сразу можно узнать, у него с левой полы постоянно каплет вода. Побежали бабку предупредить, а она уж ушла с Водяным-то! Вернулась через месяц только. И полная сумка серебра у нее! И никому, ничего рассказывать не хочет.

А с первым теплом Григорий повел в поход отряд: Бадубайку, Семку. Устьку, Пахома, Дашку да вызванного из города Ваську-Томаса. Выехали из Верхней, словно бы в Томской направились, но, отъехав от слободы изрядно, свернули к Толстому мысу,

Пробивались еле заметными тропами, когда Устька ойкнула, а Дашутка взвизгнула. На высоком холме светился огонек, а над ним в небе плыла... лошадь!

- Лошадь? Летает? Эко диво!- сказал Григорий. - Я вот видел быка, что не давал молока. Да, поблазнилось вам! Айда!

Все более вечерело и темнело. Вдруг белые руки стали высовываться из скальных расселин, хватать за одежду.

- Сие - трава Сава, о ней дурная слава. Чтоб не было скуки - похожа на руки, - сказал Григорий.

- Майн гот! Ей бог, меня кто-то хватал! - завопил Томас-Васька, в этот миг по ущелью прошел гул, и что-то ухнуло на скале. Огонек наверху засиял ярче, раздался заунывный вой.

Григорий принялся успокаивать спутников: ведь если есть черти, значит, есть и ангелы, крещеным, православным чего же бояться?

Бадубайка выглянул из-за кустов и шепнул:

- Тургун!

- А что это такое - тургун? И что это за люди? Бадубайка шепотом пояснил:

- Эту лошадь они сейчас съели, а шкуру соломой набили и выставили на шесте. Загон этот, таюлга, будет стоять до следующего их прихода, когда вновь угонят чужих лошадок. Теперь они пили очень крепкую, двойной перегонки водку, настоящую на табачных листьях. Вот пили они эту арзу, закурили одну на всех большую трубку и поют свою песню.

Песня у них страшная. Они поют о том, что никого не боятся, кто им встретится на пути, того сделают своим ясырем-пленником, а то и вовсе убьют. Когда убивают врага, то дают каждому члену шайки по кусочку сердца убитого человека.

Разбойники пели низкими голосами и передавали от одного к другому, величиной с арбуз, трубку-комзу, с длинным тонким мунштуком. Каждый делал по две-три затяжки. Пахло паленым, какой-то горелой травой и немножко табаком.

Среди разбойников было три женщины, они тоже пили водку и курили трубку.

- Уйдем, убьют! - умолял Бадубайка. - Я же знаю их повадки.

- А вот сейчас мы тоже узнаем, - сказал Подрез, заряжая пищаль. Пуля была медная и с добрую вишню. Присев на корточки, Григорий отхлебнул вина из тыквенной баклажки, которую всегда брал в походы из-за ее легкости. Попил, передал Бадубайке, тот - Устьке. Баклага сделала круг и оказалась пустой. Григорий проковырял в ней несколько отверстий кинжалом, получились как бы два больших глаза, нос и огромный рот.

Срезав длинную талину, Григорий прикрепил к ней снурком тыкву, зажег свечу и укрепил на две баклаги. В темноте возникла жуткая огненная рожа.

- Как мы с Томасом выстрелим из рушниц, вы разом орите, хохочите и завывайте, да погромче. Можете визжать, если это вам больше нравится.

Томас и Григорий "угостили" разбойников дробью, пулями. Отряд Плещея загорланил на разные голоса, над кустами возле таюлги возникла огненная голова, ее кривой рот смеялся.

Пьяные скотоугонщики с дикими воплями ужаса кинулись бежать, увы, дорога была неровной: камни, расселины. Многие побились, поломали руки, ноги. Поспешили убраться подальше.

Григорий осмотрел таюлгу, срубил шест с чучелом лошади, оно мягко плюхнулось о землю.

Бадубайка предложил забрать с собой разбойничьих лошадей. Григорий не велел:

- Куда нам с ними по горам путаться? Да еще погоня может быть.

Поспешили убраться от разбойничьего места. На Толстый мыс не было ни дорог, ни троп.

Всякие темные слухи ходили в Томском про этот мыс, но никто из тех, с кем доводилось говорить Григорию, на этом мысе не бывал. Место считалось нечистым, будто бы ведьмы слетались туда на шабаш.

Среди бумаг, привезенных Плещеевым из Москвы, разбирал однажды записки инок Печорского монастыря. Вычитал там интересное. Когда Марфа Посадница была взята в плен московитами, родичи Борецких, знатные новгородцы, двинулись со всем добром, со стариками и детьми за Камень. И поселились они недалеко от реки То́мы на Толстом мысу.

Жили они здесь больше ста лет, а когда руки Москвы дотянулись до сих мест и казаки на Воскресенской горе стали строить город, новгородцы ушли оттуда, предав огню всё, что они там построили.

Куда ушли они? В некоторых рукописях пишется, что переселились в безлюдные Саянские горы.

Григорию давно хотелось проверить, правда ли то, что Печорским монахом писано?

Изрядно ободравшись о ветки и колючки, путники взошли на вершину мыса. Трудно было здесь разобрать и следы горельника. Ведь очень много лет прошло. Вырос подрост, кустарники и травы заполонили все склоны.

Что надеялся отыскать на холме этом Григорий? Он сам не знал, но верил в свое счастье. Если богатые люди там жили, то наверняка что-то и в земле зарыли. Многие богатые так делают, прячут денежки на черный день, на детей, а то и просто от алчности своей. Григорий денег никогда не копил. Он жил, как пел. Ему хотелось жить весело, вот и все, а деньги давали веселье.

- Нет ничего! - сказал, оглядывая вершину холма, Бадубайка, - даже шайтанов нет!

Между тем над миром взошла полная луна. Григорий достал из кисета перстень, в который был вправлен камень-магнит. И трижды прочитал заклинание на индийском языке. Что читал - сам не понимал. Но камень-магнит тотчас оказал свое действие. Григорий увидел под луной явственно выступающий рукодельный холмик.

- Копайте здесь! - приказал он спутникам, да и сам взялся за лопату.

Комья земли образовали уже изрядную горку, когда лопаты уперлись в нечто твердое.

- Тащите наверх! - сказал Григорий, приподняв край тяжелого деревянного сундука. Потные, с бьющимися сердцами и мужики, и Устинья с Дашуткой потянули сундук за ручку медную к себе.

Григорий оглядел добычу. Станный был сундук, рублен с одной колоды. Кован медью. Он поддел крышку, и все замерли.

В свете луны в сундуке лежала заколдованная красавица, она была внутри янтарного стекла. Как она туда попала? Синий свет луны мерцал в этом стекле таинственно и чудно.

- Факел! - сказал Григорий. И Томас тотчас подал ему зажженный факел.

- Это девочка,- сказал Григорий, - это новгородская девчушка. Прости, ангелочек, что мы потревожили твой сон. Не тебя, мы, грешники, искали!

И Подрез стал читать приличные для такого случая молитвы. Девочка лежала, как живая, у нее были русые косы, белое платье было с золотой расшивой, тканевый венчик, с молитвой на нем, тоже был расшит золотом. На груди была иконка, а в правой руке - молитвенный свиток.

- Почему же она в янтаре? - шепотом спросила Устинья, которая плакала от страха, от жалости к девочке и от холода ночи.

- То не янтарь, то пчелиный мед, - пояснил Григорий, - они залили свою ненаглядную бедняжку медом. Потому и нетленна. Невинное дитя. А мы-то аспиды. Давайте-ка положим его обратно.

Аккуратно закрыв крышку, опустили гробовой сундук на место и закидали землей.

- Завтра же закажу мастеру крест с голбецом, как будет готов, поставим здесь, устроим икону с лампадкой, да будем девочку навещать, родичей-то у нее здесь нет, - сказал Плещеев.

Медленно спускались они с Толстого мыса, по тропе, которую сами же протоптали.

Григорий взглядывал на полную луну. Висит светило ни на чем в воздухе, отражает свет солнца. Тусклый и сияющий свет, похожий на лезвие ножа, на потустороннее оконце, заглянуть в которое никому из смертных не дано.

В свете луны бродят приведения по старинным замкам в западных землях. А в Сибири для тех приведений рыцарских холодно, здесь живут свои неведомые духи, которых ни один мудрец не разберет.

Люди многому научились и многое узнали. Они приручили зверей и кормятся от них, и ездят на них, и возят. Они ставят города, которые превосходят многолюдством Содом и Гоморру, и наполнены эти города искусно сделанными вещами. Люди строят суда и преодолевают на них не только великие реки, но и моря, и океаны. Но никогда не смогут разгадать они тайн, загаданных богом. Почему с неба падают звезды? Почему нам отпущен такой, а не иной век? Почему народы борются и смещаются, кто на юг, кто на север? Какой в этой борьбе и в этом движении смысл?

Зачем Москва потеснила сюда новгородцев, а они обронули здесь малое свое семечко, которое уже никогда не даст всхода? Куда вообще устремляются люди во времени, продолжая свой род? Где начало этой цепи и где будет конец ее?

Знал Григорий, что на все это нет никакого ответа, но не думать об этом не мог.

## 19. БИТВА МЕДВЕДЕЙ

В 1647 году стало известно, что дядюшка Подреза Левонтий Плещеев своим изветом сместил нарымского воеводу, а сам был возвращен в Москву да еще вдобавок назначен там судьей земского приказа. Это все значило, что Левонтий вошел в государстве в число первых людей. Григорий подумал тогда: не найден клад, да рука в Москве получше любого клада.

И вскоре эта мысль подтвердилась. Пришел из Москвы указ поверстать Григория Плещеева в государственную службу, сразу - в дети боярские!

Теперь Григорию бояться было некого. Можно жить не таясь. Прощай слобода! В Томском - два дома, надо там вести порядок. Устинья погрустнела и все спрашивала:

- Гриш, меня-то в Томской возьмешь? А в Москву потом?..

- Ты мужняя жена! - был неизменный ответ. И тогда Устинья решилась. Когда однажды утром Семка потребовал:

- Подай похмелье!

Она подала ему не соленую капусту и квашенные огурцы, что и звалось тогда у томичей похмельем, а стакан хлебного, предварительно всыпав в него воровского порошка, да еще дала ухи, в которую всыпала тот же порошок.

Семен был обрадован такой доброй переменой в поведении жонки, раньше она никогда сама ему вина не предлагала, наоборот, норовила отобрать стакан с вином.

Выпив и закусив, он пришел в хорошее настроение, но вскоре его стало тошнить, казалось, что вывернет всего наружу, после он катался по полу, схватившись за живот, потом захрипел, и помер.

Перед отъездом в Томской Устька была на исповеди. И перед лицом икон, свечей и всего благостного церковного убранства не могла солгать она, когда поп Ипат спросил:

- Нет ли за тобой еще каких грехов, дочь моя? Покайся!..

Григорий тогда с Бадубайкой и Томасом был уже в Томском. В доме в Нижнем посаде нашли они непорядок. Девятка Халдеев сообщил, что кто-то наведывался в пустующий дом. Может, нечистая сила. Никак не поймаешь никого, не увидишь, но дом разграблен.

Оказалось, что в доме и оконные рамки повытащены, и двери сняты, и полы ободраны. И даже круглую винтовую лестницу, что вела в верхнюю светлицу, кто-то отодрал и утащил.

Григорий достал индийский перстень с камнем-магнитом. Читал заклинания, дул в отверстия перстня, а потом сказал:

- Идите к Еремею Безухому и набейте рожу, магнит показал, что мой пустой дом ограбил он.

Вообще-то Григорий заметил на пыльном полу следы сапог, поскольку Еремей был косолапый, то и следы оставлял особенные. Бадубайка и Томас забоялись:

- А если он на нас холопов напустит?

- Пищали возьмите да сабли, разве вы не воины?

Дом, отстроенный Еремеем в Нижнем посаде, был куда больше сгоревшего на Уржатке. И окружен был таким тыном, что перелезть трудно. Еремей напустил на посланцев Григория собак, а обещал отвязать еще и медведя. В посаде медведей держали многие, надо было только заказать кузнецу ошейник-нагрудник, да особенную толстую чепь.

Томас и Бадубайка вернулись ни с чем, если не считать того, что у Бадубайки кровила укушенная собакой рука.

- Вам ходить войной на мух, да и то поражение потерпите! - выругал их Григорий. Велел сходить на Уржатку и принести ему его особенно меткую пищаль, да тыквенную баклагу с вином. Когда они вернулись, Григорий дал каждому по полному ковшу вина, да и сам выпил. Всем стало весело. Пошли к дому Еремея втроем.

- Деньги - склока, а и без них плохо, эх, Ерема, у людей и грош скачет, а у нас и рубль плачет. Ты мой дом разорил, так гони сто ефимков! А нет, то я войско отважное привел, твою крепость воевать буду!

Еремей, воодушевленный недавней победой над Бадубайкой и Томасом, прокричал в ответ:

- Уходи, будет хуже!



- Подсадите, - попросил спутников Григорий. Они подняли его на тын, Григорий, почти не целясь, жажнул из рушницы по Еремею, хотел попасть в коленку, но вышло хуже: попал он Еремею в интересное место, промеж ног.

Диким голосом заорал целовальник. Выскочила Анфиса. Увидев, в которое место ранен ее супруг, завопила еще громче Еремею. Кинулась освобождать медвежью чепь. В этот момент Григорий спрыгнул в ограду:

- Ага! Вон и моя лестница винтовая под навесом лежит, разломана!

А негодница-Анфиса отомкнула чепь, и медведь, встав на задние лапы, пошел к Григорию. Отскочив к забору, Плещеев крикнул:

- Рушницу подайте заряженную!

Но Бадубайки и Томаса уже и след простыл, они решили, что медведю ничего не стоит и через тын перемахнуть, тогда им - несдобровать.

Григорий остался один на один с медведем, в руках была незаряженная рушница. Злобные глазки медведя смотрели туманно.

- Вот я тебя, басурманишку! - вскричал Григорий, ухватив рушницу за ствол, действуя ею, как дубиной. Медведь ухватил рушницу зубами, выдернул из рук Григория, грыз.

- Эх, мать честная! - Григорий размахнулся, и что было сил, стукнул Мишку в лоб. Тот рывкнул и сел. Этого хватило Григорию, чтобы успеть схватить стоявшие под навесом вилы. Медведь вновь кинулся на него, но напоролся на острие, захрипел и стал валиться на бок.

- Наша взяла! - весело сказал Плещеев. - Фиска, вынесла бы бражки испить после трудов праведных...

- Душегуб, мы на правож потянем, узнаешь Безухих...

- Я вас могу и безносыми сделать! - крикнул он на прощание.

Несколько дней в своем доме на Уржатке Григорий предавался пьяному загулу по случаю победы над Еремеевым медведем. Гости на все голоса расхваливали гостеприимного хозяина, а кончилось все, как это не редко в таких случаях бывает, всеобщей потасовкой.

Очнувшись с головной болью, Григорий с изумлением узнал, что одному боярскому сыну кто-то выткнул глаз, а другому откусил кто-то кончик носа. Кто именно это сделал, и зачем - выяснить не удалось.

Устинья почему-то не приехала из слободы, хотя уже пора ей было быть здесь. А тут еще пришли казаки звать его к дьяку Патрикееву.

- Да пошел он!.. - попробовал отнекиваться Григорий.

- Очень просит! - хитро щурясь, повторяли казаки.

Опохмелялся Григорий обычно полной ендовой хлебного вина, закусывал рукавом. Выпил, крикнул, вышел во двор, велел седлать.

Через минут двадцать был он уже на горе в съезжей. Зашел к Борису Патрикееву в комнату, где были его судебные писцы-крючкотворы, и где сам Патрикеев, томный, как барышня, ехидный и весь змееподобный, допрашивал обычно всяких бедолаг.

Неожиданно в сидевшей на лавке с опущенной головой жонке Григорий узнал Устинью.

- Ты зачем здесь?

Патрикеев вскинулся:

- Молчи, Устинья. И ты, Плещеев, молчи, здесь - я спрашиваю, а другие отвечают.

- Фу ты, ну ты, ножки гнуты! - воскликнул Григорий, глядя явно на ноги дьяка, которые были кривоваты.

Патрикеев вскипел, но кричать не стал, сказав ровным голосом:

- Пишите, допрашиваются очи в очи крестьянка Устинья Тельнова, да ссыльный Григорий Плещеев... Скажи, Устинья, верно ли, что дала своему мужу Семену сулемы в вине да в ухе? Устинья чуть слышно сказала:

- Да.

- А кто тебе насоветовал, кто сулему дал?

- Сама.

- Что - сама? Где ты, у кого сулему взяла?

- Купила у незнакомого человека на торге.

- Ну, так поклянись, что это так, да перекрестись при этом на святую икону.

Устинья молчала, плечи ее тряслись. Григорий сказал:

- Дьяк! Кончай ты свои петли вить. А то знаешь, терпит брага долго, а пойдет через край - не уймешь!

-Ах ты, вор!

- Ты не очень-то дьяк! Слыхал, кем стал Левонтий Плещеев, али нет? Чужие немощи тебя, дьяк, не исцелят. А в кривом глазу и прямое криво. Я дал ей сулемы. Муж ее дохляк был, травку колмацкую вдыхал.

- Не ты ли его научил?

- Не я, он сам научился.

- Твои дела нам, Григорий Плещеев, известны, тебя мы посадим в тюрьму. А потом ты на все вопросы ответишь. Отведите его! - обратился Патрикеев к казакам.

Григорий хотел сопротивляться, потом одумался, все равно скрутят, набежит их много, еще сопатку набьют. Эх, жаль, саблю, и кинжалы на сей раз не захватил, никогда ведь с ними не расставался.

Казаки отвели его к тюремной избе, по дороге сообщили, что у дьяка имеется жалоба градских людей, которую подписали человек двадцать. Жалуются на Григория и дети боярские, и казаки, и крестьяне, и целовальник один.

Тюремная изба была обнесена прочным тыном, ворота на чепях, внутри и снаружи охрана.

- Эге, отгулял, голубчик! - сказали охранники. Один из них сопроводил его по двору к дверям, отпер их, толкнул Григория в спину:

- Иди в свой дворец.

Григорий шагнул в темноту, в духоту, в зловоние. Как он ни моргал, ничего разглядеть сразу не мог. Густой бас сказал:

- А ну, гони влазное, не то худо будет.

- Влазное? - переспросил Григорий, примеряясь, - счас! - Он размахнулся и стукнул обладателя баса и понял, что хорошо попал. Мягко поддалось у него под рукой, кабы не выбил зубы все кому-то.

Тотчас на него посыпались удары. Ничего в руке не было, и ничего не видел, сорвал с шеи массивный серебряный крест и принялся колотить всех, кто подворачивался. Понимал, что от первой встречи многое зависит.

Он молотил, не помня себя, стирал с глаз капли крови и пота и опять бил. Из носа у него текла кровь, один глаз заплыл, но он прыгал, бил ногами, головой, руками. Пока кто-то не попросил:

- Хватит, дяденька!

-Ага! Стало быть, влазное вы с меня получили уже, и больше вам не надобно?

- Больше нет, не надо...

Григорий присел на лавку, которую наконец-то разглядел, как и несколько фигур людей. Через какое-то время привык к полумраку тюремной избы и разобрал, что в ней находится дюжина мужиков.

- Ты за что? - ткнул он пальцем в тонкоголосого, который кричал "хватит, дяденька!" и тем прекратил драку.

- Я-то? Я с Веселяшного озера.

- Ну, с Веселяшного, так что? Вас там много, с вами водиться, как в крапиву садиться, всемером одну соломину поднимаете.

Григорий знал эту слободу за дальним озерком возле глиняной горы. Туда селили сосланных по указу царя Алексея Михайловича скоморохов, петрушечников. Там жили они, как звери, вырыв норы в склоне горы, умирали с голода, ибо пахать и сеять не умели, а скоморошничать им было запрещено, даже милостыню им было просить нельзя. И уходить из слободы не разрешалось. Они ловили собак и кошек, мышей, обдирали да ели, еще обвыкли помаленьку рыбу ловить.

Редко удавалось им поскоморошничать в Томском, народ чтит царские указы. Даже если в драке кого зарежешь, и то будет меньше, чем за нарушение царского указа. На многих

воротах детей боярских и богатых казаков на праздники писали: "Петрушечников, скоморохов - духу не имаем!"

- Так за что тебя? - спросил Григорий, - и как тебя кличут?

- Кличут меня Дружинкой, а взяли за то, что робеночку ручки, ножки крутил.

- Робеночек-то чей? И зачем крутил?

- Родители робеночка померли, а крутил, чтобы потом с тем робеночком милостыньку просить.

- Ну, Дружинка, мало тебе не будет.

- А что было делать? Не подыхать же с голода?

Самый здоровый мужик, который недавно басом просил с Григория влазное, был крестьянином, и вина его состояла в том, что в день царских именин вздумал он перекачивать баньку. Звали его Мемейкой Черным. Было ясно, что если за оскорбление царского величества ему не отсекут башку, то это будет сказочное везение.

Сидели здесь за мелкие кражи, за плохие слова про воеводу. Одни сидели за клевету на царя-батюшку, что было сказано в пивной по пьяному делу, но означало это, что ему отрежут язык. Именно так лишился языка немтырь Пахом.

История ясадного Гаяски заинтересовала Григория. Принес Гаяска на торг большую, необычайной расцветки лисицу: по хребту струилась чернота, сама же лисица была серебристая. Такие шкуры ценились высоко, каждый богач мечтал упрятать в свой сундук такую.

Люди Щербатого тотчас придрались к Гаяске, мол, не весь ясак сдал, хотя он давно рассчитался. И вот чудо-лисица у воеводы в сундуке, а Гаяска - в тюрьме.

- Сие сотворено против царского указа, - сказал Григорий, - велено ясадных, которые платят исправно, понапрасну не ожесточать. А сей - себе товар имал. Это и есть государю измена!

- Измена, не измена, жрать хочется, - сказал Мемейка Черный, - хоть бы из дома что принесли. Дак ведь в поле все, не до меня грешного им.

- Да, искал дед маму, да попал в яму! - сказал Григорий, - пошел по шерсть, а воротился стриженный. Так вот охотник ловит волка, пока самого не поймают. Нешто стражнику сказать, чтоб моим передал - где я?

- Не, - сказал Мемейка, - вечера жди, который сейчас на страже - вредный.

- Кусаются и комары до поры! - усмехнулся Григорий, и принялся колотить ногой в дверь. Пришел стражник Василий и заорал:

- Какая курва стучит? Ослопов на спину захотел? Так выдадим!

- Охолонь, Василий, я тебе отдам крест серебряный с жемчугами, а ты нам принеси чего-нибудь выпить и закусить.

- Покажь крест, - недоверчиво сказал Василий, отворяя дверь и протягивая в душный полумрак свою узловатую руку.

- Да вот он крест, али ты меня не знаешь, я - Григорий Плещеев, я всю ночь не ем, я весь день не сплю, сам знаешь, как зайцы лошадь сожрут, так всегда на волка поклеп, я и знать ничего не знаю, а дело это мое. Так что дружи со мной. Лучше с умным потерять, чем с глупым найти. В накладе не останешься.

- С арестантами нам водиться нельзя, - сказал Василий, все-таки взяв крест и пряча его в карман. Через полчаса Василий принес оловянный кувшин с вином, да три ковриги хлеба.

- Только-то? - сказал Григорий.

- И этого много! - буркнул Василий. - Спиной своей могу расплатиться, если узнают.

- Ладно, Василий, кинь хлеб-соль позади, найдешь - впереди. Зайди к моим на Уржатку, чтобы жратвы и вина передали, а то тут спишь, спишь, и отдохнуть некогда. Скажешь, а уж я тебе потом дам рубль.

И подумал Григорий, что если удастся из темницы выйти, то он серебряный свой крест у Василия отберет и затолкает ему в заднее место.

Попад в тюремное бездние, Григорий то буянил, то затихал. Тюремщики деньги брали охотно, но не давали чернил и бумаги, отказывались передать на волю весточку. Тревожила судьба Устиньи, ее там, может, пытают, а он бессилен ей помочь! Получается: легко ранен, только голову никак не могут отыскать.

Бежать бы, да никакого железа арестантам не дают. Есть можно только с берестяной посуды, хлеб резать нечем, только отламывать можно.

А сидишь в темноте. Одно окошечко в избе да величиной с кулак и то зарешечено. А дверь отпирают охранники редко.

Лишь два раза в день, когда арестантов на двор в нужник выводят. Только и посмотришь на свет, а если повезет и выглянет солнышко, так уж и не нарадуешься на него.

Выходя в нужник, Григорий обычно кричал всякое:

- Эй, скажите нашим, что ваших бьют! Что это за город? Даже калача купить не на что! А как обживешься, так и в аду благодать!

В избе полно клопов и тараканов. И Григорий придумал тараканьи бега. Из бересты сделал длинный короб с желобами, для того все туеса, какие в тюрьме были, разобрал, а потом рыбьим клеем-карлуком склеил.

Тараканов держал голодными в коробушке. А потом каждого пускал по своей дорожке бежать за своей крошкой хлеба. Перед бегами Григорий стучал в тюремную дверь, да звал посмотреть на невиданное зрелище тюремщика Василия, который и принес ему из дома немного клея.

Василий затее сей очень удивился и пристрастился к этой игре. Каждый делал ставку на одного из тараканов, кто ставил денежку, кто корку хлеба. Чей таракан приходил первым, тот все и выигрывал.

Случалось и Василию выигрывать несколько денежек, но дело было не в них, а в азарте. И Василий все играл да играл. И арестанты не в накладе, когда идет игра - дверь открыта, стало быть, в избу свежий воздух идет и светло в ней

Через два месяца тюремного сидения Григория, появился в тюремной избе казак, который ездил в Москву с челобитной на Осипа Ивановича. Воротился в Томской. Из Москвы пока ответа нет, а тех, кто ездил в первопрестольную, теперь каленым железом поджигают.

И показал казак Пантюха свою обожженную руку. А ведь посылал-то их городской сход! Чего же этот сход теперь их не защитит? Народ сердит, в кабаках нелестно про князь-Осипа говорят. Говорить-то говорят, а приступить к нему пока боятся.

И вот вывели Григория очередной раз в отхожее место, а он и завопил на весь двор:

- Эй, вы! Знаю государево дело на князя Осипа! Пусть дьяк меня зовет, все скажу!..

Если кто государево дело кличет, такого человека обязательно должны расспросить и все в бумаги записать. Если врёт - накажут. Но спросить обязаны.

А Григорий вспомнил девку-Таньку, которую воевода похолопил и залапил, вспомнил, что князь Осип однажды немирных аринцев отпустил за хорошую взятку. Говорили такое верные люди, хотя и проверить трудно. Надо заявить, а там пусть приказные крючки проверяют в своих приказах в Тобольске да в Москве. Небось, дядя Левонтий тогда в Нарыме через извет свой из ссылки выбрался? Выбрался! А я из тюрьмы выторбаюсь!

- Знаю государево дело! Не покрывайте, сами в ответе будете!

Один охранник стукнул его черенком секиры, А Григорий его - кулаком меж глаз. Неизвестно - чем бы кончилось, но прибежал Василий и сказал:

- Князя возле съезжей за бороду дерут, не пушают, требуют, чтобы Плещеев на него государево дело сказал. Так что Григорь Осипыч, ступай, не серчай на нас, подневольных.

- Ладно! - сказал Григорий, - долгие проводы, лишние слезы. Не скучайте без меня, братья, бочку вина пришло.

Казак его возле ворот уже ждали, подвели коня, дали и саблю, в знак того, что стал вольным человеком.

Перетянул плашмя саблей лошадку по крупу, помчал впереди всех

Площадь была запружена конными и пешими, пахло весной, это возбуждало толпу. Голова Григория кружилась от свежего воздуха. Он увидел, что князь Осип на высоком

крыльце съезжей пятится в дверь, а казаки держат его за полу. Сверкнул саблей и смаху отсек полу кафтана, а сабля еще скользнула, по воеводину сапогу, даже немного каблук срезала.

- Волка бьют не за то, что сер, а за то, что овцу съел! - сказал, глядя воеводе в глаза, - говорил я тебе, что сквитаемся?

Григорий поднимал уже саблю для второго удара, часть детей боярских загородили воеводу собой.

- Ты, воевода, шила в мешке не утаишь. - Сказал Григорий, - сверху-то тебе хорошо плевать, а ты попробуй снизу! Сабля, она чинов не разбирает! Государеву казну грабишь, а казаков решил голодом уморить? Воинов в землекопов обратил? Сам вор, а честных людей в тюрьме держишь, голодом и холодом моришь?

- Убить его, вора! Разорвать на части! - кричали из толпы.

- Постойте, братцы - выступил вперед Бунаков. - Откажем князь-Осипу от воеводства, доверьте мне да Патрикееву дела, князя отдадим под домашний арест... А потом уж, как царь решит, так и будет.

Казак Васька Мухосран, красноглаз, охальник, заорал:

- Айда громить воеводских прихвостней!

Врывались во дворы знатных людей. С них разом спесь слетела. Подьячий Макарка Колмогорец со страха закопался во дворе в навозную кучу. Но Мухосран доглядел, стал тыкать в кучу вилами, Макарка оттуда и выскочил. Мухосран накинул на шею подьячему аркан, потащил на мост, и свешивал с моста на аркане.

Начнет Колмогорец богу душу отдавать, он его на мост вытащит, даст отдышаться и снова свешивает.

Во дворах богатых казаки первым делом лезли в подвалы, ломали сундуки, совали в мешки песцов, бобров, кафтаны дорогильные, череватые, шапки высокие меховые, вершки гвоздичного кармазина.

Лишь вечером Григорий вспомнил об Устьке. Вернувшись домой, поднялся в верхнюю светелку, стукнул. Не ответила, вошел. Устька лежала на коврах, лицом к стене. Хотел обнять, отвела руки:

- Не надо, Гриша, пытали меня, скинула я робеночка твоего...

- Ах, Патрикеев, гад, я ему покажу!

- Не он пытать приказывал, а князь-воевода...

Григорий кинулся к воеводской избе. Не пустили. Вспомнил тогда про палача Ефима. Вызвал его, дескать, потолковать надо.

- Ефим, тебе Устька подарочек шлет, - выхватил кинжал из-за пазухи. Поразил палача в самое сердце.

Вернулся домой, спросил Устьку:

- Робенок-то мальчик был али девочка.

- Ах, Гриша, откуда ж я знаю, в пытках была...

## 21. КНЯЗЬ, ЛЕЗЬ В ГРЯЗЬ

Как ни охраняли, Щербатой ночью спер из съезжей главные бумаги и печать. Тогда съезжую перевели в избу казака Девятки Халдеева.

Патрикеев стал при Бунакове вторым в городе человеком, и было ему лестно. Власть сладкая штука. Сколь людей сломало головы, тянучись к сему сладкому плоду.

На бумаги надо было ставить печать. Посланцы просили князя Осипа отдать печать Бунакову добром.

- Попробуйте взять худом!

Понятно было, что так он запрятал печать, что будешь её искать до второго пришествия и то и не найдешь.

Бунаков решил использовать в качестве градской печать настоятеля Троицкого собора отца Киприана. Тот отказался дать печать. Дескать, церковные дела, это дела божьи, а мирские дела могут быть и сатанинскими.

- Ты на что намекаешь? - грозно спросил Илья Микитич.

- Ни на что, - спокойно ответил Киприан. - В одном монастыре решили на кабальную запись поставить монастырскую печать. Когда её к бумаге притиснули, из под печати с писком выскочили маленькие чертенята. И что же? В том монастыре среди молодых монахов пошел сатанинский грех, а настоятель стал кашлять, и каждый раз при кашле у него изо рта выскакивала жаба. И столько жаб вокруг монастыря стало, что нельзя было пройти, не поскользнувшись.

Махнул рукой Бунаков и пошел к таможеннику-тиуну. Тот начал, было, говорить, что-де таможенная печать никак не может быть градской, там-де и знаки совсем не те. Илья Микитич сказал ему, чтобы умолк, если не хочет сидеть в железах.

Открыл Илья Микитич новые кабаки, сделал послабление по налогам. Еще повелел привезти в Томской много ясашных для крещения. Они, может, сами и не мечтали креститься, но когда тебе именем воеводы говорят, что - надо, как не пойдешь? Все, может, лишнего ясака требовать не будут.

И была в разгар того лета красочная картина: поп Киприан, аки Иоанн Креститель, посреди Белого озера в лодке, а в озеро лезут, раздевшиеся до нага, ясашные. Мужики и бабы, чад своих на руках держат. Киприан прежде вымерил глубину палкой, дабы никто из крещающихся не потонул, ведь тогда всё торжество испорчено будет. Место такое, что стоят в воде и как раз только головы из воды торчат. Отец Киприан возложит свою руку на голову инородца, как на арбуз нажмёт - голова скрывается, а отец Киприан возглашает:

- Во имя отца!

- Во имя сына!

Голова скрывается вновь.

- И святого духа!

Ясашный отфыркивается, а отец Киприан продолжает, осеняя его крестом:

- Крещается раб божий Ивашка в оставлении грехов и жизни вечная. Аминь!

Крещающиеся восторга не изъявляют, но когда все кончается, поспешно вылезают из воды. А на берегу казаки, боярские дети и всякого звания мужики толкуют вполголоса:

- Вон та ничего, даром что ясашная.

- А эта тоже ничего.

Весело! Никаких скоморохов не надо.

А тех, кто за воеводу Осипа горой стоял, упрятали в тюрьму, иных ловят.

Григорий Плещеев со своими холопами и дружками веселился, стегали плетками коней, скакали от двора ко двору. Врывались в усадьбы, где жили люди, подписавшие на него, Григория, доносное письмо. Не все говори, что знаешь, но знай, что говоришь!

Ворвались в дом Сабанского. Какой-то холоп за пицаль схватился, Григорий смаху отсек ему руку:

- Уж одной-то рукой в ладоши не хлопнешь!

Сабанского вяжут, его жонка обзывается, плюется. Бадубайка дернул у нее золотую сережку, ухо порвал. Изловчилась, стукнула князца оловянным блюдом. Бадубайка взвыл, ударил Сабаниху головой в живот. Поймал девку Сабанскую. Всю ощупал под предлогом поиска запретного письма. Девка-то тугая оказалась, Бадубайка до того расчувствовался, что даже позабыл сережки с девки снять

Однако Григорий и Томас ничего не забыли. Дорогие шубы и шапки, забрали, вдруг них крамола какая упрятана? Приторочили добычу к седлам и ускакали,

А народ в городе разный. То ли от бухарцев надуло, то ли от татар нанесло, но только стали поговаривать, что Навьи должны воспользоваться тем, что в Томском в живых нет согласия. Будет ночь: прискачут мертвые на мертвых конях своих и будут у них луки и сабли в мертвых руках. И поразят в Томском всех живых, исчезнут.

Илья Микитич велел доискаться, кто слухи пушает. Еще повелел обыскать всех, кто в сторону Тобольска направляется, любую бумажку - отбирать. А еще смотр своему войску устроил.

Построились конные и пешие, пошли за озеро, на Каштак-гору. Пушкари в красных шапках с темной опушкой, кафтан красен, сапоги черные, на поясах -висюльки берендейками именуемые, отмерять порох. Еще к поясам подвешены кожаные зеленницы. Пряжки медные сияют, как солнышки. Казаки гарцуют в алых кафтанах, пищали при них и сабли бухарские, а в зубах - богомерзкие антихристовы трубки.

Илья Микитич впереди всех скачет, сабля у него тухменская, что твое колесо! Рукоятка камнями вся переливается, кафтан лазорев, шапка розова. Войско пансирами блестит, шеломами, в литавры бьет, в трубы дудит, в барабанные лукошки колотит. Дротики, копья, секиры, что лес, торчат,

Остались ветряные мельнички на Каштаке. На столбах стоят. Внизу -треугольник, верхняя часть с крылами - конусом. К верхней части стежки, как оглобли, приделаны, чтоб мужик взялся за стежки да развернул мельничку по ветру. Теперь-то на Ушайке мельницы большие, водяные, а по этим, малым, будем палить для науки.

Навели стрельцы большую пушку, р-раз! И мимо! Микитич подскакал, одному стрельцу - в ухо, другому по носу попал, сломал нос-то. Навели второй раз. Шарах! И нет мельнички! Наука!

Илья Микитич налил каждому стрельцу по чарке хлебного. Вот спасибо, а кровь из носа, она пройдет и ухо заживет.

После били из пищалей по подбрасываемым старым шапкам, по полешкам навскид, сходились в сабельном пешем и конном бою. Троих нечаянно поранили. Что ж, наука, она даром не дается. Зато не придется из пушек по воробьям бить.

Мы и Навых боимся, мы и в лесовиков верим. Но от таких, как мы сами - оборонимся всегда.

А вскоре стало известно: кыргызцы большими ордами к Томскому идут. Нет дыма без огня, недаром про Навых болтали. Вот она, смерть-то, сама движется.

Клич несётся по городу и посадам:

- На поруб! На поруб!

Сожмутся тревожно сердца жонок, а мужикам этот крик только духу придает.

Помолились богу, не выдаст он православных. И большими отрядами, да малыми дозорами выехали из ворот. Будь, что будет, а мужское свое звание оправдывать надо! Перед миром всем, перед детьми и жонами!

Григорий вел один из больших отрядов. Выехали на холм и увидели в лощине, словно бы море живое, в теплых халатах, в лисьих малахаях, в колпаках железных, с лисьей опушкой, с луками, арканами волосяными, короткими копьями и кривыми саблями. И все орут, да страшно так!

- Отступай к Ушайке! - командует Григорий. Казаки недовольны. Нам - на поруб, чего ж отступить?

Отступают. А кыргызцы обрадовались, взвыли, за казаками скачут. Но лишь со скалой поравнялись, гром прогремел, пламя взлетело с камнями ввысь и обрушилось на головы степных конников. Лошади заржали, вставая на дыбы. Взорвались заранее спрятанные в расселине бочки с порохом. Пушкари не подвели, всё верно рассчитали.

- За царя-батюшку, вперед! - командует Григорий. Сам впереди скачет кафтан и рубаха расстегнуты, крест на груди светится, сабля в волосатой руке, как луч солнечный.

- На поруб!

И валятся головы в лисьих малахаях да колпаках острых, только зубы сверкают в последней усмешке. Нарубили кыргызцев, как дров.

А в другой стороне от Томского один дозор напоролся на большой вражеский отряд. Из всего отряда спасся лишь Васька Мухосран. Ушел тайными тропами к башне- веже. Таких башенок много возле Томского на полянках, на островках, на лужках. Двойные стены, решетки в воротах, запас воды и пороха.

Мухосран опустил решетку, привязал коня, влез наверх и принялся из пищали палить. Враги пускали стрелы с огнем до тех пор, пока башня не запылала.

Васька поднял решетку, выпустил коня, а сам полез в ход-щель, вылез в зарослях шиповника. Кыргызцы видеть его не могли, да и заняты были: коня Васькиного ловили.

Увидели томичи горящую вежу, на подмогу подоспели.

Женщины на градских стенах вспомнили молитву, которую читали казаки перед походом: "Господи Иисусе, Пресвятая Богородица, Иван Креститель, и все святые, благославят мя раба божия, в поход идучи, каменным градом оградите, обволоките облаком небесным от злых людей: стара и мала, смугла и сява, и колдуна, и еретика, и всякого чародея. Ущитите мя златым щитом от сечи и пули, и пищального боя, от ядра и рогатины, кистеня и ножа. Буде тело мое крепче пансиря Тем словом моим буде ключ и замок, ключ - в воду, замок - в гору. Аминь!"

Думали про своих мужей жонки: уберегут святые? Грешили-то много!

Вон Васька Мухосран скачет, Вот уж прозваньице! В бумагах дьяки да подьячие его чаще всего Мухоклеванным пишут, а то и вовсе - Мухоплевом. Имя дурное, да везет ему, ни царапинки на нем нет. А вон четверо, порубаны, с пробитыми головами. К кронам молодых березок тела привязаны, а березки комлями к седлам казачьим приторочены.

Иные жонки уже узнали своих мужей, завопили истошно. О, сколько таких стонов и причитаний слышали старые томские башни, а сколько еще услышат башни нового города?

Илья Микитич после сего вражеского налета нашел свидетелей того, того, что Щербатой подговаривал кыргызских тайшей напасть на город. Лишь бы Илье Микитичу насолить. А что это, как не измена Государю?

Была немедленно составлена грамота в Москву, заверенная другими подписями. Собирались и прочие сведения о темных делишках князя.

Ясашные, битые и ограбленные, крестьяне, у которых тоже было много обид, все составляли челобитные на Осипа.. И все новых гонцов отправлял с документами Илья Микитич в первопрестольную, пусть знают там: не зря отказал Оське от воеводства!

Месяц был тусклый - к мокрете, кошка забралась в печурку - к холоду.

Выходил князь Осип на красное крыльцо, выше которого не было ни в посадах, ни в городе. Чем знатнее человек, тем крыльцо должно быть выше. И шапка- тоже. Не зря же пословица есть, мол, по Сеньке и шапка!

Выходил князь Осип Щербатой к казакам в высокой своей шапке и кричал с высокого крыльца:

- Ноне гусь стоит на одной ноге, быть холоду и пурге. Что вам мерзнуть, казаки? Не подохнуть бы с тоски. Заходите, грейтесь, чать я не басурманин какой.

И случалось, заходили. Осип делал знак Аграфене, она посылала служек в подвалы. На столе появлялся жареный гусь, начиненный кашей, вино в красивых кувшинах. Изюминки в вине, тепло бежит по спине. Пышет жаром каравай: все на свете забывай! И забывали. Обольщал князь, склонял в свою сторону. Бывало, после кто-нибудь в кабаке пробалтывался: с самим-де князем пил! Хвастуна вели в съезжую, палач приходил:

- А кто еще пил, а что говорил?

Лучше умный дурак, чем глупый мудрец, молчит казачина, как огурец.

А в царевы именины наварил наш князь свинины, бочку выкатил вина, Поздравляй и выпей - на!

Как не поздравить? Кто-то его поздравляет, значит, а кто-то бумагу в кафтане прячет. Обыскивать надо, хотя и неловко, глядь и в ограде уже - потасовка.

А поздравителей избиенье - значит - государя оскорбленье!

Князь нередко выходил из верхней светлицы на площадку на крыше, там была лавка, и можно было видеть окрестности.

Вон они башни двадцатидвухметровые, вон новый собор, взметнувший свою главу до облаков!

На всех башнях резные двухглавые орлы, на радость своим, на страх басурманам. Те же орлы, но поменьше размером, над съезжей избой, над посольским двором, на государевых складах с вином да мягкой рухлядью.



Вот только съезжая-то ноне закована, а бунтовской воевода Ильюшка Бунаков в нижнем посаде "без орлов" в казацкой избе сидит. Да какой же он воевода!

Князь всё думает: как же о нынешнем положении царю доложить? В прошлый раз взяли верные люди его грамотку в Москву доставить. Бумагу в доску заклеили, а доска в телегу вделана была. Дак ведь дознались Ильюшкины ироды. Одних посланцев- убили, других - в тюрьму заторкали.

### 23. ПОХОРОНЫ МИЗИНЦА

Все как бы перевернулось вверх дном. Если Григорий уже позабыл о своих мучениях в тюремной избе, то знатный боярский сын Петр Сабанский, герой Алтая, теперь сидел в завшивленном узилище вместе с отпетыми разбойниками, ему не давали свиданий, а если начинал высказывать обиды, стражники орали на него.

В тюрьме томились и поляки Тупальские. Эти два брата не зря крестились в православную веру. Их сразу поверстали в дети боярские и дали чины. Таких перекрестившихся из католиков и лютеран звали обливанцами. У них-то поп побрызгает, а у нас - лезь в купель с головой!

Теперь им православие не помогло: и чина лишились, и в темницу уторкались.

Никогда в томской тюремной избе столько народа не было! Не вмещались. И знатым людям пришлось разрешить спать во дворе, для чего из дома им принесли ковры и перины. Но из всех перин высыпали пух, да просмотрели: не спрятано ли что? Все, что передавалось в тюрьму или из тюрьмы, придирчиво осматривалось. Проверяли кувшины с вином, хлеб и тот разламывали на мелкие кусочки. Илья Микитич своих ярыг в тюрьме держал, были они в драной одежке, богомаз Герасим нарисовал им синяки и ссадины, Они ругали злодея Бунакова, негодяя дьяка Патрикеева, а сами слушали, что говорят знатные заключенные.

Илья Микитич правильно рассчитал, чтобы собрать вести о кознях Осипа, надо войти незаметно в его окружение. И входили. И еще хотел Илья Микитич Бунаков, чтобы только его вести о томских делах доходили в Сибирский приказ, а Осип ничего бы переправить туда не мог.

Но какие заставы не ставили, как не вылавливали любую бумажку, любого подозрительного человека, а тайга велика, князь Осип хитер, недаром же первым воеводой был! Ступает и травы не мнет. А у Ильи Микитича на затылке глаз нет, да в одной руке два арбуза не удержать. И все-таки дошло письмецо князя Осипа до Сибирского приказа, там он о делах местных рассказал по-своему.

К Осени пришла в город Томской грамота, в коей велено было Осипу Щербатому вершить томские дела вместе с Илей Бунаковым, пока им обоим замена не придет.

Сход томичей решил не выпускать Осипа из ареста. В Москве не разобрались, послать туда гонцов, которые все объяснят царю-батюшке.

А Бунаков принимал в эти дни послов Алтын-хана. На фоне первого снега цвели желтые и красные, расшитые серебром и золотом халаты. Мотались бунчуки из конских хвостов. На груди послов - золотые пайцы - охранные грамоты хана. Увидишь - вались, целуй копыта лошади.

Всякий заботится, только не томич. Это ведь томичам было поручено Алтын-Хана к присяге привести. И дали тогда ему томские казаки чашку с вином, в котором была взболтана горсть золотого песка. Князцам давали съесть кусок мяса с острия сабли.

Теперь послы привезли дары Алтын-Хана русскому царю. И пушки палили, и колокола в церквах звонили, а где-то били и в якоря, подвешенные взамен колоколов.

Илья Микитич встретил посольство на пороге съезжей избы, каждому послу подали что-нибудь. Кому шкуры песцов, кому дорогие кинжалы. А затем послов провели к угощению.

А Устька не пошла смотреть на басурманских послов. Если ребенок уже шевельнулся под сердцем матери, то нельзя ей на черного человека глянуть, не то судьба дитяти будет черной. Надо будущей матери смотреть в это время на все белое, чистое, красивое. И ушла Устька в меховом тулупчике за баньку, скинула тулуп, а под ним она была нагая. Села она на мех, глядела на белый снег втягивала ноздрями свежесть первого снега. Груды ее были увеличены, живот выпячивался. И робеночек, должно быть, впитывал в себя свежесть и красоту.

Насмотревшись на первый снег до мерцания в глазах, накинула она на себя мягкий тулупчик и вернулась в дом.

В одной светелке изразцы - из красной глины, а на них - двухглавый орел, на каждом квадрате. В другой светелке изразцы муравленные и с изображением птицы Сирина.

Подкинула Устинья на счастье серебряную копейку, на одной ее стороне великий князь Алексей Михайлович изображен, а на другой - воин-копейщик со своим копьём. И казался Устинье этот воин её Григорием, дорогим и любимым навеки. А загадала она то, что если монета копейщиком вверх упадет, то возьмет Устинью Гришенька с собой в Москву.

И копейка упала, как ей было нужно. И рассмеялась Устинья, и стала смотреть в красное строенное окошко. Вверху - два красных стекла, внизу - одно. Снег сквозь эти стекла гляделся красноватым, словно ударил охотник в утку, да полетели из нее не перья, а рубины.

Устька думала о ключе, в котором есть сладкая вода. Надо будет сказать Григорию, что у него должен появиться наследник. Григорий захочет, чтобы ребенок был здоровым, и поведет Устинью к тому дальнему сладкому ключу. Она знала, что он сейчас где-то на встрече послов, ждала его с нетерпением.

Чтобы время быстро шло, пошла в подвалы, считала там бочонки с вином, кутанные в соломы колеса сыра, жито в загородках, мешки с крупой.

А послы смотрели теперь на Ушайское озеро, где в зиму во льду стояли корабли. На льду этого озера был устроен показательный кулачный бой.

Со всей России ссылали в Сибирь кулачных бойцов. Досаждали они Москве своей силой: то одного пришибут, то другого. А в Сибири сила надобна, чтобы врагов крушить. Здесь кулачных бойцов держали в чести, любили смотреть, когда они для забавы бьются.

Был там бухарец Магомед. Вышел он в тот день голый до пояса и в зеленых рукавицах, а на груди у него был мешочек с сушеной шкуркой ящерицы.

Против него стоял Григорий. На груди в густой шерсти золотой тяжелый крест поблескивал.

Ударит Магомед - пошатнется Григорий, Плещеев стукнет - Магомед шатается. Вот уж кровью оба плюются, но ни один не отступит даже на шаг.

Стал Магомед отирать рукавицей кровь и пот, а рукавица-то свалилась с руки, мальчонка кинулся ему рукавицу подать, да вдруг закричал:

- Дядьки! У него в рукавице железка зашита!

Кинулись мужики, и давай всех бухарцев лупить, а Магомеда в первую очередь. И уже стенка на стенку стали биться. За вложенную в рукавицу железку могли и руку отрубить, тут такое уже бывало. Послы кивали бородами:

- Зрелище достойное, люди крепкие, страха не имут...

Григорий вернулся домой и был пьян изрядно. Устинья его ждала, ждала, не дождалась, прикорнула внизу на топчане.

А проснулась, слышит, в верхней светелке неясный шум и вроде причитания чьи-то. Взяла кинжал от страха, на цыпочках стала подниматься по лесенке.

Заглянула и увидела мотающуюся в свете луны по ковру тень восьмипалого существа. Богомерзкое существо. И луна смотрела на все бесстрастно всё равно ей, что видеть, и не такое видала.

И сбегала Устинья по лестнице, тихонько отворила дверь, вышла на снег, как была, босая, в сарафанишке и пробежала к баньке, шепча в гнев и отчаянье:

- Всё пропало! Всё он разрушил, всё загубил! На кого променял? На яшашную?

А правда ли, что он? А может, она сама? Устька? Ведь после всех мучений и терзаний пышные когда-то косы истончились, потеряли блеск, а под глазами, словно паучок паутинку

сплел. Он прав. О, если б она не видела, не знала бы ничего! Но она видела, теперь ничего не исправить.

В баньке приятно пахло осиной, свежими вениками. Устька оставила дверь открытой и та же луна, которая делала тени в светелке на стене, на коврах, та же самая луна светила теперь в дверь баньки. Это чтобы Устьке не было темно, чтобы Устька могла сделать петлю из красного шелкового снурка. О! Она знала: это великий грех! Таких не только не отпевают, но даже и не хоронят, просто бросают в реку. Ведь повесился когда-то Иуда. Но такое было в Устьке негодование на нарушителя любви великой, так хотелось, чтобы ужаснулся он делам своим.

Устьку на другой день нашел Томас-Васька, увидев, что дверь баньки приоткрыта, пошел закрывать, ибо любил порядок, вот и увидел ужасное, и сказал:

- Это есть большой горь для Григорий Осипович, как теперь ему говорить?

И Григорий узнал, стиснув зубы, взял кинжал, положил руку на чурбак и отхватил кинжалом мизинец левой руки. Это была частица его, которая должна была лежать отныне вместе с Устькой.

Он решил похоронить Устинью на Толстом мысу рядом с новгородской девчушкой. Жили они в разных веках, но кто знает, что лучше? Умереть, намучавшись, как Устинья, нагрешив много, или же, как девочка, в раннем детстве, когда еще нет ни грехов особых, ни растянувшейся на долгие годы боли?

И поднялись Григорий, Бадубайка и Томас на гору, выкопали могилку.

А вскоре Григорий установил и крест. Он был такой же красивый, как и у девочки, с таким же голбецом, и с иконкой под ним.

Полная баклага сделала свой круг, и Григорий сказал:

- Я похоронил грешницу рядом с невинным робенком, но бог милостив Устинья была большим робенком и потому, даже виноватая, осталась невинной. Все мы грешны, силен враг рода человеческого! Но, не согрешив, не покаешься. И видит бог, что все мы боремся с бесом в меру сил, нам отпущенных. Аминь!

## 23. ТОНКАЯ ДОСКА НАД ЯМОЙ

Федор Пущин со товарищи повез новую челобитную Бунакова и градских людей в Москву далекую. Надо же было, чтобы поняли там, что Бунакову власть дана лишь во имя охраны царевых интересов.

Уже вскрылись реки. Делегаты, не задумываясь, отняли три судна у томских промышленных людей, стоимостью в семь рублей каждое. Пусть будет вклад торговых людишек в общее дело.

С парусных мачт сняли флаги купеческие с их знаками и именами, вывесили флаги царские.

Оглянулись на город свой Томской. На шестиметровые кресты именитых людей на кладбище на мысу, которое теперь находилось уже за градской стеной. Башни города сияли свежим деревом, резными орлами. Дале было видно и башни старого города, почерневшие, покосившиеся, а за ними, на отшибе, в лесу, едва виднелась башня князя Еваги. Там было капище его племени. И над башней вечно кружилось воронье, ибо Евагины ведуны приносили на башню сырое жертвенное мясо и мазали идолам губы кровью.

Тревога носилась в весеннем городе: как-то встретят томичей в Москве? посланцы принесли непростые вести о смуте великой.

Не ко времени тогда прибыли в столицу томичи. Царь только что мятеж пережил. Его шурин - Борис Морозов глядел куда-то на западные страны, вводил перемены великие. А они всегда только болью для простых отзываются.

А зять, Илья Милославский, родичей в Кремль тащил. Одним из них и был дядюшка Григория Подреза - Левонтий. Судей редко любят в простом народе, а в трудные дни и тем паче.

Когда толпы ворвались в кремлевский дворец, то первым схватили Плещеева. Морозов хотел его защитить, так и самого Морозова чуть не убили. Левонтий тогда был разорван на клочки.

А на следующий день вспыхнул в Москве страшный пожар. Сгорело много посадов. Морозова отправили в Кирилов-Белозерский монастырь подале от глаз людских.

После сих событий царя пугал и комариный писк. Потому и всякие волнения, где бы они ни случались, старались жестоко подавить. Не любили всяких недовольных, челобитчиков, просителей.

А народ потихоньку кипел, как котел накрытый крышкой, где вода ключом ходит, да ее не слышно. Народ чувствовал шкурой, что новшества, взятые из за границы, на деле-то оборачиваются новой кабалой еще страшнее, чем прежняя.

После горькой вести из Москвы Григорий все чаще задумывался. Ведь на дядюшку у него такая надежда была. Выручит, из ссылки вызволит. Теперь той надежды нет. Еще прочнее теперь невидимой цепью прикован. Заваруха, которая тут началась, его не приведет к вольной дороге. Он это понимал.

Что делать? Где укрыться от душной тюрьмы, от кнута, от палки, от всего, чем богата земля русская, в чем она не скупится и щедро одаривает наиболее отчаянных своих сыновей?

Был у Григория дорожник, рисованный неким розмыслом. На дорожнике были рисованы "вавилонны" да реки, изображались горы, и словами писалось, куда можно проехать царством сибирским.

Сказывалось между прочим: "сякому хотящему в Старую Мангазею удобен есть путь от града Тобольского Иртышом вниз и Обью, мимо Каду и Березов, донедже в морскую губу. И достанет реки Тазу, да града Старая Мангазея. Другой же путь - мимо града Сургута, Нарымского, Кетского градов и до Маковского шествуют водяным путем. А от Маковского сухим путем на великую реку Енисей, на той реке стоит острог, зовомый Енисейской, а от того шествуют до реки Турухана, до града Новая Мангазея паки Туруханского. Тут же монастырь Боголепного преображения и великого святителя Николы. А то ли вверх по Турухану-реке сухим путем переход к Тазу-реке и вниз по Тазу до граду Старая Мангазея и морской губы..."

И воображение рисовало трудные переходы, стычки с туземцами, богатую охоту, курганы с кладами, водные и лесные просторы.

Слышно было, что аглицкие корабли заходят в ту губу, чтобы спускать на берег хитрых своих купчишек, которые обирают доверчивые прибрежные народцы, спаивая их своей аглицкой брагою, забирая связки лучших мехов. Они, аглицкие черти, добирались уже по нашим рекам и вглубь материка, проведывали путь в Китай.

Да, разве ему, Григорию, по пути с этими иродами? Он же писал Алексею Михайловичу письмо, что-де на севере Руси - ливоны, на юге - турки, надо двигаться Руси на восток. Конечно, царь сам то знает. Но Плещееву хотелось о себе напомнить, вдруг да вернут его в Москву, либо дело дадут ему по плечу. Не было ответа, видно, увязло где-то его письмо в Сибирском приказе.

И думалось о сгинувшем "в ливонах" отце, да о матушке, которая от зол, бед людских удалилась в дальний монастырь, да, уж, верно, не ждет никаких вестей от непутевого сына. Всегда относилась к нему с прохладцей. Были у него старшие братья, которых она любила. Но их скосила лихоманка, а он болел да выжил, этого она ему не может простить?

А томские дела нынешней весной многих волновали. Каждый ждал чего-то своего, хлопотал о своем.

Однажды утром опять явился к Григорию князь Михаил Иванович Вяземский. Князь сей нередко отдыхал у Григория от дел и забот. Был он тут без жены. Нередко по приходе князя Григорий говорил Дашутке, чтобы она причесала ему волосы. И они уходили в свободную комнатку "причесываться".

На сей раз князь не позвал Дашутку, он спросил только стакан вина. Выпив, сказал:

- Борис Патрикеев задурил. Хочет ехать в Москву с повинной, чтобы Илюшку Бунакова во всем обвинить, а самому чистым остаться.

- Да как же это? Все дела вместе с Ильей Микитичем вместе они делали, а теперь на попятный? Да разве же его за это предательство на Москве простят?

- То-то и есть, толку от сего покаяния не будет ни на грош, только наболтает там, что было и чего не было. Я чаю, он и на меня там может всякого навесить, гад ползучий! - заругался князь.

Князь Вяземский приехал в Томской к Борису Патрикееву, а уж если вникнуть в дело, то - скорее к сестре своей, Елене Ивановне, которая была замужем за Борисом.

В дни, когда князь познакомился с Томским городом, Григорий Плещеев находился в Кузнецке. Когда Григорий возвратился, то узнал, что в Томском и кроме него есть подпольный винодел изрядный, сам он князь, но не гнушается сего дела, а винишком спаивает инородцев да скупает у них задешево мягкую рухлядь.

Вскоре и познакомились. Если Григорий не мог приходить в дом к Патрикееву, где жил князь, то Вяземский мог приходить к Григорию всегда. Ему тут были рады.

Князь любил смотреть на парсуну, которую для Григория нарисовал прямо на стене светелки иезуит Петер Леонард, весьма гораздый на всякие искусные дела. Было изображено там: стоит и молится монах перед распятием, а позади него дьявол показывает похоть, в виде заголившейся бабенки, а также мужика без порток. Чревоугодие представало в виде отвратительных толстяка и толстухи, они хотели обнять друг друга, но не могли, ибо животы им мешали приблизиться друг к другу. Сребролюбие было в виде Иуды, который считает свои тридцать сребреников.

Вяземский пил вино, заедал гусятиной, хвалил парсуну.

- Струговым путем негодник Борька хочет утечь, - сказал князь, опоражнивая очередной стакан вина. Предает нас... У тебя кузнец есть?

- Как не быть? - отвечает Григорий, - у меня немтырь Пахом кует. А зачем тебе кузнец нужен, князь?

- Борьку заковать.

- Как? Зятя?! А что сестра твоя, Елена Ивановна, скажет?

- Да он ей давно надоел, у него от подлости его давно мужской силы не стало, лишь ученостью хвастает. На что он ей? Ни приплода, ни удовольствия.

- А-а! Почему не заковать? Позову Пахома, да и закуем - лучше не надо. Сгондобим!

Пришел мрачный до страха Пахом. Вышли во двор, сели на лошадей, поехали неторопясь.

Солнышко светило ласково. Возле моста мужики ловили сетями рыбу. На новых башнях на шпильях неподвижно застыли кованые железные флажки- ветреницы. Возле кабаков и постоянных дворов бессильно повисли на столбах "махалы". Их делали из пучков лент, чтобы реяли на ветру и звали посетителей. Возле постоянного двора к махале добавляли еще пучок сена, это значило, что здесь могут покормить и вашу лошадь.

Бревенчатые мостовые в городе обсохли, сквозь бревна пробивалась неунывающая травка. Копыта лошадок весело постукивали по стесанным бревнам.

Желоба-водосборники вели воду от речушек и ручьев в огромный бассейн, вырытый на площади и укрепленный срубом. Отсюда стали бы черпать воду, если бы, не дай бог, случился пожар. Таких бассейнов было несколько на Воскресенской горе, нижние посадки могли брать воду из великой реки Томы, да из Ушайки.

В городе, в центре жили только воеводы да дьяк, да подьячие. Их хоромы были самыми высокими и просторными, крыльца тоже были велики и украшены резьбой по перилам и столбам.

Подъехали к дому Патрикеева. Во дворе ходили дворовые люди. Кто телеги ладил, кто сено коням давал.

В доме их встретила Елена Ивановна, красивая и дородная женщина с собольими бровями, с вьющимся волосом, на затылке заколотым золотой с жемчугами заколкой.

- Борис дома? - спросил князь.

- Почивать изволит, - с иронической интонацией сказала Елена Ивановна.

- Разбудим в момент, - усмехнулся князь.

Борис Патрикеев пил весь этот день вино от страха перед будущим.

В мозгу вдруг прояснилось, как в солнечный день, он понял, что от суда не уйти, объявят изменником царскому делу, да еще и отсекут голову.

Как же так? Он, такой умный, осторожный во всех делах, предусмотрительный, не отказался вместе с Бунаковым властвовать в этом городе! Не захотел вместе с Осипом-князем под домашним арестом сидеть? Польстился на призрачную возможность повластвовать, заменяя второго воеводу.

И - все? Смерть? Да ведь сперва еще будут по тюрьмам мучить, пытаться, опрашивать. Ведь он кого сажал, кнутом приказывал бить? Лучших градских людей! Детей боярских! А у многих в Москве родичи знатные. Вот возьмут под стражу, увезут к Москве, а там подвалы есть глубокие, холодные, из которых живым редко кто выбирается. Да и здешние обиженные им люди, сами могут его прибить. Он даже писнул в штаны со страха. Потом заглушил страх вином, пил и пил его, не считая стаканов.

Сменил штаны, обругал Елену Ивановну, хотел куда-то идти, ноги не держали, свалился, уснул. Князь разбудил его пинком:

- Вставай, паршивая собака!

Вдвоем с Григорием схватили его под руки, оба - здоровяки, Патрикеев же - худой, легкий, костлявый. Потасили быстро к сараю.

- Только не убивайте! Князь, ты что? Мы ж родственники!

- Оный родич гаже пса смердящего, - князь сплюнул. - Да не дрожи ты, как холодец, больно надо тебя убивать, руки марать...

В сарае их ждал Пахом с железным ошейником. Ошейник надели на тощую шею Патрикеева, Пахом подогнул ошейник по размеру, затем в отверстия в ушках вставил раскаленный болт и, пригнув шею Патрикеева к наковальне, расклепал болт в ушках ошейника.

К ошейнику была прикреплена толстенная чепь, другой конец чеши Пахом приклепал к дверному пробою.

Григорий и князь принесли в сарай кувшины с вином, горбушку хлеба, взяли кнуты и принялись охаживать ими Патрикеева. Теперь уж он описал свои дорогие заморские штаны всерьез. Он вопил, орал, молил, рычал, рыдал, визжал. Но, истязатели, передохнув, вновь принимались за дело.

- Это тебе за сестру, за жизнь ее погубленную, за измену общему делу, за то, что шкурничал! - орал князь.

- Это тебе за то, что меня на допросе вором обозвал, за то, что Устинью мучил, за то, что меня в тюрьму упек, за то, что Устинья моего робеночка сбросила!

При последних словах Григорий так крепко перетянул Патрикеева кнутом, что тот пискнул и потерял сознание.

Выпили еще. Полили Патрикеева водой и снова принялись лупить. Князь бил, потому что не терпел предателей в любом деле, Григорий в отместку за тюрьму, за Устинью, а еще за всю свою жизнь непутевую. Иногда и жалость вдруг просыпалась в сердце, но в мозгу высвечивало яркое: "А меня жалели?!" и он вновь принимался лупцевать.

В конце концов, от Патрикеева стало вонять. Обделался, Пошли в дом, принесли ему другую одежду, князь сказал при этом:

- Чать одежи у тебя достаточно, наворовал, гад...

Так били они его три дня. Он поседел, сидючи на этой чеши, и потерял разум.

Потом уж чепь не снимали. Всем градским людям и Бунакову пояснили так:

- Бориса бог розума лишил. Кусается. Пришлось на чепь посадить.

## 24. КНИГА СУДЕБ

Борис Патрикеев лежал в сарае на старых перинах, выглядывая в щель, покрикивал:

- Радуга, радуга! Не пей нашу воду!

А радуги никакой и не было, но она у него светилась в глазах. Ночами к Борису приходил государь Иоанн Васильевич, но в странном виде; мантия была надета на скелет, череп скалился под шапкой Мономаха. Тем не менее, в одной руке скелета была Держава, а в другой - скипетр.

- Что, Борька? Заворовался? Бакшиш брал? Для того ли я Казань воевал? - спрашивал государь. И Борис Патрикеев выл от горечи и стыда. Иногда его крики не давали спать Вяземскому. Он выходил на крыльцо и кричал в темноту:

- Умолкни сволочь! Вот я тебя - кнутом!

Знатные томичи нередко захаживали к Вяземским с просьбой:

- Покажите Бориса.

И долго смотрели, как мечется на чеши бывший большой государственный человек. Они кричали Борису:

- Скажи, когда конец света?

- Скажи, каков будет урожай?

Иногда Борис выкрикивал вроде бы непростые слова, о которых томичи потом не раз вспоминали в тех или иных случаях. Раз он сказал:

- Черен котел да кормит, бел снежок, а простужает.

- А ведь верно! - умилялись горожане, дурака-то господь вразумляет, что сказать. А если Борис болтал беспросветную чепуху, то это они быстро забывали.

Все были очень огорчены, когда в разгар лета Борис скончался, как бы последнее свое развлечение потеряли.

После смерти Патрикеева князь Вяземский засобирался домой, в Москву. Он волен был ехать - куда хочет, формально он не имел к томской смуте отношения, в ней участвовал муж его сестры, но теперь он помер.

По поводу отъезда князя была устроена небольшая пирушка, на которой Григорий говорил загадочно:

- Плевать на воду, все равно, что матери в глаза. И направо плевать нельзя - там ангел-хранитель, а плевать надо налево - там бес. А еще слева у нас - сердце.

Что еще сказать на прощанье? Тяжко молоту, тяжко и наковальне, нас просят покорно, наступив на горло! Ну, давай, за попутный ветер!

Еще отстояли они обедню в Троицком соборе. Служил отец Киприан. Прямо перед Григорием и князем возвышался крест, чудно изукрашенный картинами. Сверху был изображен бог Саваоф, два ангела держали царскую корону над головой распятого Христа. На левой части перекладины изображен был Иоанн Богослов, а на правой - Матерь Божия. У ног распятого живописец поместил храм с надписью: "Бог посреди его и не подвижется веки". Ноги распятого опирались о череп с пустыми глазницами, сиречь главу нашего праотца Адама. А под главой сей - диавол в аду и на шее его - чепь, запертая замком.

Глядя на сию чепь, Григорий невольно вспомнил Патрикеева. Неужто он теперь в аду? Или же сочли возможным поместить его в рай? Или не искупил он своих грехов муками великими?

У левой ноги Христа - свиток: "Тебе, о, Христе, Царю веков, восходит слава от всех рабов..." У подножия креста - страсти Христовы. Петух на столбе, бич, меч, три воина, играющие в карты, стражники, которые делят одежду Христа. Копье, окровавленная губка, молот, гвозди, клещи, терновый венец, дымящийся факел, раскрытый мешок Иуды, с просыпающимися в него тридцатью сребренниками.

Все это изобразил здесь богомаз Герасим с особым тщанием и молитвой. Томичи, занятые все лето тяжкими трудами, не все умевшие читать, могли увидеть в соборе картины священной истории, умилиться, вспомнить о том, кто за всех нас принял на кресте муки. А многие после в морозные ночи не раз будут видеть это во сне. У каждого все эти картины будут жить в сердце.

Отец Киприан чинно вел службу, а о чем думал - не угадать.

Томские попы сперва горячо поддержали восстание, а теперь пошли на попятный. Поп Борис, напившись крепкого вина у князя Осипа Ивановича, явился однажды прямо на двор к Илье Микитичу Бунакову да начал обзывать его воровским воеводой. Бунаков, мягкий

человек, а тут - рассвирепел. Приказал дворовым своим драть попа за бороду, а затем раздеть и посадить в свой погреб на ледник, дабы охладился.

И, совершенно нагой, только с крестом на шее, поп Борис Сидоров пел на холоде духовное, дабы согреть себя и устрашать Бунакова. И Илья Микитич смутился и велел выпустить попа.

И вот пошел Григорий на берег Томи, где уже поднимали паруса корабельщики, а холопы торопливо таскали на дощаники имущество князя и его сестры.

Передовой дощаник был весьма лепо украшен. На носу корабля было изображение Поренуты. Он был в короне и имел четыре лика, обращенных на четыре стороны, чтобы мог уследить за всеми четырьмя ветрами. Пятый лик был на груди Поренуты. Его глаза были обращены вниз: Поренута должен был вовремя замечать подводные камни и мели. Чайки носились над водой, выхватывая зазевавшуюся рыбешку. На берегу горели костры. На горе достроили Воскресенскую церковь, а старую разбирали, свозили на берег, сжигали, а головешки спускали по реке, это делали, чтобы никто не взял намоленное церковное дерево для мирских нужд. Отправляли плыть по реке, по воле бога и волн, и старые иконы, изображение на которых потемнело и стерлось.

Отход кораблей благословлял поп Борис Сидоров. Духовник Подреза на леднике у Бунакова не только не утратил благолепия своего голоса, но даже добавил ему звучности. Поп был в длинной черной рясе, по всему ряду до низу шли серебряные пуговицы, ворот тоже был расшит серебром, вид пастырский и библейский придавала широкополая черная шляпа.

Борис кропил корабли, желал счастливого плавания. И словно вняв бархатному голосу священника, подул ветер, паруса кораблей наполнились и суда, как живые, дрогнули, рванулись, пошли быстрее, быстрее.

Григорий долго глядел им вслед.

Почему речная свежесть и крики чаек напоминают о свободе, о счастье, которые могли бы быть, но которых нет?

Отправившись, домой пешком, он свернул к мельнице, чтобы посмотреть, как смололи его зерно. Князь Оська недавно жаловался в Москву, что Бунаков да Плещеев на царевой мельнице за помол не платят. Ну и чертушка! Сам, когда у власти был, гроша ломаного за помол не платил. А теперь пишет, что умирает с голода, потому как ему зерно смолоть не дают. Вот боров старый. Погребов и амбаров ломаются от жратвы и - оголодал!

Григорий задумался о том, что будет, если снимут с поста Бунакова. И внезапно он запнулся обо что-то. Смотрит - веревка, дорогу ему преградили старцы Петр и Максим, Не раз проезжал мимо них. Все некогда было поговорить. Теперь они глядели на него с двух сторон дороги. С годами они не старели и не молодели, они как бы закаменели в пещерах своих, их маслянистые глаза смотрели живо и молодо:

- Чуем, брат, что смутно у тебя на душе, молись, брат, и станет легче.

Григорий глядел в глаза то одному старцу, то другому, но не читался страх в их глазах, а была только бесконечная доброжелательность.

- Скажите, старцы божии, какова моя дальнейшая судьба? Болящий ожидает здравия до смерти, но не лучше ли знать все наперед?

Старцы переглянулись, как бы поразмыслили немного, потом Петр сказал:

- Ты непростой человек и знаешь даже больше нашего. Окольно идти - семь верст, а напрямик - все пятнадцать. Книга судеб не на земле, а на небе, буквы в ней постоянно меняются и читать их может только бог. Спаси тебя Христос!

Кинул Григорий старцам кису с деньгами, а можно было купить на те деньги двух коней добрых. Старцы сказали:

- Спасибо тебе за щедрость, брат, мы дадим эти деньги на монастырь, самим-то уж ничего не надо. Мы за тебя помолимся, ты так и знай.

Григорий пошел потихоньку к своему дому, думая о том, каким бы он стал, если бы дожил до глубокой старости? О чем бы думал? Чем занимался бы? Он не мог представить себя стариком, когда не надо уже ни вина, ни женщин.

А через день Григорий сидел на островке, который образовали два рукава реки Ушайки, впадающие в реку Тому. Тут, в Бухарской слободе, было всего два дома, остальные -



были юрты. Два минарета торчали над слободой, как два гигантских огурца. В одной из юрт говорил с Григорием именитый здешний гость: Абу-Али-Магомед-Ага-Ибн-Абдурахман-Салих-Саид.

Он взял зеленую дудку, заиграл на ней тягучую и странную мелодию, тотчас из дудки потекла зеленая струя. Старик направил эту струю так, чтобы наполнить плошки. И вот, подал Григорию плошку с зеленым чаем и, уже раскуренный, большой кальян. Сам он потянул дым из другого кальяна, запил чаем и сказал:

О высочтимейший из высокочтимых и прекраснейший из прекрасных. Ты горишь в моем сердце, как огонек на башне Томского города, ты звенишь в нем, как самый большой урусский колокол во дни ваших больших урусских праздников. Все, что есть в моем доме - твое, чего нет в моем доме, пусть со временем тоже станет твоим. Скажи, чтобы я умер ради тебя, и я тотчас зарежусь вот этим кинжалом! - при этих словах он показал Григорию кинжал, рукоять которого была из чистого золота и заканчивалась огромных размеров рубином.

Григорию хотелось ответить так: "Да, я хочу, чтобы ты сдох, собака, и чтобы все, что у тебя есть, стало моим. Но я знаю, что ты не зарежешься, даже если бы я тебя стал на коленях просить об этом. И ничего ты мне не дашь из своего дома, кроме этого зеленого чая, да еще дыма из твоего кальяна. У тебя, старого хитреца, зимой снега не выпросишь. Но я вовсе не собираюсь у тебя ничего просить. Чтоб у тебя на лбу выросло то, чем ты делал своих нечестивых детей!"

Но ничего подобного Григорий не сказал, а прижал по-восточному руку к сердцу и заговорил так:

- Среди россиян немало искуснейших звездочетов, факиров и предсказателей судьбы. Но я знаю, что их искусство ни в какое сравнение не может идти с твоим. Поэтому я здесь.

Григорий передал купцу кису со звякающими в ней ефимками.

- О, щедрейший из щедрых! - прижав руку к сердцу и непрестанно кланяясь, весело заговорил Абу-Али... (и так далее). - Если бы я не боялся обидеть достойнейшего из достойных, то никогда бы не посмел принять столь щедрый дар. Он так велик, что щедрость твоя непременно должна быть воспета стихами лучших поэтов полуденной и ночной стороны. Я хочу тебе рассказать об ослепительном, могущественнейшем и известнейшем на востоке и западе, мудрейшем из мудрых прорицателе, провидце, кудеснике и маге Керим-Гассан-Берды-Раззак-Юсуп-Аббасе...

- Ты лучше отведи меня к нему побыстрее, чтобы я сам смог убедиться во всех его достоинствах! - не очень вежливо прервал Григорий купца, ибо Плещееву вся эта пышная восточная болтовня стала уже надоедать.

Купец хлопнул в ладоши, два совершенно черных арапчонка в белых рубашках подошли и подняли сначала старца, а затем и Григория под руки с подушек, и затем пошли за ними, обмахивая их на ходу опахалами из страусиных перьев.

Через несколько минут они вошли все в темную юрту Керима-Гассана... (и так далее). В темноте посреди юрты тлел небольшой очаг, дым уходил в небо. В неверном свете костра Григорий не сразу разглядел стены юрты, где были развешаны черепа людей, сушеные, крокодилы пустыни - вараны и что-то еще непонятное простому человеку.

Мудрец был черен, морщинист, одет был только в набедренную повязку, да на голове имел чалму. Он выслушал пришедших и сказал коротко:

- Я предсказываю судьбы в исключительных случаях. В последний раз я делал это сто двадцать три года назад в Шемархане. Это требует всех сил, общения, как с небом, так и с духами подземными. Но я вижу, что этому человеку необходимо мое искусство...

"Ври больше, - подумал Григорий,- ты заметил, что у меня оттопыривается кафтан. Ладно, я достану деньги, чтобы ты перестал переливать из пустого в порожнее и побыстрее принялся за дело".

Григорий брякнул кисой с серебром, подал ее магу. Тот сверкнул глазами, поспешно пряча серебро под какие-то махры. Затем сделал величественный жест:

- Мы должны остаться вдвоем!

Абу-Али (и так далее) поспешно удалился, пятась и кланяясь. Мудрец пригласил Григория присесть на засаленные подушки. Затем подал гостю плошку с чаем:

- Пей!

"Всегда у них зеленый чай!" - подумал мрачно Григорий, - "покормить, небось, не догадаются. Чай да сладкие слова на закуску..."

Старик, между тем, взял веревку, намотал себе на руку, дунул, плюнул, и веревка на руке превратилась в отвратительную, блестящую слизью, буроватую змею. Она глядела на Григория своими немигающими глазками. Старик вскрикнул: "Кюн-вог!", тряхнул рукой, и змея скатилась на землю колечками бронзовых браслетов. Старик подал один браслет Григорию:

- Возьми! Храни, как зеницу ока.

Отхлебнув из пиалы, Григорий почувствовал, что чай у этого старика вроде бы и не чай. От выпитого померкло в глазах и замельтешили в них огненные мотыльки. В это самое время старик высыпал на уголья костра пригоршню зеленого порошка. Удушливый сладкий дым наполнил юрту.

- Ты - что? Уморить хочешь? - сердито заговорил Григорий, кашляя и чихая.

- Молчи! - строго сказал старик, - это индийский порошок. Пятьсот лет назад его привез моему дедушке великий шейх Акбар. Я буду читать, потом ты будешь видеть. И маг монотонно затянул:

- Васса, вахарман-тюльгули, джамаатхана, шийпан, намазгох, михраб-далана, рабат-ошхона, мазар-хаули, шийпан-чилляхана, шарваразари-чартак, намзгах, бурчулай!

Крокодилы разинули пасти, столетние черепа пыхали огнем из пустых глазниц и скалили полусгнившие зубы. Григорий почувствовал, что перед его глазами начинают проплывать люди, лодки и животные.

- Что это?

- Куда ты хочешь заглянуть? На сколько лет вперед? - спросил великий маг, а может, это был голос с неба. Совсем не старческий, громоподобный.

- Сперва - на десять, потом еще на двадцать хочу заглянуть в свою жизнь, - ответил Григорий.

В голове что-то чуть слышно прозвенело, словно кузнечики на поляне тренькали на своих гусельках. И Григорий увидел крепости не крепости, дома не дома, в них было по девять этажей, они были совершенно одинаковы, а меж них была дорога, изумительно гладкая, сделанная из чего-то серого, и по ней без лошадей, сами-собой, как в сказке, мчали людей железные, крытые повозки. И дорог таких было много, и домов много. А окна домов были в рост человека.

- Где мы? - изумился Григорий.

- Я стал стар, - ответил мудрец, - порошка слишком много насыпал и перепутал слова. И мы попали не в то время. Это город Томской через триста пятьдесят лет.

А этот красивый дворец из красного кирпича совсем недавно был обком-турой. Был тут свой хан, были у него беи. В каждой из сорока комнат сидел или инструктор-бей или инспектор-бей.

Видишь, этот дворец как раз на месте нашей юрты стоит. Теперь в нем не обком-тура, а греховная ханака, куда собрали изображения людей и животных. А как известно, рисовать их запрещено исламом. Но урусские малики развесили картины по стенам. И народ приходит сюда смотреть.

А напротив - белый дом, где сделаны такие огромные окна, что похожи на стеклянные стены, это прибежище лицедеев и фигляров. По-нашему это дервиши, а по-вашему - скоморохи. В каждом веке люди грешат одними и теми же страстями.

- Зачем мне это? Какое это имеет отношение к моему будущему?!

- В этом городе будущего есть человек, имеющий отношение к твоей судьбе...

Григорий решил, что факир сей спятил с ума по старости лет. Но тот показал ему девятиэтажный дом. Таскала людей вверх и вниз железная коробка, похожая на нужник, подвешенный на металлических веревках.

В двух комнатах этого дома не было мебели. Там был старик. Он писал на бумаге, зачеркивал, бормотал, вскрикивал. Иные слова старика Григорий вовсе не разобрал.

- Люди! Страсти! - воскликнул старик. - Белые. Красные. Государственники. Рыночники. Деда и отца убили, мать уморили. И мою съели жизнь. Свобода! Дочь уж и не увижу. Денег на билет нет.

Глазами ослаб. Написал книгу, издать не на что. Графоман мигом тиснет, все двери лбом пробьет. Бумага - серебро, обложка - золото, слова - навоз!

- Кто это, о чем он? - спросил Григорий.

- Забыл я, как в будущем такие люди называются,- сказал йог,- ну, вроде, монахи. О людях пишет, для их пользы. В одежде и питье обходится малым, радость видит в труде, за который получает пинки да болячки.

- Зачем мне его видеть?

- Так он про тебя пишет. Ну, как ваш князь Шаховской писал про поход Ермака в Сибирь.

И понял Плещеев, что старик этот сейчас как раз вглядывается в него, Григория, в его время, видит томский град с его башнями, чайками над водой, петухом на тыне, флажками-ветреницами, гидравлюсом на плотине.

Григорию хотелось спросить летописца, как он узнал про его время и про самого Григория? И каково старику живется в каменном граде, где не осталось ручьев, озер, шумно и дымно? Как жить без чистых рек, лесов и полей?

Но картина города будущего замерцала и исчезла.

- Разучился я, - сказал маг, - годы не те.

- Ты теперь не так далеко, а лет на пять вперед загляни.

- Нет. Я лишь раз могу прочесть волшебное заклинание. Повторить это возможно только через сто лет.

- Ну вот, за такие-то деньги!...

- Не огорчайся, то, что ты видел, тоже ведь твое будущее. Старик-монах, помогай ему аллах, напишет твою историю и многие люди прочтут ее. Они будут вместе с тобой негодовать и огорчаться, любить и ненавидеть.

Разве я маг? Разве я чудотворец? Я много умею: я могу лечить желчью ящерицы лихорадку, сушеным глазом крокодила могу исцелить женщину от бесплодия. Я много чего могу. Но того, что может этот старик, я не могу, да продлит аллах дни этого Хафиза! Да пошлет он ему спонсор-бея! Пусть напечатают твою историю золотыми арабскими письменами в чудесной книге, в переплете из самого лучшего пергамента.

И будет книга долго нетленной, и очень многие, пусть даже не очень добрые, люди будут жалеть тебя, будут грустить о том, что могло у тебя быть да не исполнилось, будут оттаивать сердцами.

- А на что мне их жалость, если меня к тому времени все равно давно уж не будет?

- Не говори так, уважаемый из уважаемых, никто не знает: где мы есть и - когда? Мы, люди, видим только мираж знания, а подлинное знание имеет один лишь великий аллах... Прости меня, я старый человек, мне было сто лет, когда я жил еще в Шемархане, а с тех пор много воды утекло. Я больше не задерживаю тебя...

Туман рассеялся. Григорий, выйдя из юрты и вдохнув свежего речного воздуха, подумал, что он спал от дьявольского чада и дыма, и ему приснился странный сон. Зря потратил целое состояние на басурманский чай и табак. Что могут знать выжившие из ума скоморохи?

Григорий сунул руку в кيسет, куда он положил подаренный стариком бронзовый браслет. И гнев охватил Плещеева, ибо браслет тот обратился в круглую, засохшую каральку собачьего дерьма. Вернуться? Набить предсказателю рожу? Но рука на такого древнего старца не поднимется. Дудочки зеленые! Кальяны! Пропади они пропадом!

## 25. СТРЕЛА ШАЙТАНА

Все в этот год было странно. Ночью в небе появилась хвостатая звезда, была долго, потом улетела. С неделю белки шли через великую реку Тому, скакали по пашням и через посадки, хоть бери их руками.

Это, говорили знающие люди, к великому гладу, большим смутам, к морю. Попы в церквах принимали явки от казаков и крестьян, но и у детей боярских явки брали, заверяли все печатями и прятали в ларцы вместе с церковными бумагами.

Было в иных бумагах писано против Щербатова, а в иных - против Бунакова. Пятница не суется вперед четверга. Бумаги в церковных ларях хранят людские обиды и мысли. Кто будет истину искать, тот сюда обратится. Тут не пропадет.

Кучерявый, русобородый воевода Бунаков службу правил толком, жалованье казакам платил сполна, ясашных зря не обирал, не обсчитывал. Про него уж не скажешь, что в царстве слепых и кривому честь. Наш!

Однако, если человека упекли в тюрьму, так он вовек не забудет, кто это сделал. Если у человека хоромы пограбили, у жонки его серьги из ушей с мясом вырвали, не забудет он того по гроб жизни. Дети боярские на Бунакова зуб имели, большой зуб. Да только пока его в поповской шкатулке спрятали. Придет наше время!

Ясашные тоже разные. Князец Изегельдей думал так: Щербатой-то самим царем был назначен, а Бунаков выбран казачишками и прочими томскими людишками. А кто - старше?

Изегельдей ночью пробрался ко двору князя. Приедут из центра подьячие, будут считать, чем меньше в доме пушнины найдут, тем и лучше.

Князь Осип проявлял военную хитрость. Выходил с кувшином вина к казакам, стоявшим в карауле возле ворот, садился на лавочку:

- Вам служба, казаки, спать не дает, мне - обида, стережете меня аки врага. Берите стаканы, погреемся...

А в это время с другой стороны двора княгиня Аграфена да княжич Константин тюки через тын бросали. Людишки Изегельдея по-рысьи исчезали во мраке.

Но не все люди племени были верны Изегельдею. На другой день двое к Илье Микитичу пришли. Изегельдейка, мол, отправил Оськину пушнину, да письмо для царя с холопами своими. Теперь они бегут тайными тропами до самой Обы-реки.

Призвал Бунаков Григория. Поедешь? А Григорий уже чувствовал, что томит его безделье, а тут и дело само нашлось.

Переправились через Томь, углубились в таежные дебри. Отряд затерялся среди стволов.

Предавшие Изегельдейку Тогурма да Апса и вызвались быть проводниками. Григорий взял в свой отряд Бадубайку, Томаса-Ваську, Дашутку - рыжую шутку - да глухого Пахома.

- Мало! - сомневались проводники, Изегельдей - не просто мурза, он колдун большой. У него и отец, и дед - все шаманами были. Хочет - делает гром, хочет - шлет туман.

- У нас один Бадубай за десятерых сойдет, - отвечает Григорий, - он, как наестся да гунет, так половина тайги провалится. А Дашка под Кузнецком мою крепость от целой армии спасла. Так что - не пропадем. В это время над его ухом стрела свистнула. Оглянулся - никого. Стрела в дереве дрожит. Подскакал Григорий, выдернул ее из сосны.

Наконечник был позолоченный в форме шайтана. А ведь известно, что такие наконечники нехристи используют, когда хотят войну объявить.

Бадубайка, увидев стрелу, сказал, что он возвращается домой, он вовсе не желает идти к духам, он желает есть, пить, любить женщин и дышать воздухом.

- Ты трус! - ругал его Григорий.

- Я не трус, - отвечал он, но я не прозрачный богатырь, через которого можно смотреть как сквозь воздух.

- А что это за богатырь такой?

- Такие рождаются в нашей тайге раз в двести лет. Это когда женщина беременеет не от мужчины, а от духа осенних ветров. И тогда этот человек бывает во время боя прозрачным, как воздух, стрела пролетает сквозь него, не причиняя ему никакого вреда. После боя он снова делается, как все, сидит, ест, пьет. Живет, как все.

А я не прозрачный. Меня уже дважды ранили стрелами, да еще стрелы-то были с отравленными наконечниками. Я сам вырезал их ножом из руки, да сам высосал яд с кровью. Потому я живой.

А ведь я недаром - князь. Меня с детства учили воевать. Меня ставили на поляне и стреляли в меня тупыми стрелами, а я должен был вовремя увернуться от стрелы и заслониться щитом. Потом меня учили стрелять и попадать в маленькие кедровые шишки. Я хороший боец, и все равно меня уже дважды в моей жизни ранили. Но стрела шайтана - это верная смерть. Надо повернуть отряд обратно, нас и так мало.

- У нас есть огненный бой! - напомнил Григорий. - Вообще, веди себя, как мужчина, как князь.

- Ты не знаешь наших колдунов. Воины Изегельдея уже напились сока мухоморов, стали кровожадными, как росوماхи. И еще я знаю, что князь - Осип дал Изегельдейке огненную палку. А его воины в тайге движутся, как тени, бесшумно. Они идут тише, чем падает на землю осиновый лист.

- Пуганая ворона и куста боится. Сколько слов ты потратил из-за того только, что у тебя кишка тонка, чтобы воевать.

- Я не трус! - упрямо твердил Бадубайка. - Но ты любишь громко ходить, любишь жечь костер. Тебя они будут видеть, а они для тебя в тайге всегда будут невидимы. И они победят. Они нападут на нас сонных. Так ведь погиб и великий воин Ермак!

- Ну, Бадубай, тогда ты будешь нас охранять, когда мы будем ложиться спать.

- Нет, нет! Меня нельзя ставить в караул, я могу уснуть, меня всегда вечером клонит в сон, я с детства - такой, - быстро заговорил Бадубайка.

- Мы тебя назначим в караул вместе с Дашкой, уж с ней-то ты точно не уснешь! - пошутил Григорий.

В это время несколько лесин упало на тропу, по которой ехали путники. Кони поднялись на дыбы и заржали.

- Ай, я же говорил! - воскликнул Бадубайка, - смотри, лесины подрублены нарочно так, чтобы упали на нас!

Свернув с тропы, путники неожиданно увязли в болоте. С вида это была поляна, поросшая высокой травой и Иван-чаем. Кони не могли вытащить ноги из хлюпающей жижи и погрузились в нее все глубже.

- Прыгайте к деревьям! - закричал Бадубайка, - цепляйтесь за ветки!

Григорий вытаскивал ногу из стремени, когда в нее вонзилась стрела, тотчас же в грудь ударила вторая, но только щекотнула тело острием, так как под полукафтаном у Григория была кольчуга.

В грязи и крови, цепляясь за ветви талин.

Григорий выбрался на бугор. Вскрикивали Тогурма и Апса, в того и другого вонзились стрелы. Радостно взвизгивали сидевшие на деревьях с луками Изегельдейкины воины.

Кони жалобно ржали, из трясины торчали только их головы. Но вот последний конь потонул.

Одетый в тяжелые латы, Томас успел спешиться на краю болота, Укрылся за корягой, тщательно выцелил одного из лучников и выстрелил. Ударила из своей пищальки и Дашутка. Грохот перепугал Изегельдейкиных воинов, они спрыгивали с деревьев и пускались наутек.

И тут вышел вперед Изегельдей:

- Стойте сыны мышей и зайцев! Стойте недостойные зваться воинами! У нас тоже есть огненная палка. Я сейчас буду убивать врагов ее огнем!

Он нацелил свою пищаль прямо в грудь Григорию. Дашутка кинулась загородить собой своего хозяина и друга.

Стукнул камень, со страшным грохотом разорвалась пищаль в руках Изегельдея. Потрясая окровавленными руками, Изегельдей принялся топтать упавшую на землю пищаль. Он рычал при этом, как зверь. Остатки еще сильнее припустились бежать, вопя:

- Огненные духи не послушались князя!

Григорий успел выстрелить им во след и крикнул:

- Знайте, поганцы, как противиться нашему огненному богу!

После боя сделали привал у ручья. Григорий извлекал стрелы у раненных, рассекая тело кинжалом, дабы вытащить наконечники. И тут же прикладывал к ранам травы, целебный бальзам. Тогурма вытерпел операцию молча, Апса подвывал и причитал:

- Нас мало, а их много, в Изегельдейкином городке человек три раза по сто. Григорий сделал себе перевязку на рану. Сказал Апсе:

- Не трусь. Я научу тебя стрелять из огненной палки.

- Не хочу. Я видел, что стало с Изедельгеем.

- Изегельдей сам виноват. Он обидел огненную палку. Он слишком сильно накормил ее зельем и слишком туго забил ей в рот свинец. Так ему и надо! Бадубайка покачал головой:

- Теперь у нас нет коней. Изегельдейка жил со стариком отшельником, у которого в животе по ночам пел маленький кузнечик. Тот старик если плевал в тайге, то из каждого плевка получалась жаба. И она была не простая. Если кто к ней прикасался, тот час же становился маленьким, как муравей, и даже меньше. Такие маленькие люди до сих пор живут подо мхами и лишайниками в бору возле реки Обы.

Изегельдей обязательно напустит на нас шайтанов, и мы все пропадем. Или он сделает нас маленькими, меньше муравьев.

- Не ной, Бадубай! - отвечал Григорий. - Против шайтанов и прочей нечисти у нас есть кресты на груди. Тебя мы тоже можем крестить, и тебе сразу станет легче.

И когда зашли за лесок, где было небольшое озерко, Григорий затолкал Бадубая в озеро, велел ему окунуться с головой, поднял крест и возгласил:

- Крещается раб божий Никола!

- Будешь Николаем теперь, - сказал он мокрому Бадубайке. Тот дрожал от холодного купания и говорил так:

- Крещаясь, не крещаясь. Хоть я Никола, хоть Бадубай. Я всегда в созвездии ковша видел звезду, значит - зоркий, я мог догнать зайца, я мог ломать сухое конское бедро. Но я знаю, Изегельдейкин шайтан заведет нас к Балабайкину острову. Там среди болот всегда кто-то звонит, пропадем...

Пешком идти по тайге было трудно. Ночевали на холме, где было посуше. Встали на рассвете, продрогшие, изъеденные комарами. И все потому, что Бадубай-Никола настоял, чтобы не разводили костер, не привлекали к себе внимание.

- В земле черви, в воде - черти, а хуже чертей комары в тайге! - сказал Григорий. - Когда будет жилье?

- Жилье будет возле Обы, это Изегельдейкин острог, - пояснили остяки. - Тот острог нам не взять, там их много, а нас, как пальцев на одной руке.

Продирались сквозь заросли шиповника, боярки, смородинников и кисличников. Туман, как молоко, лежал в ложбинках. Удивительные по размерам грибы-боровики неожиданно высывали черные и коричневые шляпы из мхов.

Вдали что-то такое брезжило. И еле слышный звон донесло ветром.

- Так я и знал! - схватился за голову Бадубайка, - шайтан нас уже на Балабайкин остров затащил. Теперь мы пропали. Здесь будем помирать.

- Каркаешь, как ворона! - воскликнул Григорий, - где остров?

- Где, где! У нас под ногами! Видишь кедры? Колокол слышишь? Мы на острове. Все, кто сюда близко подходил, - помирали. Изегельдей колдовал и нас шайтан привел прямо сюда. Я так и знал! Я говорил! А ты меня купал в воде и думал, что это поможет!

Григорий слышал звон колокола все явственнее. Вдруг он увидел в траве скелет человека, неподалеку от него лежал и скелет собаки.

- Охотник помирал, - шепнул Бадубайка, - мы тоже так будем теперь лежать.

Прошли дальше среди приземистого и кривого вырождающегося кедрача. Стали видны привязанные к кедром берестяные короба.

Григорий махнул саблей, разрубая берестяной короб, из него вывалился скелет ребенка. Другие малые скелеты Григорий обнаружил в дуплах деревьев.

Кое-где находились ножи и наконечники стрел, мониста, браслеты. Но все это было из меди. Серебра и золота здесь не было.

Откуда же - звон? Он раздавался то громче, то тише. Наконец Григорий вышел на полянку, где одиноко стоял толстый кедр, к одной из его ветвей был привязан корабельный якорь, внизу, впившись острыми лапами в землю, покрытую мхами и лишайниками, располагался - другой. При порывах ветра ветвь качалась, и верхний якорь ударялся о нижний.

Григорий вдруг почувствовал удушье. Оглянулся на спутников. В ужасе держался за горло Бадубайка, встав на четвереньки, крутила головой Дашутка. Томас с вытаращенными глазами пытался сорвать с себя латы, Тогурма и Апса с воплями катались по земле. В воздухе чувствовался приторный запах, он как бы забивал грудь.

Григорий вынул из-за пазухи белый плат, намочил в ручье, стал через него дышать и стало легче.

- Мочите в воде тряпицы, у кого есть, рвите рубахи, мочите, дышите через мокрое, и айда отсюда - быстрее!

Григорий шел, падая, подбадривал других. В голове словно сидели кузнецы со своими наковальнями и молотками.

Оглянувшись, Григорий увидел, что Дашутка обмерла, не движется. Побежал, подхватил ее, поволок.

Выбравшись на горку, увидел Григорий позади ров с бурой жидкостью. - Все живы? - спросил.

Не было немтыря Пахома. Григорий хотел послать за ним Томаса, но передумал и пошел сам. Раненое бедро болело, голова кружилась, но он упрямо шел вперед, прикрывая нос мокрой тряпицей. Пахома он нашел возле кромки оврага.

Григорий подхватил его под руки и быстро потащил. На горе, на ветерке, он прыскал ему в лицо водой, тер виски заговоренной мазью, все было бесполезно. Григорий прижал ухо к груди Пахома, долго слушал, но сердце немого тоже онемело.

Григорий приказал рыть на горе могилу, а сам принялся тесать кинжалом валежины, чтобы смастерить хоть какой-то крест.

Когда похороны были окончены, Григорий взял бересту, вернулся к тому месту, где был найден Пахом. Там в склоне оврага была трещина, из которой и вырвался терпкий дух. Григорий ударил огнивом по кремню, зажег бересту и швырнул в сторону расселины. Тотчас взметнулся высокий столб пламени.

С опаленными волосами и бровями Григорий бежал, прыгая через кочки и ямы, как олень.

Увидев пламя, завопили и кинулись бежать остяки, а за ними и все остальные. Григорий с трудом нагнал свой отряд, уже за горой у тихого синего озера.

Здесь дышалось легко, свистели птицы. Григорий оглянулся назад: над Балабайкиным озером бушевало море пламени.

Григорию доводилось уже читать о колдовских пещерах с горючим газом. Но такие пещеры по описанию находились где-то в арабских землях.

## 26. СМЕРТЬ ИЗЕГЕЛЬДЕЯ

Князец Изегельдей кое-как добрался до одного из своих городков возле реки Тумки. Рука, обожженная огнем урусской боевой палки, болела, воины устали. Русских надо было ждать в крепостце. НаТумке с двух сторон по берегам были прорыты подземные ходы. Старая уловка! Охотник- воин мог из обласка по подземному ходу пробраться в кусты на берегу, где его было бы не видно, и - наоборот, мог скрыться от врага в кустах, а через минуту оказаться в своем обласке на реке.

Через Тумку в нескольких местах были протянуты веревки, к которым привязывались старые железяки, дабы наделали шума, когда кто-либо наткнется на такую веревку.

Подобные сигнальные веревки были натянуты и на суше, в лесах, в кустарниках и среди болот, К нам не подплывешь, не подъедешь!

И еще воины Изегельдея внимательно следили за гнездившимися у озер и проток куликами. Сороки и вороны тоже могут предупредить об опасности.

Тюки с пушниной князя Осипа были попрятаны не в городке, а в лесу, в самых неожиданных местах. А лучше всего Изегельдей спрятал письмо, которое князь Осип адресовал белому царю. Письмо Изегельдей отдал своей жонке, красавице Нафисе и велел держать в штанах, туда не полезут.

Когда маленький отряд Плещеева приблизился к Изегельдейкину городку, Бадубайка засомневался:

- Не подойти. Изегельдей знает всю воинскую хитрость, он знается с шайтанами, лучше нам повернуть назад.

Григорий задумчиво глядел, как по реке Тумке, коричневой, как китайский чай, плывут валежины, сцепляясь корнями.

- Подплывем на валежинах, укроемся ветками, - сказал он.

- Я не умею плавать, на меня тайшолоый лат, - тотчас возразил Томас.

- Сам буду тебя держать, хоть тоже плаваю, как топор, - сказал Григорий, - Кому поживется, у того и петух несется.

Скрепили несколько валежин, наломали веток, легли на валежины, укрылись ветками. Плот медленно пошел по течению, к Изегельдейкину городку. Задели веревку, лесные воины всполошились, но не сразу разглядели, что на валежинах плывут люди. А потом было поздно, плоты подошли на расстояние, с которого можно было бить из пищалей.

После первого же залпа защитники городка взвыли, спеша укрыться за стенами.

- Лихо не лежит тихо! - вскричал Григорий и помчался по кочкам к стене, слыша, как возле одного и другого уха свистнули стрелы.

Лесные лестницу убрать на стену не успели, Григорий вцепился в нее, полез. Оттолкнули лестницу, но он успел ухватиться за край стены.

Кафтан на нем порвали, рубанули по груди топором, но спас его массивный серебряный крест. Григорий рубанул по топору саблей, она сломалась. Отбросил бесполезный обломок, выдернул из загородки стяжок, размахнулся, сразу двоих сбил.

В это время со стены ударила пищаль Томаса. С визгом соскочила со стены внутрь городка Дашутка, волосы ее были распущены, глаза вытаращены, когда у нее выбили из рук пищаль, она впиалась в руку одного из воинов зубами.

Григорий был весь в поту и крови. Не думал о ранах, о смерти, но жил азартом битвы, подобрав чей-то топор, принялся рубить всех, кого мог догнать. Изегельдейкины людишки кинулись бежать. В этот момент со стороны стены опасно глянул Бадубайка:

- Мы хорошо сражались, да? - сказал он Григорию.

- Благодаря Христа борода не пуста, три волоска, а все растопорщились. Но я тебя, Бадубай, в битве как-то не заметил.

- Разглядишь ли всех в такой толчее?

- Либо невод худ, либо рыбы нету тут. - Григорий погрозил пальцем, - медведь еще в лесу, а шкура его продана? Беги-ка, Бадубай, да вяжи Изегельдея, спрашивать будем.

Бадубайка неохотно отправился на поляну к шатру. Сунул туда голову и тотчас с воплем отпрянул:

- Ай! Глаза лишился!

Оказалось, что в шатре была одна лишь жена Изегельдея - Нафиса, она и ткнула головешкой в лицо Бадубаю.

Григорий посмеялся:

- Жонка повергла витязя!

Отмахнул палицей полу шатра, Нафиса и в него запустила головней, но он отбил ее палицей. Вскочил внутрь, поймал женщину за запястье, на руках Нафисы брякали большие серебряные с чернением браслеты.

Произошла некоторая, неравная борьба. Заглянувшему в шатер Бадубаю, Григорий сказал:

- Сгинь, второго глаза лишишься...

Через минуту шуточной борьбы с Нафисой на пыльных кошмах Григорий сказал;



- Я знал, что тут, всегда можно найти интересное, но не догадывался, что найду еще и письмо князь-Осипа к царю. Ну и плутовка!

- Шайтан! - воскликнула Нафиса, небольно ударяя Григория по щеке маленькой ладошкой. Она не поняла слов, но поняла интонацию. И ответила по-своему:

- Кажется, тебе интересно не только письмо.

- К жонке, как и к необъезженной лошадке, надо подходить с умом! - сказал Григорий Бадубаю, покинув шатер.

Через какое-то время в городке послышался великий шум. Григорий выглянул из шатра и увидел, что Томас, Апса и Бадубайка ведут за руки избитого, окровавленного Изегельдея.

- Его же людишки сами его поколотили, - сказал Бадубайка, - обиделись, что слишком много он воинов погубил. И тюки наши там видали, их теперь Тогурма стережет.

- Пустите вы его, куда он денется? - сказал Григорий, - у него и так рука болит, сам себя покалечил. Да еще Илья Микитич за измену ему пропишет ижицу. Рука подживет, так задницу кнутом в кровь обдерут, заречется на всю жизнь воевать...

Только Изегельдея отпустили, он с диким воплем кинулся к стене, подпрыгнул, подтянулся на руках и, спрыгнув на другую сторону стены, бросился бежать по тайге.

- На коней! - крикнул Плещеев. Бадубайка и Апса вскочили на коней, стукнули пятками им в бока и вылетели в ворота.

Изегельдей визжал и мчался по кустам и кочкам, не разбирая дороги, изрыгая между визгом самые злые проклятия, какие только знал. Казалось, его и на конях не догнать.

Вдруг беглец схватился за живот и упал, перевернувшись раза два. Подскакали Бадубайка и Апса. Из спины Изегельдея торчал наконечник пронзившей его насквозь стрелы.

- На свой же самострел наткнулся, - со знанием дела сказал Апса, - насторожили самострелы на всех тропах вокруг городка, оборону держали.

Обидно от своей стрелы умереть. Поволокли Изегельдея, чтобы показать Григорию.

- Жаль, - сказал Плещеев, - князь был смелый, хитрый и воин изрядный. Ну да кузнец кует, дует, сам не знает - что будет.

Быстро обшарили городок. Добыча была невелика: несколько связок мехов, да короб вяленой рыбы. Сети, корнекопалки и прочий хлам - не взяли.

В качестве военной добычи Григорий взял низкорослых и тощих лошадок, несколько пленников, среди которых была Нафиса, на которую косилась Дашутка.

Ехали быстро, болели раны. Бадубайка рассказал о том, что ходит по здешней тайге красивая девка, водит собачку на золотой цепочке, а пригласит в шалаш, да скажет так: "подай-ка мне шубу", не притрагивайся к ее шубе, там капкан насторожен.

Поймаешься в капкан, она будет отрезать от тебя по кусочку, да жарить над костром, да есть. Она этим и живет: заманивает охотников, а потом кушает их. Григорий затянул песню казакскую:

По Иртышу по-быстрому  
Там плыла лодка разукрашена,  
Там плыла лодка разукрашена,  
Молодцам-гребцам изусажена.  
На корме сидел атаман Ермак,  
А в носу сидел асаул Кольцов,  
Среди та лотачки золота казна,  
На златой казне красна девица.  
Она плачет и как река течет,  
Она плачет и как река течет.  
Не плачь, девушка, не плачь, красная,  
Прослезился сам атаман Ермак:  
- Возьму замуж я тебя за себя,  
Возьму замуж я тебя за себя,  
А на-на-на. - золота казна.

Ехали крадучись. Зорко глядя вперед, чтобы не попасть в засаду. Ночью светила им луна - казацкое солнышко. Филин-Гукуг ухал, пугая женщин.

А утром они были уже на Сакурсине, увалы, увалы. И вот с крутого холма стала видна река Тома, а за ней посады с острогами и башнями, Томской город на высокой горе, маковка Троицкого собора выше всех башен.

Бодро поскакали к колмацкому торгу, там как раз торговля шла. Миновали торг, двинулись мимо Юртошной горы к горе Воскресенской.

А на склоне Юртошной горы женский монастырь для женок погибших казаков. И жонки эти встретились - все в черном, глаза в землю смотрят, несли жонки-монашки водицу на коромыслах и ведра все - полные. К добру!

Мост переехали, в гору к въездной башне взбираются, навстречу казаки бегут:

- Ну, как?

- Хорошо, - говорит Григорий Плещеев,- добыли для воеводы нашего Ильи Микитича Оськину пушнину, да его же подлое письмо, которое он в Москву хотел отослать.

Правда, злодея Изегельдейку живым не удалось привезти. Зато холопов себе взяли...

- Ладное дело, - похвалили казаки.

А тут кыргызцы с Колмацкого торгога прискакали и тоже к въездной башне ткнулись.

- Чего вам? - спрашивают часовые.

- Нам воеводу Осипа надобно, - ответил старший кыргызец, седой и весь в морщинах. Казаки взбеленились:

- Ах ты, ирод! Вора Оську воеводой называешь?! - И принялись лупцевать кыргызцев нагайками. В съезжую поволокли: измена! Оську воеводой кличут!

Илья Микитич разобрался: кыргызцы ничего не знали о томских переменах. На всякий случай ведено было их бить батогами, да отобрать деньги, которые успели на торге выручить. Дали им грамоту для ихнего тайши, де в Томском ноне воевода Бунаков, передайте и другим в степях своих.

## 27. ГРОМ И МОЛНИЯ

Грозы в августе бывают редко, но на сей раз бесы решили проверить Томской город. Силы небесные обычно бьют по бесам огненными, чугунными и каменными молниями, дабы поразить или хотя бы напугать бесовский сонм. Из-за бесов и невинные люди гибнут. Если бес прячется в тени дерева, молния в него бьет, прячется в доме, ударяет в дом.

Умный хозяин спасется, при каждой вспышке молнии он скажет: свят, свят, свят! Бабы во время грозы не ходят с растрепанными волосами, не подтыкают платье, чтобы не было места Анчутке. Всякую посуду опрокидывают вверх дном.

Полезно держать на чердаке али в чулане громовую стрелу - скипевшийся в виде пальца песок. Хорошо в грозу сыпать ладан на уголья в печи. И вот, в августовскую грозу молния попала в воротную башню, прорвалась в подвал, где лежали ядра и порох, ужасный взрыв потряс град Томской.

Илья Микитич прискакал к башне. Он понимал, что казаки грешники, они не ладан курят, а чертову траву, пьяными на пост ходят, ругаются непотребными словами. За их грехи и трахнуло. Да еще, может, Осип наколдовал. А князь Осип в этот момент смотрел с крыши своего дома и радовался: на бунтовщиков кара небесная!

Григорий же, как раз тогда, лежал пьяный на Толстом мысу, на могиле девочки-новгородки и смотрел на могилу Устиньи. В последние дни он все чаще приходил сюда с неизменной тыквенной баклагой, ложился на травку, прихлебывал из баклаги, да звал:

- Устинья, вернись! Ты снишься мне, зачем? Я уже никого не ласкаю. От женского сословия мне отказа никогда не было, только мигни. Но я давно один. Ты мне снишься. Мало бы, что крестьянка, нет без тебя счастья, вернись! Я обязательно возьму тебя в Москву...

И Устинья вдруг появилась пред ним. Обворожительная, с распущенными волосами, совершенно нагая, как в ту, их первую, ночь, с ее по-детски невинными глазами, с улыбкой, от которой возникают ямочки на щеках. Она протянула к Григорию руку и...огонь вылетел из руки ее со страшным грохотом. Мир провалился в бездну.

Очнулся Григорий под сплошной стеной дождя. Он глотал дождь и слезы:

- Господи, прости меня и Устинью, нет нам прощения, но прости...

Возвратившись в город, Григорий узнал, что от грозы загорелась городская башня, небо ее зажгло, но само же и потушило, дождем.

Встретились Григорию монашки, которые несли статую святой Параскевы Пятницы в багряных одеждах, а сами монашки были во всем черном. Григорий снял с груди золотой крест, на котором остался след басурманской сабли, отдал монашкам:

- Помолитесь за меня, великого грешника.

И вскоре его чуть не сшиб с ног тюремный караульщик Петрушка, вместо одного глаза у него было кровавое месиво, он бежал и кричал:

- Убили!

Григорий ухватил его за шиворот, спросил:

- Кто?

Петрушка подвывал:

- Ка-ак гроза гу-у-укнула! Как оне кинулись! Гаврюшку свалили, оскопили, а я вырвался, так глаз ножом выткнули!

Григорий, мокрый, грязный, как был, побежал хватать детей боярских, сбежавших из тюрьмы и во время грозового переполоха оставивших одного тюремщика без глаза, а второго без главного удовольствия в жизни. Не тюремщиков было жалко, а обидно, что ушли от наказания вороги ненавистные.

Во дворе Сабанских его встретили пулями, не попали. Бежал к дверям и слышал, как лязгают крючки и щеколды. Вцепился в дверь, напрягся, затрещали толстенные плахи, гвозди из пазов пошли.

С вырванной плахой вскочил в сенцы. Сабаниха глаза по пятаку вылупила:

- Мой тюремщиков не трогал, тюрьма была отперта, вот и пришел, хоть еды взять с собой...

Григорий проводил Сабанского обратно в тюрьму, сказав на прощание:

- Быть бы ненастью, да дождь помешал.

После стало известно, что часть беглецов исчезла из города и отсиживается где-то в таежных избушках.

По приговору Бунакова били крестьянина Федьку Михайлова, который в канун грозы принес в тюрьму ведро браги, угощая и охранников и арестантов. Когда гроза ударила, все были пьяны и ворота тюремные отворили, чтобы на пожар посмотреть. А потом разбойники решили охранников покалечить.

Башню еще не залатали, когда в Томской приехал дьяк Михаил Ключарев, назначенный на место умершего Патрикеева.

Новый дьяк прибыл на дощанике ночью, и тогда же во тьме к нему на корабль приходил князь Осип. Ярыги доглядели и доложили Бунакову. Кое-как он дождался утра, надел самые дорогие одежды, взнуздали ему арабского жеребца и, в сопровождении караула, поскакал он на пристань. Просил скинуть сходни. Холопы ответили, что дьяк почивать изволит.

- Так разбудите! Скажите, что воевода прибыл! - рассердился Бунаков.

- Не ведено будить! - был ответ.

Илья Микитич закусил губу до крови. Хотел приказать, чтобы вызвали сюда казаков с пушками, да ударить по дощанику ядрами. Небось, враз проснется! Но одумался Илья Микитич. Нельзя ему с дьяком ссориться. Краснея и бледнея от обиды, ходил по бережку, ждал, когда Ключарев выпится. Ишь, ты с ночным гостем проговорил, теперь глаз продрать не может!

Наконец сходни бросили, и Ключарев у борта стоял, глядя из-под ладони. Бунаков взбежал по сходням, держась рукой за саблю:

- Ты пошто с Оськой тайно ночью встречаешься, а законному воеводе сходню не бросаешь?

Дьяк спокойно отвечал:

- Первый воевода здесь Щербатый, ты - второй, так мне на Москве сказано.

- На Оське государева измена, будешь с ним службу править, будешь и отвечать с ним.

- Всяк ответит за свое...

Ключарев, как и полагалось, занял хоромы, прежде принадлежавшие Патрикееву. И - ах, пусты оказались хоромышки! Князь Вяземский все добрые доски поотдирает, все рамки оконные выставил, ни одного пустого бочонка не оставил. Даже чепь с собачьей конуры снял и ту с собой в Москву увез! И в том, что хоромы были поломаны, Ключарев обвинил Бунакова: не доглядел, не смог,

Пришлось стерпеть. Да разве ж углядишь за всем? Дьяк-то не понял еще - в какой город он приехал. Да тут среди белого дня голову с плеч снимут, а обратно приставить позабудут!

На другой день дьяк с Осипом хотели содрать печать с воеводской канцелярии, пошел по Томскому крик:

- Караул!

Всполошной колокол сам собой зазвонил. В небе облако приняло вид черта рогатого, и будто черт трубку курит.

Народ сбежался. Дети боярские и прихвостни их кричат, что Оська должен править, остальные Илью Микитича защищают. Вот уж казаки сабли из ножен вытащили, вот уж пищали на крыльцо нацелили. Дьяк Ключарев вышел вперед, царской грамотой трясет и говорит:

- Браты! Это царев указ, велено править им обоим. А смута, она лишь врагам нашим на радость. Смута позволила Литве да ливонам нашу родину грабить...

Лучше бы он этого не говорил. В толпе было полно ссыльных поляков и литовцев. Дьяку обещали бороду выдрать по волоску, если он дурь свою не оставит. Дьяк - не Дмитрий Трубецкой, а Осип - не Дмитрий Пожарский. Осип - предатель хуже Гришки Отрепьева. Он телесов и кыргызцев на Томской напасть звал. Ему башку ссечь и то мало, а не то, что править ему.

- Браты, - вскричал один старый казак, - айда Оську метать с самой высокой башни в обрыв!

Илья Микитич едва удержал толпу от смертоубийства. Дьяк на что гордый, и то побледнел. Однако пообещал томичам, что будут они на виселицах висеть, начиная от Томскова верст на двенадцать.

Кончилось тем, что с великой руганью отвели и князя Осипа, и дьяка Ключарева по их дворам, и приставили к обоим караул. Казацким заставам да яшашным князям указано было, чтобы обыскивали всех путников, каких встретят.

## 28. БЕДНЫЙ НОВГОРОДСКИЙ КОРКОДИЛ

Очень скоро из своего домашнего заточения Осип Щербатый послал бумагу, в коей просил: "отпустить к Русе жену мою и людей"

Илья Микитич рассудил, что дело это возможное. Пусть Осип отправляет жену свою и имущество. Это значит, что скоро быть Илье Микитичу без главного врага своего. Но, поразмыслив, Бунаков сообразил, что с женой да вещами, князь-Осип обязательно переправит кляззы в Сибирский приказ и царю. Да ведь Аграфена и на словах столько наговорит, что потом сто лет разбираться будут.

Что же делать? Погрузка уже началась. Не идти же на попятный. Один выход: послать людей, чтобы обыскали каждую тряпочку, досточку.

Ночью к дому Григория прискакали казаки. Так, мол, и так: Аграфена уезжает. Григорий пищаль схватил, голый на крыльцо выскочил. В это время на горе во всполошной

колокол ударили. Страшно его ночью слышать: пожар? Война? Томичи все к реке бегут, казаки говорят Плещееву:

- Тебе поручено Оськины дощаники проверять, командуй!

- Бадубай! Хватай пищали, на Оську идем войной! - закричал Григорий в горницу.

Ночью река Тома темна кажется, волны плещут о борта дощаников, кормчие ходят в накинутых на головы кожаных мешках, канаты проверяют. Факелы на дощаниках то холопов высветят с мешками на спинах, то нос дощаника, где из дерева вырезан древний новгородский бог-коркодил.

Бегут казаки по сходням, скачут в трюмы, факела у Осиновых холопов выхватывают. Батюшки! Сколько всего! Все ныл князь, что его голодом уморить хотят. А только хлеба на дощаники погрузили более ста четей, да столько же крупы и сухарей. Двадцать бочонков масла и сала! А мехов сколь? А шуб дорогих?

Григорий рубанул саблей мешок с мукой, ногой поддал:

- Казаки! Руби мешки аки ворога! Вытряхивай! Все проверять велено, он где-то в мешках грамотки спрятал!

Рубили, с хрюком, грюком, сплеча. Трюмы, словно снежком припорошило.

Холопы Осипа завопили, из пищали одного казака ранили.

- Руби прихвостней! - кричит Григорий.

Холопы увидели, что дело плохое - скачут в воду, плывут к берегу. А там их казаки встречают пинками, нагайками.

Илья Микитич к берегу прискакал. Было сказано только обыскать, но похоже - смертоубийство начинается. И не успокоишь сейчас казаков, да не только они тут с Осиновым добром разбираются, но и многие другие горожане.

Отступил тихонько Илья Микитич в темноту, сел на коня и был таков. Не пожелал вмешиваться.

Григорий подмигнул Томасу-Ваське, мол, хватай мешок с лисами, да тащи домой. Многие казаки тоже не зевают, подбирают, где, что плохо лежит.

- Берите топоры, днище рубите! - кричит Григорий.

Ну вот. Концы в воду. Потонет дощаник, кто будет считать, что там на нем было, а чего не было?

Князец Бадубайка на передний дощаник взбежал. Отобрал у холопа факел, стал бабам в лица светить, княгиню Аграфену искал. У нее-то уж наверняка записка где-нибудь запрятана. Обыщу! Найду. И перстни сниму, а, может, еще что с ней сделаю.

А Аграфена-то была мужиком одета, чего ни на Руси, ни в татарах никогда не видали. Подкралась она сзади к Бадубайке, да саданула его лопатой по голове. Упал Бадубайка в воду, кричит:

- Спасите, помогите, последний раз купаюсь!

Забыл, как крикнуть по-русски, мол, тону. А казакам - что? Ну, купаешься последний раз- дело твое.

А Аграфена с холопами по берегу из пищалей бьет, к дощанику своему не подпускает, холопы чалки рубят, паруса натягивают.

Отъехала Аграфена. В делах да заботах к Томскому незаметно и зима-матушка подошла, и мороз-батюшка стал по углам потрескивать. А в светлую заутреню можно увидеть домового в хлеву, в заднем углу. Пускай себе греется, нам не мешает. Домовой в доме спит на соломе, ему не худо и нам - пироги на блюдо.

Все лежит в закромах, да в подвалах-погребах. Последний сноп поставили в сенях - для нового урожая. Сенца запасли. Копна - от копны, как от Томского - до Москвы!

Зима перемела дороги, то мороз, то пурга - не видать не зги. Теперь сюда не придут враги. В такой-то снег - лошадям - не бег. В такой-то мраз - помрешь как раз!

В Рождество Христово пекли казылки: фигурки зайцев, лисичек, птичек, медведей, петушков, да все из сдобного теста с изюминками! Подвешивали эти фигурки Дашутка, да Танька, да Нафиса, да прочие бабы по всей слободе к окнам и дверям бедных изб, чтобы ребятишки увидели, да обрадовались: дедушка Мороз принес!

Григорий тосковал по Устинье, запирался один в верхней светелке, читал книги, да думал. Иногда стучал к нему Васька-Томас:

- Мой дрюк! Я фыгнал вино по старинному рецепту, настоял на тринадцати травах, пьется легко, зовет далеко!

И втянул-таки немец друга своего и хозяина в большую пьянку. Пьяные пошли ко двору дьяка Ключарева да палили там из пищалей по нужнику до тех пор, пока он стал весь, как решето. И у Осипа нужник изрешетили.

А Агафена-то, княгиня, тем временем добралась до Москвы. Сибирский приказ теперь был вновь в руках Трубецкого, который при Морозове был не у дел. Подхватов государственные вожжи, Трубецкой не забыл и про кнут, ехать, так уж ехать.

Письмо князя Осипа Алексей Никитич приложил к другим томским клязам и пробился на прием к царю.

Трубецкой прочитал царю из бумаг кратко самое главное, высветил суть. А в чем она? Сибирская вотчина далеко, кого ни пошли -быстро заворовываются, начинают удельными князьями себя чувствовать, а кому меньше кусок достался, тот - жалобы строчит.

Что тут делать? Новых воевод послать, да с наказом строгим. Пусть на месте все сочтут: кто сколько наворовал. Потом уж и в Сибирском приказе спросят со всех, кто больше виноват. Да накажут построжее. Чтобы другие знали и помнили: Москва все видит, все слышит, она не так уж далеко, как вы думаете. Не балуйте, робята, башками дурными рискуете!

Решили новыми воеводами в Томской послать Михайлу Петровича Волынского, да Богдана Андреевича Коковинского. Волынский-то в Томской посылался вроде как в ссылку, хотя это так и не называлось, но он был из людей опального Морозова и надо было его удалить подальше.

Воеводы еще только багаж собирали, да с имениями своими разбирались. До Томского еще и вести о новом назначении не дошли,

Мерзли на градских башнях караулы, в церквах шли службы. Бабы были заняты пряжей, мужики в лесу валили сосны, да вывозили по зимнику.

Григорий наконец-то смог пройти на лыжах на Толстый мыс. Могилки там замело, кресты были белы от снега. Было тихо, только синички тенькали, и звук был светлый и чистый, словно Устькины волосы.

Лежать с забитым землею ртом? Перед нами ворота тьмы вечной. Что будет потом? Где - души? К чему все дела наши? Ничего ясного не сказали ни Петр с Максимом, ни бухарский чародей, вызывавший своим порошком непонятные картины. И нельзя заглянуть вперед, в бездну.

И что за жизнь?! Другие грешили много больше его, но живут во дворцах, их боятся, им кланяются. За что мучают его? Не за то ли, что едящие с золота мучаются сами? Разве у царя не болит голова? Разве не терзают его недуги? Так кто же - неудачник? Кому повезло?..

В марте прибыли в Томск гонцы с царскими грамотами. Ударил всполошной колокол. Поехали по улицам посадов бирючи, на холоде драли свои луженые глотки:

- Все в собор! Царево слово будут читать!

В соборе поместились только лучшие люди города, остальные стояли на паперти, на дворе, на площади.

Но то, что дьяк Ключ торжественно и громко читал в соборе, бирючи повторяли и на дворе, и на площади. А главные в грамоте слова были такие: "Щербатову да Бунакову быть вместе у государевых дел, пока не будет на них замена. Выпустить из узилища детей боярских, арестовать вора Подреза. Если казаки еще раз придут к съезжей с шумом и невежеством, и не выполнят сей указ, быть им казненным смертью..."

Услышав эти слова, Григорий нахлобучил шапку, вышел из собора и вскочил на коня.

Дома он заперся в светелке и стал читать духовные книги. Постепенно накатила дремота. Уснул, и приснилась Устька с сиянием вокруг головы.

Утром сидел возле проруби человек весь в черном и ловил рыбу. Уже снег и лед стали рыхлыми, тальми, человеку вполне можно было потонуть, отчаянный! И смотрят казаки: а он одну рыбку за другой из проруби вытаскивает, да рыбки все длиной в руку! Эге! Кто такой? Вроде, незнакомый. А что за насадка у него такая? Поди, тесто с травкой рувзей?

Один казак глянул с мельничного моста, а человек-то черный вытаскивает из кармана глаз человеческой, да на крючок его насаживает, а глаз-то плачет, слезой заливается.

Кинулись казаки на лед, а он и затрещал, трое провалились совсем, протягивали им и доски и палки - бесполезно, потонули! А черный встал, смотал уду свою. Подмигнул, да сыпанул в прорубь целую горсть человеческих глаз, только булькнули! А рыбу в корзину положил, помахал всем рукой, да пошел по рыхлому льду на другой безлюдный берег реки Ушайки и исчез там в тальниках.

Эх! Казаки на берегу стоят рты раскрыв, а тут на башне заорали и на горе всполошной колокол ударил. Что такое?

Оказалось, что возле тюрьмы драка большая учинилась. Дети боярские пошли своих из тюрьмы выпускать, а казачье и городская голытьба не выпускают узников.

Бились и на кулаках, и дрынами, а потом и до кинжалов дошло. Трех насмерть убили, девятерых покалечили. И все же стражники выпустили Сабанского и прочих, дескать, указ такой вышел.

А тут опять новость: Бунаков вместе с Оськой-князем вместе идут старую воеводскую канцелярию открывать, вместе заседать будут. Да как же это допустить, чтобы Оська-кровопивец опять у власти сел?

Налетели на крыльце на Осипа Ивановича казаки во главе с Васькой Мухосраном. Сбили с головы князя высокую шапку, двое его за руки держат, третий у него ключи от канцелярии шарит. А Васька Мухосран при всем честном народе в это время присел над княжеской шапкой, сняв штаны, да наделал чуть не полную шапку и кричит:

- Казаки? Кто еще хочет? Надо, чтобы у князя чаша была полна!

- За все ответите!?! - ревет красный от гнева Осип. А казаки ухмыляются. Попробуй-ка, открой канцелярию, ключ-то от нее теперь у нас!

И вдруг, откуда ни возьмись, на крыльце съезжей взялся тот самый черный, что еще недавно на Ушайке рыбу большую ловил на диковинную наживку.

Этот черный к Ваське Мухосрану подскочил, да не дал ему штаны надеть, да вынул у себя из кармана черный цыганский глаз, да Ваське в заднее место, в самую дыру, вставил. И исчез черный злодей. А Васька задом к толпе стоит, а в заднем месте у него глаз черный крутится, то сюда зыркнет, то туда, а то и подмигнет. Казаки говорят:

- Васька, ты что чувствуешь? Отвечает:

- Ей богу, всех вас задним местом вижу!

Вот уж страх, так страх! Казаки и говорят:

- Надень ты свои штаны поскорее, ради Христа, а то смотреть страшно!

Васька и надел штаны. И перепоясался.

Князь Осип изумленный, без шапки своей опоганенной, бормоча ругательства московские, заливчатские, пошел к своим хоромам.

А казаки успокоиться не могут, виноватых надо найти, почему это черный какой-то по городу бродит? Уж не Оськин ли лазутчик?

Пошли к Оське окна бить, а черный-то уж там, возле княжеских хором, как махнет правой рукой, так сплошь цыганские глаза под ноги казакам сыплются, а уж скользко, а уж противно! И не подойти к княжеской хоромине.

Ох, враг рода человеческого! Ох, мастер отводить глаза! Он же, наверно, и Григория Осиповича с ума свел в эти дни. Как он услышал тогда в соборе московский указ, так и запил. Никогда прежде он в таком загуле не бывал. Тут его врагов всех из тюрьмы выпускали, а он знай себе пьет. До того допился, что выбегал в курятник, хватал кур, подбрасывал во дворе вверх:

- Летите птички божии!

Потом он рубил сабелькой в доме своем лавки, ковры, выстрелил несколько раз из пищали в немецкую парсуну, причем поразил не только дьявола, но и коленопреклоненного монаха.

Приходил к нему отец духовный поп Борис, благо живет недалеко, пытался Борис его увещевать. Где там! Подал Григорий своему духовнику полную ендову хлебного, да заставил все вино выпить до дна, не то, мол, зарублю насмерть!

В эти дни из Москвы пришла еще одна грамота, которая подтверждала прежнюю, за послушание же обещали страшные кары. И Илья Микитич решился. Позвал Сабанского, да прочих сторонников князя Осипа и велел им пойти арестовать Плещеева-Подреза.

Шли они с опаской великой, с пищалами, саблями, кистенями. А он-то еле мог языком шевелить. Наскочили, сбили с ног, связали.

- Вы кто? - кричал Григорий, - вы черти с парсуны! Как я сразу не понял? Вы черти, и мы сейчас идем в ад, захватите мою тыквенную баклагу!..

Притащили его в тюрьму, а она была пуста, прежних узников всех выпустили.

Бросили Григория на пол. И один из казаков, который проходил мимо тюрьмы как раз тогда, рассказывал, что стражникам помогал запирать Григория Осиповича тот самый черный, который удил недавно на Ушайке рыбу.

И запер Григория этот нелюдь, а потом через тын сиганул и у него, у черного, хвост был виден позади. И как колокол зазвонил в соборе, так черный этот нырнул в бассейн на соборной площади, только его и видели.

Бадубайка с Томасом передачу хозяину принесли.

Стражники корзину с едой и выпивкой взяли, а Григорию ничего не передали. Сами все съели и выпили.

Очнулся Григорий, голова с похмелья трещит. Тараканы шебуршат, темень, холодно, пахнет падалью. Тут и так тошно. И кричал, и стучал, тюремщики не отпирают. На двор выведут, подышать толком не дадут и опять - под замок. Только через неделю еще одного человека в темницу посадили.

Купец. Торговал при помощи обманных гирь. Зашел купец, моргает: где тут лавка, где тут - что? Вдруг - страшный удар промеж ног. Что это?

Григорий его из меховой шубы вытряхнул, обыскал. Узелок развязал: шаньги! Мясные! Купчиха тюремщикам заплатила, чтоб узелок у мужа не отобрали. Оно и хорошо! Ест Григорий, зубами мнет, аж сок брызжет из шанег. Купец робко говорит:

- Мне-то оставь хоть одну? А Григорий ему:

- Молчи, гад ползучий! Молчи, пока живой! Лучше скажи своей бабе, чтобы еще принесла, а то не жить тебе, понял? Я, ежели не наемся, так тебя самого сожру с потрохами. И скажи еще, пусть винца притащит.

Наевшись, он дал купцу еще плюху для остратки, улегся на мягкую шубу и уснул. Проснулся, опять принялся в двери ногами молотить и кричать:

- Знаю государево дело! Извет хочу заявить!

Тюремщики не отвечают. Когда на двор повели, опять заорал:

- Знаю государево дело!

Тюремщики затолкали его в нужник, а он и там орет:

- Государево дело!

А это уже издевательство. Сидит человек над ямой, и кричит имя государя! Оскорбление! Тюремщики хотят его из нужника вытащить, не могут. Он одну плаху отодрал да стражника по голове так стукнул, что у того кровь из ушей хлынула.

- Караул! - вопит охрана.

Подмога подоспела. Бьют Григория, бьет и он. Носы хлюпают, из губ кровь идет. Кое-как вдесятером одного обратно в тюрьму затолкали. У Григория один глаз совсем заплыл, другой еще видит. Однако как-то разглядел купчика, да так дал ему леща, так что тот зашелся весь. И сказал Григорий:

- Буду бить, пока не убью! В тюрьме сидеть, это тебе не людей обвешивать!



## 30. ДОЛЯ СИБИРСКАЯ

Трудно, братцы, жить в краю дальнем. Царь нас тут поставил, чтоб его вотчину дальнюю обживали. Кто сам притопал, кого пригнали. Кто-то сбежал из тюрьмы малой да в тюрьму большую.

Прежде чем пахать, надо пни из земли пихать. Лето в поле бьешься и вьешься, на зиму дров-то не напасешься. Только в пол-уха выплещешься в ночку, ворог забрался под каждую кочку.

Сколько в Сибири до срока и времени в землю легло с наконечником в темени? Видишь, стоит на горе новый град, каждый на башенки глянуть-то рад. Строили стены, дома и дороги, все познобили и руки, и ноги.

Сделали толком все, что смогли, многие в землю навеки легли.

Казаки долго в своем кругу толковали о заключении Григория Осиповича в тюрьму. Собрали делегацию и отправили к Илье Микитичу.

Бунаков сидел перед окошком розовым, за ним были символы воеводской власти: лев вызолоченный и знамя. И красив был, и умен. И людей слушать умел, Вот и этих выслушал. Потом сказал:

- Главный изветчик на князя Осипа был - кто? Он, Григорий. Из Москвы новые воеводы едут, разбираться будут. А вдруг Григорий сбежит? Главный изветчик? Что будет тогда? Тогда вся вина на нас с вами падет. Поняли?

Пошли казаки восвояси. Григорий Осипович хороший мужик, и Илья Микитич хороший мужик. Это дело без ведра вина и не разберешь. Пошли в кабак к Еремею. Васька Мухосран выпил вина ендову, утерся рукавом:

- Что Григорий мужик славный, кто же спорить будет? Ну а сбежит, так ему - ничего, а нам - все! А мы - чо? Мы - ничо!

А и он ведь небезгрешен. Не нашего ума дело, но пахотному мужику руку отрубил? Отрубил. Палача заколол. Туда ему и дорога, а все - смертоубийство. Семку отравил, а жонку его повесил...

Сама? Может, сама. Ну а что дьяк Патрикеев не сам себя на чепь посадил - так это точно. И не сам себя дьяк кнутом забил. Да вот хоть бы нашего кормильца-поильца Еремея взять. Кто дурака-то подговорил дом сжечь? А потом Гришка Еремею то, чем мужики с бабами рождаются, отстрелил. Фиска с тоски засохла.

Анфиса, красная от жара печи, выскочила из поварни, намахнула на Мухосрана грязным полотенцем:

- Чего врешь, охальник? Он Еремею в ногу попал.

- Слава богу, в третью ногу! - захохотал Васька.

- А хоть и так, не твоя забота! - крикнула Анфиса, - мне осталось. Хочешь знать, после ранения он у него шрамами прирос, так что стало еще лучше. А ты-то - урод, у тебя теперь глаз в заднице. Хоть бы снял штаны да посмотрел бы третьим глазом...

- Да я не прочь, - отвечал Мухосран, - да, видать, я его того... Как в нужник сходил побольшему, так и не стало того глаза... Жаль. Можно было в скоморохи пойти. Даром поили бы, только задницу покажи. Но все бесовское - непрочное. Тишка Хромой вмешался в разговор:

- Плещей издевателем все же был. Он нашему Бадубаю на голову наделал...

- А ты видел? - взбеленился Бадубайка, - болтовню слушаешь, потом разносишь. Бери свои поганые слова обратно, зарублю! - и саблю занес. Тишка заслонился подсвешником:

- Ты что? Я к тебе жалеючи.

- Не надо жалеть! Православные, а предаете своего. Ели, пили, всё забыли!

- Мы - чо, мы - ничо, не мы его посадили. Посидит, да выйдет, ему не привыкать. Новые воеводы приедут и выпустят...

В августе прибыли дощаники с новыми воеводами. Казаки тревожились: это ведь - судьи на их головы.

Дошаники причалили к берегу возле Нижнего посада. Богдан Андреевич Коковинский и Михаил Петрович Волынский вглядывались в башни на горе, в пушки на раскатах, в кресты собора и церквей, в посады. Город был весь рублен из дерева. По обоим берегам великой реки виднелись сплошные боры. Богдан Андреевич сказал:

- Как бы бунтовщики ядрами не встретили?

Михаил Петрович поддержал его:

- С них станется... Неверов, сходи-ка на берег, найди Бунакова да Щербатого, скажи, что мы прибыли, пушай нам воеводские хоромы освободят, да для беседы на корабль явятся.

Семка Неверов, нацепив на бок сабельку, сошел по сходне, побрел по Нижнему посаду. Навстречу прошла женка с полными ведрами, вся в черном, должно быть, попадья. Это был добрый знак.

Неверов зашел в Благовещенскую церковь. На большой иконе здесь изображен был Георгий Победоносец, тонкий и ухватистый, он поражал копьем змия проклятушего. Конь под Победоносцем был тоже тонок и строен, и косил огненным глазом.

Поп пояснил, что Илью Микитича можно найти тут неподалеку, на дворе казака Девятки Халдеева он правит ныне воеводские дела.

На паперти стоял явно полоумный казачина. Несмотря на жару, он был в бараньей шапке да в старой шубе, вывернутой мехом наружу. Неверов дал ему копейку, казак поймал его за руку:

- Хочешь, расскажу, как в войске славного атамана Ермака воевал?

- После! - вырвал руку Неверов, - спешу, дела!

Пришлось все же Бунакову идти в город вместе с Неверовым. Пришлось иметь неприятную беседу с казаками.

Убеждал их Илья Микитич, не упрямиться зря. Пустить воеводу бывшего на встречу с новыми.

- Иди ты один! - сказали казаки. - А вора Осипа не пустим.

Стали звонить в церквах в знак встречи новых воевод. И поднялся Илья Микитич на корабль. Поздоровался с новыми воеводами. Богдан Коковинский приходился Илье Микитичу свояком. Привез гостинцы: вина, да всякие хозяйственные припасы.

Волынский недолюбливал Щербатого с давних пор. Молодыми служили вместе на Тереке-реке, свел тогда Осип у Волынского две семьи холопов. И никак не мог Волынский их вернуть.

- Что ж, Осипа нет? - спросил Михаил Петрович. - Не рад?

- Такой кум, что не возьмете в ум, - отвечал Бунаков, - с гривны на гривну ступает, полтиной тын подпирает. Казаки больно на него серчают, из дома не пускают, да он, чаю, и сам боится.

- Что же, нам его с боем из дома теперь вызволять, али как? - сердито спросил Коковинский.

В это самое время из дома Щербатых выкатил водовоз Мишка с огромной бочкой для воды на телеге. Подкатил к воротам башни.

- Чего не с Белого озера воду берешь? - спросили караульные.

- Князь брезгует, что не проточная, - велел на реку Тому сгонять, слаще той воды уж не бывает,

- Его, гада, жижей из нужника поить! - сказали караульщики, подняли решетку, глядели во след Мишкиной телеге. Гора крута, ну как бочка свалится с телеги, да покатится. Покудова доедет? И так оно и вышло, Бочка свалилась, когда телегу потрянуло на крутом спуске, и покатила бочка, подпрыгивая и кувыркаясь все быстрее, быстрее. И караульщики поклясться бы могли, что бочка вдруг завопила человеческим дурным голосом:

- Что же ты, гад Мишка, сделал! Ой, убил, убил, мать твою! О-о-о!

Перекрестились караульные. Пропади оно все пропадом, то черные на глаз наживленный рыбу ловят, то бочки человеческим голосом кричат. Служить тут в Сибири, так век-то долгим покажется.

А бочка тем временем со страшным грохотом пролетела по камням мимо пещеры, где отдыхали отшельники Петр и Максим.

И в последний раз ударившись о землю возле обрыва над Ушаечным озером, взлетела от толчка, пронеслась над водной гладью и плюхнулась посреди озера, подняв фонтаны брызг.

Мишка ошалело смотрел с горы на это диво. Бочка ревела голосом князя Осипа:

- Спасите! Тону-у-у! Рыбаки в своих утлых лодочках закрестились:

- Свят, свят, свят! - схватили весла и стали подгрести под корму, чтобы поскорее уплыть от этого наваждения.

- Вернитесь! Кому говорят! - заорала бочка, - тону, я плавать не умею! - и из бочки вдруг высунулась голова князя Осипа. Некоторых рыбаков это так перепугало, что они, доплыв до берега, выскакивали из лодочек и бежали, боясь даже оглянуться.

Но и нашлись такие, что, узнав знакомое лицо, догадались, что князь каким-то образом попал в бочку, может, его туда казаки со зла затолкали. Князь тонет, стало быть, надо его спасти, он человек богатый и отблагодарит,

Бочка была наполовину полна воды, вынимать из нее князя посреди озера было рискованно, как бы совсем не утопить. Осторожно подплыли в лодочках с двух сторон, ухватились за бочку и погребли к берегу.

Охая, крича и ругаясь, князь вылез из бочки. Тяжко ему пришлось. Вся его праздничная одежда была в иле и тине, лицо все в синяках и ссадинах. Руки и ноги у него ныли и свербили, все бока были отбиты, ноги его еле держали.

В это самое время Бунаков и новые томские воеводы подошли к сему месту, направлялись они в город, чтобы увидеть там князя Осипа, и увидели на берегу в очень странном виде.

- Князь! Ты ли это?! - воскликнул Волынский, разводя руки. - Вот уж не чаяли тебя здесь встретить в таком виде!

Осип Иванович сморщил лицо, словно собирался заплакать:

-Я чаю, вы слышали на Москве про здешнее смутьянство. Мне, законному воеводе, пришлось под арестом столько месяцев сидеть. Чтобы вас встретить, пришлось в бочку водовозную залезть, иначе ироды и выехать со двора не дали бы. Да бочка на спуске с телеги свалилась, покатила. Все ребра отбил, едва не утоп.

- Да, плохо, - сказал Волынский, - но муки твои - к концу, нам велено принять у вас с Бунаковым город, все сосчитать и тогда отпустить тебя в Москву.

Осип сунул руку за пазуху, вытащил оттуда грамоту:

- Сие тоже грамота из Сибирского приказа, по ней вы должны принять у меня город не считая, сразу отпустить меня в день вашего приезда.

- Наша грамота писана позднее, - строго сказал Волынский, значит, по ней - и быть. Все проверим, сосчитаем, тогда уж - с богом!

### 31. ВСТРЕЧА С ЦАРЕМ

Еще до приезда новых воевод томичи отправили в Москву новых челобитчиков. Указ, править Оське вместе с Бунаковым, томичей не устроил, и они надеялись, что удастся Москве толковать, что Осип - вор.

Незаконно гонял крестьян на работы в своем хозяйстве, город построил так, что лишились люди выпасов, а ведь Бунаков говорил, что новый город надо ставить в ином месте. Да Осипа десять раз повесить и то будет мало.

Поехали в Москву казаки саблями сеченые, стрелами меченые. За старшего - Тишка Мещерин. Войсковой писарь, бывалый человек.

Возле Барабинских озер камыши, как лес, рыба хорошо ловится. Не утерпели, полезли сети ставить. А уха-то плохая получилась. Из камышей выскочили неруси, да и повязали всех.

Басурмане набили на ноги казакам колодки и заставляли их возле малой горы ломать серый камень, которым можно стенки красить. Есть почти не давали. Только рыбы головы иногда да и те - сырые.

Тишка заметил, что серый камень в воде кипит. Набили узкогорлый кувшин толченым серым камнем, да воды в него плеснули. Кувшин и взорвался со страшным грохотом в тот самый момент, когда казаки метнули его в своих охранников.

Во время переполоха и удалось бежать. Кое-как колодки сбили, где-то челн отобрали, где-то лошадок у нерусей сперли. Пока до Москвы добрались, и оборвались все, и оголодали. Тишка Мещерин новую челобитную составил, ту, что везли, барабинцы отобрали.

А Москва-то большая. В Сибирский приказ не пускали их никак. Суровая охрана твердила, что никого без вызова пропускать не велено. И взятку нечем дать. Обещали, что придут отставшие от них казаки, которые везут бочку золота, тогда охране пару горстей и насыплют.

Пустили. Провели по двадцати лестницам и тридцати коридорам. Такое расстояние прошли, что даже устали. Впору по тому приказу на лошадях кататься,

- Нам бы князя Алексея Микитича Трубецкого,- просил Тишка Мещерин, а провели к неизвестному подьячему, который, ковырнув пальцем в левой ноздре, сказал:

- Возвращайтесь обратно и поскорее! Иначе сочтем как беглецов со службы, да кнутом угостим, да на каторгу!

Что было делать? Лошадок, какие были, продали на постоялом дворе за бесценок, считай. Даже кресты нательные продали. Утром снова в Сибирский приказ отправились. Тишка служкам разным давал кому - рубль, кому полтину, разузнал, в каких покоях Трубецкой в приказе сидит. Охраннику сразу пятерку дал.

Провел их охранник разными переходами, закоулками, может, опять не туда завел бы. Но казаки схватили его, рот платом заткнули, руки связали. А Тихон в тот момент и побежал туда, где Трубецкой сидел.

У выхода из приказа Кузька Мухосран стоял на случай отступления. А и не зря.

Едва вошли казаки к Трубецкому, как он заорал:

- Вас кто пустил? С томским воровством давно покончено, никаких челобитий принимать не велено! Что?! Вы еще разговаривать? Охрана!

- Ты так, князь?! - заорал Мещерин,- до царя дойдем, тогда пожалеешь!

Где-то двери стукнули, где-то скобы брякнули, из-за каких-то занавесок парчовых, из-за кресла князя выскочили откормленные мордovorоты в черных кафтанах, у каждого в руке дубина с железным набалдашником, собаки при них ростом с теленка, кинулись казаки отбиваться, да где там! Кому дубиной по башке досталось, кого собаки порвали.

Один только Кузька Мухосран печальной участи избежал. Был он родным братом Васьки Мухосрана, такой же конопатый и охальник такой же. А как увидел он, что казаков охранники схватили, так с крыльца и сиганул, только его и видели.

И затаился Кузька. Жил в Москве по углам. Кому дровишек порубит, кому сенцо поставит. Нанимался камень ломать, назьмы топтать.

И выследил-таки царя! С толпой прислужников смешался, только царь вышел на Красное крыльцо, Кузька ему в ноги бухнулся:

- Выслушай, надежда-царь! Из Сибири до тебя шел! Из Томского города!

Царь Алексей Михайлович побледнел, отпрянул. На памяти были недавние смуты и бесчинства московские. Да и теперь беспокойно было в царстве. То в Крыму, то возле Кавказа объявлялись якобы царевичи Дмитриии, то якобы великие князья московские какие-то. Все это казачье строило свои козни и шашни. Дела такие, что и убийц к царю могут подослать.

А Кузька скороговоркой все излагает, и про Подреза, и про его извет на Осипа Щербатого, и про измену князя Осипа, и про неверное решение Сибирского приказа.

Царь от испуга опомнился, стыдно ему перед свитой, говорит:

- Ладно! Не крутите ему руки. Отведите в Сибирский приказ, пусть все там повторит. Иди, казак! Твое дело разберут, прикажу!

Вечером за ужином, потягивая фряжское вино, Алексей Михайлович вспомнил, что на Красном было, спросил Трубецкого:

- А чего это, князь, у тебя по первопрестольной сибирские казаки болтаются? Один ко мне в ноги бросился, а уж так зело конопат, просто чудо!

- Мы ему уже добавили конопатин на заднее место! - ответил князь, - прости, государь, не доглядел. Больше подобного не будет. Все теперь у меня сидят надежно, накажу, чтоб никого без дела до Москвы не пускали.

- А что Гришка Плещеев на Осипа Щербатого заявил?

- Пустое. Князь-то на тыщи верст - один хозяин. Тут что-нибудь к рукам да прилипнет. Да кто без греха? В кого камень бросить? А Гришку в Москву не стану вызывать на допрос, сие опасно. Его дядюшку еще народ не забыл. Я отписал, чтобы Гришку там на месте допрашивали. И я Волынскому не верю, посему отправляю в Томской своих людей для расспросного дела.

Царь заговорил о других делах: о Литве, Ливонии, Польше. Далекая Сибирь тут же была забыта.

А казаки-посланники томились в московском подвале тюремном. Кое-как раздобыли клочок бумаги да перо с чернилом, Тишка отписал в Томской об их несчастном положении. Долго это письмо волоклось до Томского с разными обозами и караванами. Но дошло. Честный человек взялся его доставить. Из сибирских купцов был сам.

И вот на томском градском кругу брат запоротого в московской тюрьме Кузьки Мухосрана, Васька читал:

-Били мы челом боярину Трубецкому, да он челобитные до царя не довел, а нас в узилище упрятал. Кузька один к царю пробился, так забит за то до смерти.

В темнице сей за правду стоим, хоть государь всех перевешать сказал бы. А вам, братцы, стоять с нами заодно, вы нас, братцы атаманы, не покиньте. Затем, господа наши, много челом бьем, здравствуйте во Христе...

Голос Васьки дрожал, слезы накатывались на глаза, а ведь не баба! Эх, порубить бы этого Осипа на куски!

Новый воевода Волынский занял Осиповы хоромы, а Осипу выделил избу на лугу. Осип не хотел туда поселиться: неогороженная изба и соседей близко нет. А Волынский и сказал, что изба большая, у Осипа холопов полно, сам воин изрядный, чего же ему бояться?

И темными осенними ночами подкрадывался Васька Мухосран с дружками к избе этой, да бросали на крышу избы зажженные факелы, да кричали:

- Зажарим, аки гуся!

Кидали в окна каменья, палки, били в барабанные лукошки и исчезали во тьме.

## 32. ДАЛЬШЕ СИБИРИ НЕ СОШЛЮТ

Григорий сидел хорошо в тюрьме. Он лежал на пышной лежанке, возле него стоял жбан с вином, он курил кальян колмацкой, двое крестьян, попавших в тюрьму за недоимки с царевой десятины, чесали Григорию пятки, искали вшей в его густых кудрях. И попробовали бы они этого не делать!

Однажды Григория вызвали к Волынскому. Он свел его очи в очи с Осипом и просил повторить извет. Григорий сказал:

- Чего я буду с этим боровом препираться? Он много чего воровал против государя нашего. Но прямых улик у меня нет. Извет кричал, чтобы из тюрьмы освободиться. Где это видано, таких людей, как я, в тюрьме держать?

Волынский смотрел на него с интересом. Вот что бывает. Знатных людей отпрыск, а вот...

Осип много наговорил про злодейства Плещеева и был отпущен. А Григорий сказал Волынскому:

-Ты бы, Михайло Петрович, сделал бы какое послабление. У меня в посадах два дома без пригляда. А мне не дают даже в баню сходить. И чего холопы приносят, не всегда мне охрана передает.

И поговорить ни с кем не дают, будто я государю нашему изменник какой! Да я за него кровь проливал, и еще пролить готов в любую минуту.

Волынский, пользуясь тем, что были в канцелярии одни, сказал:

- И за мной глаза есть. Отпускать из тюрьмы в баню - не могу, а вот, чтобы к тебе холопов с едой и одеждой пропускали - распоряджусь. Посиди, пока город у Осипа приму. А тогда отправим тебя от греха подальше, в Якутск, с сохранением чина, имущества. В Москву отпишем: наказан, сослан. А тебе - какая разница? В Якутске, я думаю, тебе и жить легче будет. Чем дальше от Москвы, тем догляда меньше. И ведь лучше - в пучину, чем в кручину? Правильно?

- Твоя истина, Михаил Петрович! А еще говорят: в воде - черти, в земле - черви, в лесу - сучки, в городе - крючки, а для старой бабы и на печи ухабы. В Якутск, так в Якутск!

Тюремщикам было сказано, чтобы сильно Григория не ожесточали.

Вскоре Бадубайка с Галией и Томасом-Васькой принесли в тюрьму корзины с вином, едой и одежей. Григорию дозволили говорить с друзьями в тюремном дворе.

Бадубайка чокнулся с Галией оловянным стаканчиком, выпил, перевел дух и кивнул в сторону Галин, на руках которой был ребенок:

- Галия родила мальчика и говорит, что этот - от тебя. И, похоже, что ваш урусский бог распорядился, чтобы у тебя был сын. Со многими спала, но мальчик - твой. Пока это лунный серп на ущербе, но видно, что есть на нем твоя печать.

Григорий сперва даже не понял - о чем речь. Потом задумался. Сын? От басурманки? Так вот посидишь еще в тюрьме, а выйдешь и тебя окружают многочисленные внуки.

Галия смотрела смущенно. Отводила глаза. На всякий случай сказал:

- Окрестись у Бориса сама, да младенца окрести. Учи его говорить по-русски. А там видно будет.

Когда пришла пора прощаться, Григорий дал наказ:

- Собирайте дорожные сумы для Бадубайки и для меня, как выйду отсюда, мы с Бадубаем отправимся в дальнюю дорогу. А всеми холопами и всем имуществом поручу руководить Томасу-Ваське. Такой вам пока мой сказ...

Волынский приказал освободить Григория как раз в тот день, когда отправлялся в Якутск караван с бухарскими и прочими купцами в сопровождении казаков.

Когда Григорий шел из канцелярии в Уржатку, снова встретились ему старцы Петр и Максим. Сквозь порванные одежки проглядывали их худые и задубелые телеса, но старцы вроде бы не мерзли. Споткнувшись о натянутую ими веревку. Григорий спросил:

- Не холодно ли вам, отцы?

- Холод бывает не от одежки, а от сердца, - отвечал Максим.

- Мы читаем холод в твоём сердце, - добавил Петр, - а это хуже, чем синяя кожа. Одет ты тепло, а на душе у тебя холодно. Зайди в нашу пещеру, погрейся.

Григорий шагнул вслед за старцами в их логово, пригнувшись, чтобы не расшибить лоб. Пещера уходила далеко во тьму, малый костерок едва освещал выросшие на камень желтые сосулины. В янтаре сосулин Григорий увидел свое перевернутое отражение, он маленький и далекий шагал вдаль и уменьшался.

Григорий протянул руку к сосульке, мимо него проскочила черная кошка, рука Григория скользнула по ее хребту, и раздался чуть слышный треск и несколько синих искр выскочило из-под ладони.

- Что ты? - спросил его Петр.

- Вроде бы кошка была?

- Нет, брат, - сказал Петр, - в этой пещере нет никакой живности, кроме летучих мышей, да и те теперь не летают, у них спячка. Почудилось тебе, в нашей пещере каждому что-нибудь чудится...

Бадубайка встретил Григория во дворе, сказал, что кони оседланы, сумы приторочены, еды запасено дней на десять, вина хватит на всю дорогу, оседлана и пара переменных лошадей. Отобраны лучшие скакуны.

Томас-Васька сообщил, что часть холопов ушла в бега, так как узнали об отъезде Григория. Сбежала и Галия с младенцем. Он пока не знает, где искать беглецов.

- Ладно! - махнул рукой Григорий.- Управляйся с теми, остались. Караван уходит, мы с Бадубаем уезжаем, может, на год, может, на два. Смотри в оба, береги хозяйство, не то, когда вернусь, сошью тебе деревянный кафтан? Ты ведь этого не хочешь?

- Отшень не хочу! - сказал Васька-Томас, кланяясь.

### 33. В ПОЛУНОЧНУЮ СТОРОНУ

Ехали верхами, медленно, ибо вели многих вьючных лошадей и верблюдов. Один из бухарцев оказался вовсе не бухарцем, а человеком такой странной национальности, что даже Бадубайка не разобрался: кто таков?

Человека звали Сапар-Дурды-Арчманли-Хабдратани. На его голове был усеянный звездами остроконечный колпак, снизу обмотанный зеленой чалмой.

- Для чего намалеваны звезды на колпаке? Уж не из скоморохов ли ты? - спросил его Григорий.

Сапар-Дурды-Арчманли-Хабдратани сказал, что в его стране такие колпаки носят звездочеты. Развернутый колпак - это карта звездного неба, а звезды определяют многое. По ним можно узнать и характер, и судьбу любого человека, или, где идет теперь караван, куда ему следует двигаться дальше, чтобы попасть в нужное место. По звездной карте можно определить дни, когда того или иного человека подстерегает наибольшая опасность.

- Предскажи мне судьбу! - попросил Григорий. Старик отвечал уклончиво, что нынче пасмурная погода, а если он не может сличить карту со звездным небом, то ему трудно колдовать.

Двигались по кремнистым распадкам, галечным осыпям, переезжали большие реки. Караван вел опытный караван-баши Юсуф-ага. Он был стар и лицо его задубело от ветров разных стран.

Караван-баши пользуются всюду уважением, с них не берут на торгах налогов, их принимают воеводы и военачальники, чтобы поговорить, выведать, а что делается в той или иной стране? Где есть много серебра, жемчугов, мехов, золота?

Караван пришел к великому Байкальскому морю. Сколько ни вглядывался Григорий в его противоположный берег, разглядеть ничего не мог, тучи, клубившиеся в небесах вдали, сливались с байкальскими волнами. Старые купцы и бывалые казаки сказали, что следует испить байкальской воды на счастье. Испили, Водича оказалась ледяной.

В одном из малых острожков Сапар-Арчманли-Хабдратани сказал, что ехать дальше не велят звезды. Казаки-тобольчане посмеялись над ним. Но Сапар-Арчманли-Хабдратани сказал, что он останется в острожке, ждать попутчиков, чтобы вернуться в Томской, а потом и к себе на родину. Со звездами шутки - плохи.

Караван переправился через несколько больших и малых рек и пришлось пробираться по узким тропам над пропастями, развьючив верблюдов и лошадей, перетаскивая тюки волоком. Камень, задетый ногой, срывался в пропасть, увлекая за собой лавину камней, и грохот гремел в ущелье, и эхо разносило его далеко-далеко.

Вдруг шедший впереди Юсуф-Ага согнулся, словно у него заболел живот, и рухнул в пропасть. Стрелы летели, словно с небес. Григорий выхватил из-за пазухи обрезанную рушницу, которую привык брать в походы, но выстрелить не успел. Петля аркана обвила его, прижав руки к бокам. За первым арканом прилетел второй, туже затягивались петли.

И Бадубайка, и казаки, и купцы все свалились в пропасть, кто сшибленный с тропы тяжелым камнем, кто - пронзенный стрелой. Только Григорий был жив, хотя и связан.

Странные низкорослые, круглолицые мужики в меховых шапках и кожаных штанах пленили его. Одни спереди тянули за арканы, другие сзади подталкивали копьями.

За уступом тропа вывела к широкой каменистой площадке, на которой горели костры. И теперь Григорий разглядел, что его окружили женщины. Они говорили на непонятном языке.

Одна из них сняла шапку и, смеясь, отерла с лица Григория холодный пот. И он увидел, что эта женщина, хотя и узкоглаза, но миловидна.

- А ну развяжите меня, не то я вам покажу кузькину мать! - свирепо вскричал он. В это время кто-то ударил его сзади дубиной по ногам, и Плещеев упал. Второй удар обрушился на голову.

Очнулся Григорий в пещере. Здесь были разостланы шкуры, на стене пылали факелы, возились у входа собаки, огромные и лохматые. "Чисто - телята" - подумалось Григорию. Он недоумевал: "А где же у них мужики? Все на охоте, что ли?"

- Где у вас мужики, ведьмы с лысой горы! - заорал он, уверенный, что его все равно здесь никто не понимает.

- У нас нет здесь мужчин, - сказала ему рыжеватая, но тоже узкоглазая женщина.

И тебе еще повезло, что тут есть я, ведь только я и могу говорить по-русски, остальные не говорят, и не понимают. А я долго была холопкой у одного уруса, я могу говорить и понимать. Зовут меня Хайрюза.

- Но куда же девались ваши мужчины?

- Никуда не девались. Их здесь никогда не было. Здесь живут женщины, правит которыми мудрая Дарон-Царан. Все мы ушли от мужчин, от их притеснений и их презрительного отношения к нам. А некоторые девушки наши родились уже здесь. Это очень уединенное место, здесь почти никого не бывает.

- Но если у вас нет мужчин, от кого же родились те девушки, которых ты упомянула?

Хайрюза потупилась. Долго молчала. Потом сказала:

- Поздней осенью Дарон-Царан назначает время похода. И тогда мы идем на охоту к острожкам, к охотничьим зимовьям. И отлавливаем одного или двух мужчин. Мы беседуем с пленниками. А потом убиваем их.

Хайрюза еще помолчала и добавила:

- Зимние дети бывают крепкими выносливыми. Девочек мы растим и холим, а мальчиков сбрасываем в пропасть сразу же после их рождения. Так приказывает мудрая и великая Дарон-Царан...

Тебя Дарон-Царан велела пока оставить в живых, но очень скоро ты будешь убит.

- А разве тебе не будет жалко меня, Хайрюза?

Она вздохнула:

- Не знаю. Может быть. Но таков закон. Мужчины грязные, они не любят работать по хозяйству, они не носят грузы, женщины всё делают за них, а мужчины пользуются плодами их труда, да еще и бьют их и бранят.

Зачем нам это? Мы сами можем шить, ткать, варить, но мы можем и охотиться, причем ничуть не хуже мужчин, и рыбу ловим не хуже, а уж брать орех, ягоды, копать коренья, так лучше нас мастериц на это дело и не бывает.

Хайрюза посмотрела в сторону дальних гор:

- Сейчас наши женщины собираются идти к Горящей горе, туда они направятся с кожаными мешками. Они наберут в мешки горючей смолы и горючего камня. Мы готовим это на зиму. Мне велено тебя стеречь.

Если ты надеешься сбежать, то совершенно напрасно. Тут у нас своры свирепых собак, я метко стреляю из лука. Да не зная троп, отсюда никому не выбраться. Посмотри на нашу правительницу. Если ты попытаешься сбежать, тебя изловят, и зажарят живьем.

Григорий с любопытством глядел на Дарон-Царан. Ей уж лет за полста, у нее осталось два зуба и оба - черные. Но держалась она важно, брови были сурово сдвинуты. На опояске халата - меч в позолоченных ножнах. На груди маленький круглый панцирь, тоже сверкающий позолотой.

Когда женщины, во главе с Дарон-Царан, отправились за топливом к Горящей горе, Григорий стал напрягать мускулы, чтобы опутавшие его веревки хоть немного ослабли.

-Хайрюза! - обратился он к молодой женщине, оставшейся сторожить его. - Я не привык бездельничать. Давай-ка я помогу тебе по хозяйству. Ты же добрая, мне об этом сказали твои огненные волосы, и твой тонкий стан, похожий на ствол березки. Ты же видишь, что я рогом - козел, а родом - осел, если короче - то не из простых свиней. Развяжи мне руки!



- Нет, - сказала Хайрюза, - мы общаемся только со связанными мужчинами. Мы им не доверяем. И последние свои часы на этом свете ты проживешь со связанными руками и ногами.

Возвратится Дарон-Царон. Побеседует с тобой, а потом, может, ты проживешь еще день, или два, как прикажет правительница.

- Плевать я хотел на эту старую ведьму! Я не стану беседовать с ней даже если она меня осыплет золотом! - рассердился Григорий.

- Тогда тебя просто сбросят в пропасть, туда, где коршуны уже выклеивают глаза твоим спутникам.

- Черт бы вас всех побрал! - закричал Григорий.- Но можешь же ты пожалеть человека? Мой боевой конь, когда слышит звуки трубы, то немедленно встает на дыбы. Старуха никогда о твоей снисходительности не узнает, не скажут же ей об этом собаки?

- Вон наш горный божок, который все видит, - указала Хайрюза на медного лупатого болванчика.

- Завяжи ему глаза тряпичей, да заверни в нее моего табаку. Это сделает его незрячим на время. Уж я знаю - сам шаман и лама урусский.

Хайрюза поколебалась, но все же сделала, как сказал Григорий.

"Вот это плен!" - думал Григорий, - разве мог я подумать, что меня пленят не воины, а женщины? Да об этом после и рассказать-то никому нельзя будет! Засмеют! Но если уж всерьез погибать, то весело! Разве страх и тоска помогли хоть одному приговоренному к смерти?

Хайрюза принесла туесок с медом. Григорий разевал рот, как младенец, которого кормит добрая мама, облизывая большую деревянную ложку. Он проглотил десяток яиц, сжевал огромную лепешку.

Потом женщина высвободила некоторую малую часть Григория, и он увидел, что на него наделся как бы живой цветок, рдеющий и прекрасный. И собаки лаяли, и дым от костра мешал. Хайрюза стыдливо сказала:

- Я сделала плохо. Очень плохо.

- Ты сделала хорошо. Ты насытила голодного и насытилась сама. Это одобрит и урусский бог, и ваш бусурманский. Но мне очень не хочется знакомиться с вашей проклятой колдуньей...

Вскоре явились женщины, они отнесли мешки в пещеру поменьше, которая была клетью для топлива. Когда вошли в жилое помещение, то каждая с любопытством поглядела на Григория. "Я погибну здесь небывалой смертью..." - подумалось ему.

Женщины поели, покормили собак, и только тогда Дарон-Царан приказала покормить Григория. И одна из женщин присела рядом с ним и стала черпать ложкой остатки каши из котла и совать ему в рот. Он жевал неохотно. Дарон-Царан заметила это, и что-то сердито сказала.

- Чего она? - спросил Григорий Хайрюзу. Та, пугливо оглянувшись на повелительницу, перевела:

- Она сказала, что тебе отрежут мужское достоинство, если ты не будешь подчиняться. Она сердится на то, что ты плохо ешь.

- Так пусть даст мяса, а не каши.

- Я не могу ей это сказать, она может сильно рассердиться.

Григорий покорно стал глотать кашу. Когда он все съел, Дарон-Царон подошла, вцепилась в его локоть и потянула за собой в глубь пещеры. Там была ниша в скале, застланная красным войлоком и украшенная шкурами двух ягуаров.

Расплывшееся, обрюзгшее тело Дарон-Царан походило на студень. Еще нечто виделось Григорию черной пещерой, обросшей розовыми грибами. Пещера эта вихлялась и вибрировала.

Дарон-Царан шипела и брызгала слюной.

"Убью!" - подумал Григорий. Но он видел, что неподалеку от ниши лежат собаки. Что он может сделать, связанный?

Дарон-Царан мучила его всю ночь.

А утром по приказанию Дарон-Царан ему пришлось быть с Хайрюзой. Он подмигнул ей, как старой знакомой. Однако тут же к ним подошла Дарон-Царан и стала пристально смотреть на них.

Ей впервые показалось, что мужчину можно было бы оставить в поселении на некоторое время. Но она тут же отогнала эту мысль: нельзя нарушать закон.

Затем женщины отправились собирать хворост, вялить рыбу и заниматься другими делами. Охраняла Григория опять Хайрюза.

Она опять накормила его медом и дала выпить целую ендову сырых яиц.

И Григорий сказал Хайрюзе, что не к лицу им бездельничать, тогда как другие заняты сейчас делом. Она согласилась, и они занялись делом, которое оба считали для себя важным.

- Жаль, что у меня руки связаны, и я не могу тебя в знак благодарности обнять, - сказал Григорий, - жаль, жаль...

Через какое-то время Хайрюза вышла из пещеры, посмотрела и в одну, и в другую сторону. Возвратившись, взяла нож и перерезала путы, кои сковывали Григория. Затем она собрала в мешок еду, положила туда жбан с вином, огнивец, подала мешок Григорию и сказала:

- Возьми-ка еще саблю, а пицаль твою старуха куда-то далеко запрятала. Бежим! Без меня тебе отсюда не выбраться. Тропы тут малые и запутанные. И теперь у тебя есть чем обнимать меня.

#### 34. РЫБИЙ ЗУБ

Горы были бесконечными, ранили острыми осколками камней, шумели камнепадами, и донимали ранним холодом.

После долгих скитаний в горах и степях, Григорий и Хайрюза наткнулись на отряд якутских казаков. С ними они и добрались до этого северного города. Ай, Якутск! Есть ли еще такой другой город на земле? Не может быть другого! Только россияне и могут так жить!

Говорили, что во время долгих здешних зим земля промерзает до дна и даже в жаркую погоду не оттаивает. Потому-то тут возле каждой избы было наготовлено множество дров.

Тамошнему воеводе Григорий не стал рассказывать о том, что стряслось с ним в ущелье, не стать бы смешным! Сказал только, что буря смела караван с горной тропы, а жив остался он один.

И словно по колдовству какому и в Якутском определили жить его к целовальнику. Но сей был молод, холост, а когда сказал про плату за квартиру, то Григорий понял, что все на свете целовальники одинаковы. Этот тоже был жаден.

Пришла долгая зима. В стылом этом городе и чувства застыли. Хайрюза мало грела сердце, сравнивал он ее невольно с Устиньей, да разве можно было сравнить?

Григорий от скуки стал пить вино. И быстро задолжал Якушке. И настал день морозный, тусклый и пуржливый, когда Якушка не дал Григорию более ни еды, ни вина, сказав:

- Надо за старое рассчитаться, наедено, напиток на десять рублей, да три рубля за постой.

Григорий взял Якушку за кудрявую голову и стал шептать в ухо:

- Что тебе эти гроши? У меня есть неразменный рубль. Я тебе его дам, но с условием. Что ты на него ни купишь, никогда не бери сдачи. И рубль этот сам по себе вернется к тебе в карман. Но имей в виду, что нечистая сила вселяется в того купца, которому ты даешь этот рубль, и купец тебе будет навязывать сдачу - не бери!

Якушка увидел, что ему дали обыкновенный на вид рубль. И он немедленно решил испытать его свойство. Пришел он в лавку купеческую, да купил там за рубль красивую заколку для своей зазнобы Дуняши. Шел и щупал кису: не вернулся ли в нее неразменный рубль? Не было неразменного. Пришел, говорит Григорию:

- Рубль неразменный не вернулся. Как же так?

- Он вернется только к утру, - пояснил Григорий, - чать, путь не близкий.

Лег спать Якушка, а кису-то под подушку спрятал. А Григорий ему в чай незаметно порошок добавил. После того чаю так крепко заснул Якушка, что и не слышал, как Григорий вынул его кису, положил в нее рубль и обратно под подушку затолкал.

Утром Якушка первым делом руку под подушку сунул: ого! Есть неразменный!

Пошел опять в лавку, купил огнивец новый, да пук мочалы. Купец стал ему давать копейку сдачи, но Якушка не взял, это же не купец дает - нечистая сила!

К утру неразменный рубль был опять в кисе у Якушки. Обрадовался Якушка. Что за жизнь настала! Каждый день можно что-нибудь задаром покупать.

Пошел в лавку, купил свечу за полтину, купец дает ему полтинник сдачи, не вытерпел целовальник, взял полтину сдачи. Пришел - кису под подушку, как всегда, упрятал. Думает: " Утром рубль неразменный вернется, да полтина есть. Получится полтора. Если каждый день по полтине сдачи брать, то сколько же за месяц всего выйдет?"

Встал утром Якушка: взял кису, а там - ни рубля, ни полтины, а только глиняный черепок лежит. Якушка к Григорию кинулся:

- Ты мне негодный неразменный рубль дал! Он в черепок обратился!

Григорий отвечает:

- Я же тебе говорил, что нельзя сдачу брать? Говорил! А ты же взял? Якушка потупился:

- Взял. Черт меня попутал. Дай еще один неразменный.

- Ну что ж, - сказал Григорий, - хоть ты и крепко передо мной виноват, да человек хороший. Даром не дам второй раз, но продать могу за тридцать рублей.

- Дорого! - стал торговаться Якушка.

- Милый! Я же тебе даю неразменный рубль, а у тебя беру простые.

И дал Якушка за неразменный рубль тридцать простых. С месяц шло все нормально, Якушка покупал на рубль чего-нибудь, а сдачи не требовал. Потом в лавке товар кончился. Надо было ждать весны, нового привоза.

И пришли вешние дни, лед на Лене прошел. И явился Григорий к воеводе Дмитрию Андреевичу. Что же делать человеку, если все его добро погибло вместе с караваном в диком ущелье? Дома своего нет, ничего нет.

И велел воевода готовить корабль в поход, чтобы по Лене-реке ясачить необъясаченных тунгусишек и якутов, на меха, рыбий зуб и прочее.

Большой корабль-коч был вместительным и мог ходить даже по морю. Взяли с собой большой запас пушечного и ружейного зелья, да вино, да для обмена: яркие цветные ленты, стеклянные бусы, камку, китайку, бронзовые зеркала, железные ножи и топоры.

Перед отъездом отслужили молебен в храме, казаки при том зажгли свечи перед образом Богородицы Одигитрии. Поклонились после всему городу Якутскому, да отправились на корабль. Местный богомаз написал образ Матери Одигитрии на парусе. Будет она всегда с казаками, и смотреть станет на дикие берега Лены, смягчая сердца инородцев.

Ветер был холодный, но проплыли дереvuшку, где на пригорках уже зеленела трава и девки водили хороводы, ходя по солнцу.

Григорию невольно вспомнилась оставшаяся в доме у Якушки Хайрюза. Она просилась с ним на коч. Да жонок в такие походы брать не велено. Да и не жонка она, Хайрюза, дикая, своенравная. Она явно эту зиму томилась в избе у Якушки. Вспомнил он и Устинью, рядом с коей далеко от сих мест лежал его мизинец.

Пошли пустынные берега. В тундрах девки в мехах тоже ходили по кругу, а руками изображали белого журавля-стерха, почитаемого солнцем.

Бывалый казак Долгушин рассказывал, что недавно на здешних берегах пятидесятник Волхин получил, было, ясак с людишек, кои угостили казаков олениной да вином. А когда казаки уснули, то порезали их да в реку побросали... Григорий решил смотреть в оба.

Приплыли наконец к безымянной речушке, впадавшей в Лену. Тут было обнесенное тыном селенье. Едва сошли на берег, навстречу полетели стрелы.

- По одежке встречают, по уму провожают! - сказал Григорий, - давайте щит.

Десять казаков несли длинный деревянный щит, другие, таясь за ним, палили сквозь дыры. Ходячая крепость поднималась по крутояру.

Местные отступили в свой острожек. Григорий велел переводчику кричать, что он пришел с миром и хочет дать подарки. В ответ прокричали, что великий тойон Сахтия не верит урусам и не хочет платить ясак.

Григорий отделился от своего отряда и пошел с переводчиком вперед:

- Пусть тойон Сахтия выйдет мне навстречу и возьмет подарок! И когда тойон вышел с охранником, Григорий подарил тойону медное зеркало. Крупный старик с интересом рассматривал в зеркале свое смуглое лицо, Григорий говорил:

- Я хочу научить тебя, о, тойон, замечательной игре. Ночи у вас длинные и вам в ваших шалашах скучно. Оловянный стаканчик и кости с точками. Выигрывает, кому больше выпадет точек. Я ставлю этот золотой перстень, что ставишь ты?

Тойон поставил на кон свою засаленную шапку. Григорий кивнул. И ... проиграл перстень с рубином.

Рыба клюнула! Тойон играл и выигрывал. Григорий проиграл свой серебряный крест, шапку, кафтан, и шапку переводчика, и даже свои сапоги! И тогда он сказал:

- У меня на коче много дорогих вещей. Их принесут сюда, а твои люди пусть принесут меха. И будем играть, кому повезет.

Сахтия весь дрожал от возбуждения. Точек выпадало то больше, то меньше. Духи были за него, потом почему-то отвернулись.

И он стал проигрывать.

Григорий приказал принести огненной воды. Тойон подкрепился. Игра пошла еще веселее. Выигрывая, тойон издавал победный вопль, смеялся, как ребенок, проигрывая, мрачнел и чесал пятерней седые космы.

Кончилось тем, что тойон Сахтия проиграл Григорию свою молодую жену, острожек со всеми его обитателями. Он поставил это все в надежде отыграться. И теперь сидел с угрюмым видом: все шло так хорошо, и так ужасно кончилось. А игра была о-чень интересная.

- Не унывай! - сказал Сахтия Григорий, - кабы бабушка - не бабушкой, то бы дедушкой была. Давай сделаем так. Ты приложишь руку к грамотке, по коей твое племя будет платить нашему государю ясак. Веками! А государь будет тебя оборонять. Меха, которые я заиграл, я заберу в счет ясака, а жену, так и быть, оставлю тебе.

Когда переводчик перевел это Сахтия, он оживился, попросил еще водки. И приложил свою царственную руку к грамоте.

Вскоре меха были погружены на корабль, Сахтия попрощался, было, с Григорием, но когда Григорий уже пошел на корабль, Сахтия вдруг упал на колени, простер к Григорию руки и завопил.

- Чего он? - спросил Григорий своих переводчиков.

- Он умоляет забрать у него жену, всех его холопов, только бы ты отдал ему свой волшебный стаканчик с теми волшебными костями.

- Ну, это можно, - весело сказал Григорий, - пусть принесут его люди еще меха, какие у них остались, тогда я и отдам свое волшебство.

И люди Сахтии принесли еще груды мехов. И это было погружено на корабль. И когда коч отплыл, Сахтия долго махал ему рукой и что-то счастливо кричал.

Он думал уже о том - сколько при помощи волшебных костей выиграет собак и оленей у других князьков, кочуя по тундре. Надо же! Урусский тойон отдал такую замечательную вещь за какие-то ничтожные меха!

Коч между тем пробирался по реке все дальше к северу. Мать Одигитрия ободряюще смотрела на казаков.

Вялилась на веревках рыбешка, сохло выстиранное казаками бельецо. Иногда мужики вздыхали: "Домой бы, баню с веничком, бабу сдобную, пирожков с калиной! Тяжела служба царская, а не служить - нельзя. Не мы, так - кто?"

Приплыли однажды на своем коче к морю, за которым, говорят, есть Новая Сибирь.

Неожиданно появились людишки на лодках, накрытых сверху кожей так, чтобы вода внутрь не попадала. Перевернется с лодкой и все равно не утонет.

У иных здешних людей через нижнюю губу был продет рыбий зуб изрядный. Пугливы: близко к кочу не плывут, к себе подплыть - не дают.

Белые льды, розовые чайки, синяя вода.

Уже бывавший здесь Нехорошка Колобов указал на обменный мыс. Причалили коч к обменному мысу утром, снесли на берег железные топоры, бронзовые зеркала, стеклянные бусы. Разложили рядами, да ушли на коч, отплыли за мыс,

- Не сопрут? - спросил Григорий Нехорошку.

- Ни в жисть! Бывалые люди говорили - всегда точно кладут плату за любую вещь. Соболя кладут, песка, зуб рыбы-моржа.

И когда коч подплыл к обменному месту, увидели казаки, что нет ни ножей, ни бус, ничего из того, что они оставили. Да и то: как местным жить с костяными топорами и ножами? Железные-то режут раза в три лучше.

И состоялся обмен. И за каждую вещь было положено как раз столько товара, сколько она стоила.

Белый медведь во льдах, нырявший за рыбой, поразил Григория. Нырнет, вылезет и рыбину дожевывает.

Зарядили пищали, поехали в лодке "скрадывать". Слыхали, что эта зверюга - куда лютее лесных медведей. Да и крупнее. Но русскому человеку и черт не брат. Охота - пуще воли. Пусть или он нас убьет, или мы его.

Вскочил медведь на дыбы, вот - сейчас достанет их! Залп из трех пищалей свалил великана. Стали свежевать, Григорий решил довести до дома шкуру, а то ведь не поверят.

Когда к берегу приплыли, увидели, что какой-то местный им машет. Позвали переводчика, не все он понял, но перевел, что человек этот местный охотник. Убить белого великана - подвиг. Они проявили большую отвагу. Уотельмей восхищен. Уотельмей расскажет всей тундре о великих белых охотниках.

Григорий подарил новому знакомцу пищаль, тот попросил его научить его огненному бою. И поставил Григорий на кочку свою красную шапку. Уотельмей стрелял по ней с руки, и пищаль чуть не убила его самого, ибо он не прижал приклад к плечу. И в шапку не попал.

Научил Григорий. Надо бить было с подставки, с рогатки специальной, или стрелять лежа, положив пищаль на кочку. И целить лучше, и приклад прижимать. И еще ударил Уотельмей, и шапка отлетела шагов на десять.

Уотельмей был в восторге. Принес шапку, показал Григорию дыру в ней, залопотал. Выяснилось, что зовет Григория в гости.

Пошли вместе с переводчиком. Прихватили стеклянные бусы да хлебное вино.

Хижина Уотельмея была устроена из жердей со шкурами. Над очагом в котле булькало мясо, раскосые ребятишки выглядывали из-под шкур с лежанок, устроенных полукругом.

Три женщины хлопотали над приготовлением ужина. Расселись все вокруг очага, женщины доставали из котла мясо, подавали мужчинам. Уотельмей взял кусок мяса в рот, отрезал его подаренным бухарским кинжалом возле самых губ. Григорий не рискнул так делать, просто разрезал мясо на кусочки. Затем он достал из принесенной с собой корзины оловянные стакашки, кувшин с вином. Принялся потчевать Уотельмея и его женщин. Пил сам, наливал и переводчику.

В конце ужина переводчик уже не мог шевелить языком. Григорий так и не понял: которая из женщин - жена хозяина и кем ему приходится две другие.

Не самая молодая, но и не самая старая, указала Григорию на кожаный мешок, знаками показывая, что нужно раздеться и влезть в него. Григорий так и сделал, женщина втиснулась в этот же мешок, лицом к Григорию. Мешок притиснул их друг к другу. Запах браги, снега и рыбы. Вой ветра за стеной убогого жилища.

Со спины давила меховая внутренность мешка, было тепло, пахло дымом, костер угасал. Некоторая теснота не докучала, а тепло двух тел противостояло полярной стуже, уже пробившейся в утлое убежище. И полубезумье, и дрема. Григорий очнулся, когда мешок свалился с лежанки и подкатился к тлеющим углям очага.

Григорию зажгло бок, запахло паленым. Женщина быстро выскользнула из мешка, отодвинула его вместе с Григорием от горячей золы и втиснулась обратно. Странен был этот ночлег в золе и нерпичьем жире, с запахом паленой шерсти. Ночлег на краю света. Ведь дальше уже ничего не было, кроме ледяных полей с белыми медведями, да ледяной воды.

И, засыпая после тяжких и праведных трудов, Григорий вдруг увидел далекий немецкий город и Марту в белоснежной кружевной рубашке. Пудра и притирания, бальзамы и благовония, шелк, атлас, бриллианты. А тут - нерпичий жир! И это тоже жизнь на земле!

### 35. КНУТ ВОЛОВЬЕЙ КОЖИ

Колыхание коча. Бег нарт. Охота. Мена. Белые медведи. Оленина. Места неизвестные на краешке земли. Но жизнь шла и в других местах, и ей не было до Григория никакого дела.

В ту самую минуту, когда Григорий проснулся в чуме возле погасшего очага, лежа в меховом мешке, в Москве, князь Трубецкой делал очередной доклад царю и тот между прочим спросил - кончилась ли томская смута? Кто наказан и как?

Трубецкой поведал, что Волынский с Коковинским медлят. До сей поры следствие по сему делу не кончено. Бунаков считается с ними по всем делам градским, конца же тому не видно. Плещеева отправили в Якутск, но ни чина, ни имущества не лишили. Из Томского сквозь все заслоны пролезают в Москву смутьянские челобитчики.

-Я чаю, надо спрашивать поостороже! - сказал царь, прислушиваясь к мелодичному звону аглицких часов. Этого слова было достаточно, чтобы переменить судьбы людей во многих концах страны.

В Москве челобитчиков били кнутами, после отправили по тюрьмам, на каторгу, а кому-то и голову отсекли, чтобы другим было неповадно.

В Томской ушла грозная грамота воеводам. Велено было перестать тянуть волынку, немедля закончить разборы с Бунаковым, да прислать его для суда в Москву.

Григория Плещеева приказывалось разжаловать в рядовые казаки, лишить всех прав на томское и якутское имущество.

Копия сей грамоты была отправлена в город Якутской, к воеводе тамошнему.

Таковы тяжелые слова великих государей.

Царь Алексей Михайлович сказал об ужесточении наказания зачинщикам томской смуты и тут же забыл об этом. Государственных дел много.

Последние семь лет были неурожайными, это вызывало недовольство мелких людей. Где-то в кадке у стрельца колодезная вода вдруг оборотилась кровью, где-то летали над лугом стрекозы ростом с теленка. Поди, все разбери. Но бунтами Москва была сыта по горло. И когда речь шла о бунтовщиках, он только и говорил, мол, пожестче надо!

Строгий отец, посылая сына по воду, порол его, приговаривая: "Не разбей кувшин!", понимал, что когда разобьет, пороть уже будет поздно. Вот и царь хотел любые ростки крамолы в землю втоптывать, чтоб не взошли. А стоило ему слово сказать, появлялся указ: "Государь указал, бояре приговорили..."

Через какое-то время слова государя аукнулись в Томском городе. Михаил Петрович Волынский сказал Бунакову:

- Пришло из Москвы, лишить тебя всего состояния, закончить смотреть твоё дело, да отправить тебя в Сибирский приказ.

Илья Микитич посерел лицом. Долгое разбирательство в Томском было ему на руку. Пройдет время, многое позабудется.

Оно и Волынскому с Коковинским спешить было некуда: хотелось все получше счесть, чтобы недоимок после не было. Но теперь они заспешили с отправкой Ильи, а он и сам

заторопился: хоть смерть, да дело бы к концу. Ехать в Москву и высказать наболевшее! А там - хоть на плаху!

А поздно ночью пришел на двор к Илье Микитичу Коковинский. Богдан Андреевич сказал свояку, что завтра дьяк отбудет в Тобольской город с послами Алтын-хана. Без этого соглядатая они и решат дело по-свойски. Приговорят они Илью к битью кнутом, но бить его палач не станет. Только зачитают бумагу о наказании, потом распишутся оба в ней, что оно состоялось. Вот и все.

- Не стану я в этом скоморошестве участвовать! Пусть в Москве бьют! - разгневался Бунаков.

- Попридержи гнев! - сказал Богдан Андреевич.- Мы ведь - по-свойски поступаем. А в Москве-то так отхлещут, что и кожа слезет, а то и на плаху пошлют, с них станется. А так в бумагах будет писано, что здесь ты уже наказан. Второй раз им будет наказывать невместно, отступятся...

И была разыграна скоморошина. Пришел Илья Микитич в съезжую. Зачитали ему воеводы торжественно бумагу свою, да сами же свели его в пытошную. Палач там был новый, молодой, по имени Некрас Михайлов, из крестьян. Не поняв сначала, что от него требуют, начал грубо срывать с Бунакова одежду. Но Волынский сказал:

- Охолони, Некрас! Он сам разденется. Да на козле его не привязывай, он сам ляжет, да кнутом - только коснись, сие и будет означать, что Илья Микитич наказан. Да не вздумай кому-либо потом проболтаться.

Некрас понял. А уж так хотелось ему почесать кнутом воеводскую спину! И не в том дело, что Некраса воеводская власть чем-нибудь обидела, нет. Бунаков всегда за крестьян вступался. Осип их на стройку, бывало, забирал во время сенокоса и обмолота. Обирал дочиста. Бунаков же освободил их от строительных работ, защитил. Но простолюдин всегда рад стоящего над собой прибить, только не всегда случай выдается. А вот не выпало - воеводу отстегать.

Прилег Бунаков на козла. Стыдно было и унижительно. Но Коковинский прав. В Москве могут придумать наказание такое, что и живота лишат. А второй раз наказывать не станут, Бунаков правила знал.

И Некрас коснулся его спины кнутом, от чего тело Ильи Микитича тотчас покрылось холодными пупырышками. Приблизилось ему, что его в самом деле кнутом секут. Даже боль дикую ощутил и спина полосами пошла багровыми покрываться. А лицо стало багровым от стыда, от унижения. Слезы выступили.

- Ладно! - сказал Волынский. - Наказан кнутом, в чем и руку прикладывать будем. А ты, Илья Микитич, можешь идти.

И вышел из пытошной Илья Микитич, сгорбившись, а тут еще любопытные: что да как? Пришлось притворяться, что и вправду еле идти может.

Со стыдом великим добрался до избы, где жил после приезда Коковинского, которому отдал свои хоромы.

Пришло время грузить имущество на дощаник, а грузить было нечего. По цареву указу всего лишен. Только и погрузили вино да вяленую рыбу - подарок томских казаков. Да один сундучишко с мехами, у соседей до поры спрятанный.

В Москве его отвели в Сибирский приказ и посадили в подвал вместе с обовшивевшими разбойниками. Кто жалел его, а кто смеялся над ним, крест нательный и то сняли.

Трубецкой сам с ним не разговаривал, поручал подьячим и те расспрашивали с бранью и криком. Были и с Осипом Ивановичем ставки очные. Но тот жил у себя дома, а Бунаков под стражей, в подземелье.

Удалось передать на волю родственникам, чтобы просили за него царя. И жена расстаралась, похлопотала, все пороги обошла во дворцах. Ведь его не только в Томском имуществе лишили, но и в Москве во время смуты у него усадьба сгорела, а он в это время царскую службу правил в Сибири далекой. Кнутом бит, сир, наг, да в подвале еще держат столько времени.

Дошли его мольбы до царя. И опять, во время беседы с Трубецким, спросил царь, а как там наказаны томские бунтовщики? Трубецкой сказал:

-Насчет Гришки Плещеева в Якутск грамота отправлена, да пока ответа оттудова нет. А Илюшка Бунаков в подвале сидит. Ведем сыск.

- А не пора ли его отпустить? - спросил царь. - Ведь был уже в Томском кнутом бит, там сыск провели, имущества лишили, а здесь у него усадьба сгорела. Наказан уже и богом, и людьми. Так пусть в новую какую службу идет, зарекся, поди, воровать-то.

- Что ж, можно и отпустить, - сказал Трубецкой, - только насчет кнута - сомневаюсь. Пришла бумага от Петра Сабанского да других томских детей боярских о том, что Волынский с Коковинским Илюшку только в пытошную завели, а кнутом сечь не велели. Пишут, что у тех, кого кнутом секли, рубцы на всю жизнь на спине остаются. А у Ильи-де тех рубцов на спинке днем с огнем не сыскать...

- Проверяли? - с веселым любопытством спросил царь.

- Сие не проверяли еще, но можем проверить.

- Не нужно, - сказал Алексей Михайлович, - страху и так нагнали, будет теперь, как шелковый. Это он за глаза от власти заворовал.

А вот Плещеева в Москву ни под каким видом не возить. Мы из-за его дядюшки много тревог приняли, хватит!

- Все сделаем, великий государь!-поклонился Трубецкой.

### 36. МОНАХ-ОХОТНИК

Коч был нагружен мехами, рыбьим зубом, парус раздувался, плыли не ходко, против течения, мешали бури. Сильно холодало, надо было спешить до ледостава вернуться.

Дошли до впадения в Лену реки Бесюке. Видели в пути, как собаки волокли против течения туземную лодку. А на берегу Бесюке узрели шалаши-яранги, да костры многие.

Да, подплывая к этому месту, видели старичка седенького, маленького. Он плыл в своей малой утлой долбленной лодчонке на закате по водяному следу, оставленному кочем. Старичок черпал воду из водяного следа берестяным черпаком, да сливал в берестяное ведро. А вода была красна на закате, как кровь.

И свернул старичок на лодочке своей в реку Бесюке, пристал в тальниках к берегу и исчез.

- И этих надо поясачить! - сказал Григорий, указывая на поселок.

С коча было видно, как варится в казанах оленье мясо. Рога только что зарезанного оленя приколотили к дереву. Оленью кровь налили в плошку и понесли в жертвенный амбарчик, чтобы мазать губы этой кровью кожаным своим идолам.

Но не видно было с коча, как маленький старикашка с ведерком воды, набранной из водяного следа, пробрался на древнее кладбище, достал из могилы старый череп и стал проливать водицу сквозь его глазницы. Переливал он воду из берестяного ведра в оловянный кувшин. Когда всю перелил, череп положил на место, а с водой в кувшине пошел к берегу.

И только Григорий со своими людьми ступил с коча на землю, старичок стал кланяться, прижимать руку к сердцу и показывать им кувшин, дескать, он хочет их угостить.

Стакана не было, старик предлагал глотать прямо из кувшина. Григорий взял кувшин да отхлебнул изрядно. И зашумело у него в голове, как от целого ведра вина, не успел других предупредить, они тоже сделали по глотку. А в это время вой, и визг оглушили округу.

С многих малых лодочек нехристи лезли на коч, сдернули парус с Матерью Одигитрией, многих побили пиками. Да пробили днище корабля топорами, так что он затонул.

Переводчик, чуть живой от страха, сказал, что их взяли в аманаты.

Через какое-то время дурман от старикова угощенья прошел. И казаки увидели себя связанными. Их увели в острожек, сделанный из тонких сухостойных валежин.



Пленных спихнули в яму, окруженную частоколом, в котором была малая калитка. Всех пленников было двенадцать, с Григорием вместе. В яме не было никакой подстилки, сидели на корточках, греясь друг о друга, дремали. Иногда подходил кто-нибудь к краю ямы и плевал туда, а иные так и справляли малую нужду,

Раз в день кидали в яму обглоданные кости, кишки разных животных, раз кинули дохлую собаку. Григорий своих подбадривал:

- Как щука ни остра, не возьмет ерша с хвоста, а коза на горе выше коровы. Велено, чтоб стало зелено. Переводчик, кричи басурманского начальника!

Пришел черный ликом, брови его были схожи с двумя круто натянутыми луками. Сказал:

- Будете орать, уьем!

Григорий пояснил ему через переводчика, что есть в Якутске ихние аманаты. Если что случится с Григорием и его спутниками, то тех аманатов повесят. Лукобровый отвечал:

- наших аманатов в Якутске нет, которые там есть, на тех нам плевать! Но если на промыслах ваши люди оберут наших охотников, как это не раз уже бывало, мы вас порубим на корм собакам!

- Сдохнем! - говорили казаки.

Григорий приказал ночью копать острыми костями дыру в стене. Днем садились к той дыре спинами, чтоб ее не было видно. На седьмой день работы можно было вылезти в ту дыру. Правда, выход получился не за тыном, а внутри острожка.

Первым полез в ход Григорий. Едва он высунулся из дыры, на него кинулись собаки. Раздумывать было некогда, выдернув из одного шатра стойку, замахал ею, как дрыном, сбивал остальные стойки.

Тех, кто выскакивал из-под шкур, лупил дубиной, ногами, а иногда и кусал, если было удобно. Если тебя собаки грызут все сильнее, почему бы и самому не покусаться? Собаки вон - только зубами и воют.

Где-то рядом ухал и ругался Бажан.

Сонные враги были быстро побиты. Кривобровый лежал с перерезанным горлом, лицо его было удивленным.

Стряхнув со спины собак, Григорий стал и их угощать дрыном.

Битва кончилась. Разыскали под остатками шатров оленину да сушеное мясо и рыбу, половину Григорий велел оставить здесь, здешним старикам, жонкам, да детям.

И двинулись в поход, хотя не знали ни дорог, ни троп. Боялись наткнуться на большое стойбище, вести по тундре летят быстро и скоро за ними может быть погоня. Тогда уж не помилуют, если изловят.

Шагая по бездорожью, еле передвигая опухшие ноги, закусывая пойманными мышами, которых варили в котелке, как бы варили всякое живое мясо, Григорий вспомнил детство. Где ты, косточка-невидимка?

Всегда его тяготили всякие ограничения, которые устраивала для него матушка. Хотелось делать не то, что ему говорили. Хотелось сбежать куда-то. Для этого нужна была косточка-невидимка. И он искал такую кошку, чтобы не было на ней ни одного светлого волоска. Варил эту кошку целый месяц каждую полночь в чугунном котле. Надо было, чтобы все косточки истаяли, кроме одной. Оставшаяся косточка сделает его невидимкой. Уж натворит он тогда делов!

И хватало терпения. Месяцами не спал, но косточки так и не истаяли. Теперь-то косточка-невидимка так бы пригодилась!

Безжизненная земля была на пути. То вставали на пути болота бескрайние, то скалы неприступные, приходилось возвращаться, искать другой путь. Дни шли. У людей стали шататься и выпадать зубы. А без зубов молодому мужику - разве не обидно? И нельзя было найти ни одной опавшей ягодки на земле, ни одна птица не вылетела из-под ног, ни один червячок не прополз по земле.

- Видно, сгинуть нам здесь голодной смертью, - сказал Нехорошка Колобов. - А вот слышал я, что один отряд попал в такую беду, а спаслись и вышли из пустынной земли потому, что атаман приказал поедать самых слабых.

При сих словах Нехорошка пристально посмотрел на переводчика Тимоху, у которого уже совсем заплетались ноги.

Григорий приотстал от Нехорошки, а потом изо всех сил ударил его в шею тунгусским копьём.

- Нехорошка устал больше всех, - сказал Григорий. - Дырой дыру не заткнешь, он этого не понял. Не я его убил, а сам он себя. Прости, Нехорошка, земля сия слишком камениста, нет сил хоронить тебя. Оставайся так. И бог нас рассудит...

Уже в полу беспмятстве доползли до какой-то гривы. Там были кустарники и кривые сосны. И Григорий велел с сосен сдирать верхнюю кору, а нижний слой соскребать, варить в котле, да туда же строгать прутики, которые помягче. И после все ели эту древесную кашу и пили отвар от сосновых ветвей и от прочих ветвей, какие там удалось найти.

Потом двинулись дальше. И Григорий по пути пел песни и светские, и духовные. Пел об ангелах, пел и о чертях. Сам себя он не видел, а на спутников было страшно глядеть: живые скелеты.

И однажды впереди открылся лес, и пахнуло дымком. И увидели они полуземлянку, и полати из жердей на деревьях, и тропы, идущие от жилья.

Подошли к избушке, но не хватило сил даже открыть дверь ее. И тогда вышел из избы человек в монашеском одеянии и сказал:

-А я-то думал, что скребется кошка. Вижу, православные, что тяжело вам пришлось. Заходите. Зовут меня Богданом. Я монах.

Это крайнее у тундры зимовье. Послан я сюда в послушание за грехи многия. Молюсь, да готовлю меха для монастырских сундуков. Так себе прощенье зарабатываю. Пораньше ныне заехал, чтобы к первотропу все подготовить ладом. Боюсь здесь не зверя, но лютого человека. Нехристи на такие одинокие зимовья любят налетать. Но пока бог миловал...

И вспомнил Григорий, как дошли они в тундре до высокого, тонкого камня, похожего на указательный перст, указывающий в небо. Когда отдыхали возле этого камня, думал Григорий - куда же потом идти? Направо? Налево?

И в полудреме, в полубреду пригрезился Григорию человек в зеленом подряснике, монашеской шляпе и с посохом в руке, русобородый, синеглазый. И теперь он видел, что именно этот человек им и встретился. Само имя его говорило о том, что он дан им богом.

Отец Богдан жарко натопил печь, нагрел в котле воды с целебной травой, да велел всем раздеться и искупаться. Покормил кашкой, да уложил спать, иных на топчане, а иных на медвежьих шкурах, посланные на пол. Тесненько спали, да хорошо. А монах выстирал одежду, высушил да заштопал.

Быстро окрепли они в таежной избушке, помогли целебные травы, да молитвы отца Богдана.

Помогли монаху расставить по первотропу на таежных дорожках силки да капканы. Выстрогали себе лыжи с запасом, сделали луки да стрелы. Дал им отец Богдан крупы, вяленой рыбы.

До Якутска было далеко, но они опять были сильны, знали, как разжечь костер в тайге, как заночевать в лесу, отбиться от зверя, да от человека, который иной раз бывает страшнее любой зверюги. И все надеялись добраться живыми и невредимыми.

А небо все чаще и чаще посыпало ледяной крупой, то мороз трещал льдами на озерах. И спали, закапываясь в снег. И спали в тайге, поджигая на ночь два сухих дерева, сваленных на землю, зажженных и всю ночь дававших жар. И все новые неведомые горы, увалы, холмы вставали перед путниками.

Князь Трубецкой приказал подьячим написать, что дело о томской смуте закрыто. Многих били кнутом, разжаловали, заслали, куда Макар телят не гонял. Не надо боле возиться с Бунаковым: отпущен по велению царя.

Всего семь месяцев назад послал Трубецкой в Якутск указ лишить Плещеева состояния, да из боярских детей поверстать в простые казаки. И вот из Якутского ответ - исполнено! Удивительно, лет двадцать назад никто и не поверил бы, что так быстро можно получить ответ из такой далекой земли,

Все! Не нужно боле выслушивать послухов-свидетелей, да кляузные стенания князя Осипа, который, по правде сказать, сам изрядно виноват в томской смуте.

В Томской отписано, чтобы во всех пивных кабатчиками были ярыги, да, подавая вино, слушали бы, что болтают питухи. В Москве эти ярыги во всех кабаках сидят, во всех государевых банях выдают шайки да веники, на мельницах мельтешат. Везде царевы глаза да уши. Иначе нельзя: страна велика, народ буен, не уследишь, не жди добра!

Князь Осип в это время скакал в полном парадном облачении в село Покровское, вместе с другими боярами, дабы сопровождать в Москву царицу Марию Ильиничну. То, что он удостоился сей чести, означало, что его томская неудача ему прощена, служба продолжается, глядишь, и повышение выйдет, если будешь близко возле царя.

Можно вскоре и окольников стать. Его недруг Ильюшка тоже при деле, начальником зеленых погребов стал. Хитер! Сколь набедокурил, а вышел сухим из воды.

Когда сопровождал возок с царицей в обратном пути, князь старался скакать поближе к возку Марии Ильиничны. Картинно держал руку на рукояти сабли, дескать, защитим, матушка, обороним!

Однако в Москве, возле дворца, когда царица выходила из возка, другие вельможи его оттерли, царица как бы его и не заметила вовсе. Обидно стало до слез. Всюду препоны в жизни, всюду недруги.

Приехал домой, отдал коня холопу поводить, остудить да чистить, кормить, поить. Сам пошел в покои.

Богаты были хоромы князя, хоть бы кому из царской фамилии подстать. Были палаты, соединенные меж собой зимними садами с диковинными растениями. Были ветреницы над крутыми крышами, а по углам железные, кружевными коваными решетками украшенные, стоки для воды. Кольца для коновязи были медные, каретники имели медовый цвет, за ними толпились бесчисленные амбары.

Заглянул князь в девичью. Недавно привезли из подмосковного имения девок-рукодельниц. Приглядел уже одну, Василисою зовут, тонка в талии, а глаза радужные: зрачок - сияющие кружочки, один - в другом.

Девки кружева плетут, а руки дрожат, князя испугались. Позвал Василису. Вышла, смотрит невозмутимо.

- Пойдем, поможешь! - сказал. Идет за ним, думает, чего помогать-то? Куда? По лестничке узкой на второй этаж каретника поднялись, там, на рядне, грибы разложены, ягоды сохнут на ветряке осеннем.

Обнял князь Василису, как медведь облапил, не шелохнуться, не вырваться. Прижал. Чувствует. Кость эта внизу не зря лобком зовется. Не лоб, а лобок. Нежно. Гладко. Повалил. Грибы скользкие, давятся, из ягод сок брызнул.

Ах, Василиса, Василиса! Тринадцать твоих годков! Все, что надо, уже есть и даже больше. И князь от тревог своих отрешился. Растаял сердцем.

И не кричала. Только, когда все кончилось, смотрела на него пристально, не мигая. Не по себе князю стало. Полез по лесенке вниз:

- Ты... это... сарафан смени...

Молчит. Осталась наверху. Сидела молча. В темноте уже сошла. На другой день у князя Осипа, ни с того, ни с сего, жеребец сдох. Тот самый, на котором царицу сопровождал. Но это бы ладно, хотя тоже жалко, такие жеребцы на дороге не валяются, такого и на базаре не купишь, из страны мултанской был привезен. Но самое-то главное - что?

Лег спать князь с Аграфеной своей, княгиней, она его гладит, она ластится, он бы и не прочь полюбить, а не получается. Аграфена ворчит.

- Говорила я тебе, охальник, поменьше по бабам шастай?! И медвежья сила когда-нибудь кончается!

Князь сам себе не верит. Не может быть! Никогда в жизни подобного не было. Аграфена пальцами - так, сяк его отросток шевелит, но даже признака жизни нет, так, тряпочка никчемная. Княгиня ртом взяла, языком шершавым водит по крайней плоти - ничего подобного! Как заколдованный!

У князя аж сердце захолонуло. Так и есть. Околдовали! Василиса. Кто же еще? Это после близости с ней началось.

На другой день князь расспрашивал домоправительницу свою Прасковью: за Василисой ничего не замечала? Та говорит:

- Как не заметить, батюшка князь, как не заметить? Многие уже заметили: в трубу летает. Сторож видел. Вылетела ночью в трубу, улетела, а как обратно вернулась - не видал, задремал он.

- Я вот ему всыплю, чтобы не дремал больше в карауле. Ну и слуги пошли, только хлеб мой жрать. Что же? Говорили с ней?

- Да нет, князюшка, милый. Это же бесполезно. Днем-то она, как все. Она, может, сама ничего не помнит, что ночью делала, где ее черт водил.

- А в баню-то с ней вместе ходили? У ведьмок, говорят, хвостик махонький бывает.

- Да ходили, батюшка. Дак не приглядывались. Вроде, какой-никакой махонький хвостишко есть у нее, красненькой.

- Ну, так в следующий раз подробней рассмотри...

А потом ночью домоправительница разбудила князя, шепчет:

- Не прогневайся, а только Василиса на крыше стоит, на самом краешке, прошла по краю, как по полу, и свалиться не боится, и под ноги не смотрит. Идет себе. Полетит сейчас, айда посмотрим...

Князь не сразу проснулся, а когда понял - в чем дело, как был, босой, без порток, зашлепал на улицу. Глянул - мать честная! Стоит Василиса на крыше терема, на самом краю, не шелохнется. Над ней луница полная сияет, и смотрит Василиса на луну. А что там выглядывает?

Присмотрелся князь, и увидел на луне профиль не то человека, не то зверя какого. Красная такая луница. Батюшки! Она и силу мужскую отняла, она и жизнь отнимет!

Но не полетела. Постояла и тихонько по краю крыши прошла до лестницы, спустилась, не видя князя и домоправительницы, прошла в двери и в девичью ушла.

- Чего же она не полетела?

Прасковья поясняет:

- Как же, князюшка, мы же ведуна звали, он под "князек" осиновы клинышки вбил, по загнетке золу рассыпал осиновую. Вот Василисе и нельзя теперь вылетать через трубу. Поднимется по лесенке, постоит на краю крыши, а тяги нет, не тянут ее черти. Да только она и без полета напакастит, если захочет. Ведьма, так ведьма и есть.

Всю правду сказала Прасковья. Гусей откармливали чистым зерном, так всех до одного раздуло. Сдохли. У одного гуся даже и перо почернело! Слыханное ли дело?

Чтобы не было еще какой потери, сообщили в тайный приказ. И увели туда Василису. И поскольку она признаваться не хотела, набили на нее колодки да в Сибирь далекую с другими арестантами отправили под охраной.

В дальней дороге ведьме - хуже всех. Все ее боятся, все сторонятся. Никто куска не подаст - боятся сглазу. Ишь, обернулась какой красотой! Нарочно, чтобы дурных приманивать.

А князь ходил довольный. Недавно еще одну девчонку на сеновал сводил и все получилось! Пришел домой после этого, с Аграфеной лег и... тоже получилось!

Вот что значит - вовремя снять злые колдовские чары! Вот они, враги рода человеческого! И креста не боятся! Но умеючи можно комариху доить, так люди знающие говорят.

Деньги есть, заплатим за все. Против денег и нечистая сила не устоит. Жаль, мало еще князь по своим заслугам от государя получил. Другие с его не страдали, а сколько всего

имеют? Трутся возле государя, врут. А царь-то не всегда видит, кто ему - верный слуга, а кто только таким притворяется. То-то и оно!

### 38. ДИАМАНТ

Когда брели в дикой скалистой местности, казалось, что попали в ад. Черные камни торчали тонкие и высокие, как персты, воздетые к белесому небу. На каменистой почве в очередной раз переломали все лыжи, решили сделать привал в пещерке, неожиданно открывшейся перед взором путников.

Кое-как насобирали хвороста, валежника и развели костер. И острый выступ скалы, выстуженной морозами, был нагрет языками костра и треснул оглушительно. И среди копоти что-то блеснуло.

Острием копья Григорий выковырял камушек, подержал каменное зернышко на ладони и потом сказал казакам:

- Сей камень-диамант. Он, видите, чуть темнее хрустала, он прочностью таков, что ни в огне не горит, и не расшибешь его ничем. Размягнуть можно, лишь положив его в козье мясо с кровью. Однако, козла того сперва надо выкормить петрушкой да напоить вином, а уж после колоть. Тогда размягнется камень и можно его огранивать.

У аглицких людей и во фрязах с сего камня гранят украшения. Ценится дорого. Надо нам, братцы, его навывокыривать. Он будет всякому полезен, ибо если его при себе имеешь, он отгоняет ночные видения. Если же кто тебя отравить захочет и к тебе приблизится, сей камень запотеет. Можно им пользоваться от порчи и заикания. А ежели диамант зашить в шапку или левую полу, со стороны, где оружие носят, то он силу придаст и оборонит от ворога лютого.

И наломали в той пещере казаки камня-диаманта, сколько найти смогли. Махоньки камушки да дорогие, пригодятся.

А однажды вышли к небольшому острожку, стоявшему на пригорке. Кто в нем? Крались к нему в ночи, боясь снегом скрипнуть, разведчики, слушали. И вдруг услышали под утро родное русское ругательство. Кто-то до ветру вышел да матюгнулся.

В острожке зазимовал русский отряд, шедший ясачить тунгусишек. Одни им дали ясак, зато другие люди лесные встретили их толпой в несколько тысяч человек. Многие казаки погибли в неравном бою, а часть ускакала, да на скорую руку срубили они острожек на холме у кромки бора.

Враги окружили острожек плотно. Казаки съели уже своих лошадей, разделили горстями последнюю муку. В острожке вместе с казаками было десять аманатов. Казаков было лишь вдвое больше, чем пленников. Аманатов тоже приходилось кормить. Иногда атаман Семейка Дружинин выглядывал за острог и кричал:

- Эй, черти лесные! Или дорогу нам освободите или аманаты сдохнут - кормить нечем! Давайте жратву для заложников!

Лесные люди кривлялись, и показывали руками непристойное. Они явно решили взять отряд измором. Пускали днем стрелы, ночью дежурили, жгли костры. Григорию со спутниками еще повезло, что незамеченные пробрались в острожек со стороны леса. Пурга как раз была.

Время от времени лесные люди пытались штурмовать острожек, их пугал только огненный бой. Ждали: кончатся в острожке селитра и порох.

В острожке было несколько заготовленных, но оставшихся бревен. Григорий приказал строить башенку, которую называют казаки Гуляй-Горотыней. Сруб с отверстиями для стрельбы летом ставится на колеса, а зимой - на лыжи. Ходячая крепость помогает прорвать окружение.

Люди в меховых одежках в эти дни праздновали басурманский праздник. Они водили по поляне медведей, которых, видно, выкормили

из медвежат, ибо у каждого из Мишек было кольцо в носу. А один мужик в высокой меховой шапке был не хуже медведей: имел в носу серебряное кольцо, он распоряжался, стучал в бубен.

И выволокли басурмане на поляну огромного медведя, чепь привязали к дереву. И под звуки заунывной песни стали метать в медведя дротики и стрелять из луков. Медведь ярился, вставал на задние лапы. Наконец вырвался, порвав нос, но сил у него уже не было, пробежав немного, рухнул.

Тот, что был с бубном, сожрал медвежье дымящееся сердце. Лесные, нанизав куски медвежатины на вертелы, жарили ее на кострах, показывали казакам дымящееся мясо, жрали, и было видно, как жир капает с их усов в снег. Нехристи пили пьяное пойло с мухоморами и черт знает, с чем еще. И к ночи приустиали. И тогда Григорий сказал:

- Будем прорываться, братья, пусть половина ляжет, зато другие будут свободны. Аманатов связать, им кляпы в рот. Пусть тут остаются.

И вот ворота острожка распахнулись, и выехала Гуляй-Городыня. Внутри ее одни казаки толкали башню вперед, а другие стояли на лавках и стреляли во все стороны.

Гуляй-Городыня раскатилась на своих лыжах под уклон, грохнула внутри ее литавра, запела труба, завопили казаки на разные голоса. На своем пути Городыня опрокинула несколько шалашей, плюясь свинцом, прошла по вражескому лагерю, но, домчавшись до оврага, упала на бок. А кольцо было прорвано, казаки сигналы в лес, надевали лыжи.

Григорий был легко ранен в руку. Все бы ничего, если бы не безлюдье и морозы.

Уже еле волочили по снегу самодельные лыжи, когда вышли к таежной заимке. Здесь жил Тимофей Долгой. Бежал из Руси в нети. Дошел до малой речки в лесу, и место понравилось.

Поселился с сыновьями вдали от всех. Поляны распахал. В одном из ручьев соль добрую нашел. Варить ее легко и чистая. Охотится, рыбачит, и малая водяная мельничка своя.

- Зову себя свободным землепашцем. Никому не плачу. И вы меня не выдайте, если к людям выйдете. Сюда лишь зимой и пройдешь, А летом - одна тропа над болотами идет, да и та под водой. Одна беда: парней скоро надо женить, а не на ком. Думаю, думаю. А на ком? На медведицах? И то еще хорошо. Никаких иных девок на тыщи верст вокруг днем с огнем не найдешь.

До тепла прожили у Долгого. Помогали ему по хозяйству. А как пришла весна, прилетели птицы из дальних стран на сибирские озера, проводил Долгой секретной тропой казаков и указал им путь до ездовой дороги.

Все чаще встречались одинокие, пустые зимовья, пепелища костров. Вот и вышли на дорогу, где валялись конские шевьяки. Стало быть, недавно тут люди проезжали, стало быть, скоро и еще проедут. И через день пути нагнали их конные казаки. За ними на телегах ехали девки, много девок! А за ними - опять казаки, с копьями да пищалями. Григорий спросил десятника:

- Где же это, братья, вы столько малины насобирали? Куда везете? Не дадите ли нам по ягодке? Попробовать? Казак отвечал:

- Ягоды-то есть, да не про твою честь! - и пояснил:

- Сии девицы с Печоры-реки с деревень собраны по царскому указу. Сопровождаем мы их от Тобольска до дальних острогов. Их аж сорок штук. Сам царь Алексей Михайлович распорядился этих девок в Сибирь дальнюю доставить, да распределить между глухими острогами, дабы там выдать их замуж.

- Так, может, они в своих деревнях просватаны?

- Их никто не спрашивал, государь указал, а бояре приговорили.

- Маловато - сорок девок на всю Сибирь.

Один из казаков, кудрявый, пропитый и прокуренный, рассмеялся:

- Девками они были, я чаю, еще на Печоре своей, из них до Камня девкой доехала только одна. Да и то нам не досталась, подъячий испортил. Да, ладно, нам и так сойдет. От Тобольска - до сего места с каждой из них по сорок раз переспал. Теперь их пусть в жены берут, кто хочет, нам убытка не будет.

С отрядом этих казаков и доехал Григорий до Якутска. Что было сказать воеводе? Был коч, а теперь его нет, из большого отряда в живых остались лишь шестеро. Нет ни ясачных записей, ни рыбьего зуба, ни мехов.

В доме у Якушки уже не было Хайрюзы, куда она девалась - целовальник не знал, ушла однажды утром из дома и не вернулась. Он более ее в Якутском не видел.

В воеводской канцелярии Григорий положил на стол десяток диамантов, чертеж приложил, как до горы дойти, где этот камень брать. До середины лета допрашивали его и других казаков. А как такой-то погиб? А как этот утонул? А Нехорошка, значит, с высокой скалы сверзился? А уж с казаками уговорено было, что говорить.

Записали все в бумаги. А тогда и сообщили Григорию, что из Москвы было указано лишить его чина, имущества да отправить в Енисейской город, простым казаком. Жалованье за поход ему, однако же, выплатили, как боярскому сыну. Киса его потяжелела.

Отбывая к месту новой службы, взял он с собой лишь книги ученые, припрятанные им диаманты, да тыквенную баклагу с добрым вином. Вино веселит, диамант хранит от напастей, а при случае и деньги за него возьмешь немалые.

### 39. ЖЕЛЕЗНАЯ ГОРА

Енисейск был наказан господом за грехи его жителей, было тут весной такое наводнение, что льды, как скалы, падали на стены крепости, разрушая их, И многое было сметено с лица земли, разрушено. И до этой поры город еще толком не отстроился.

Григория сам воевода Пашков расспрашивал о его житье-бытье в Томском, да потом в Якутском. Потом сказал:

- Енисейской ничем не хуже Томского. Жилья пока нет. Поломало все хоромишки. Однако, возле женского монастыря есть изба, где живут двое бывших знатных. Определяю тебя к ним. Там один алхимик тоже раньше в Томском служил. Теперь руду да камни ищет. Вот ты и помоги ему, грамотность твоя в здешних местах редкая.

Григорий осмотрел новое место жительства. На берегу Енисея, между впадающими в него речушками Толчейной да Скородумом, поместился кремль, в коем, кроме царских служб, была еще церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Вдали виднелась Железная гора, там добывали руду, из коей, говорят, выплавляют белое немецкое железо, делают болванки для пушек, корабельные скобы и многое другое.

Григорий подумал о том, что в его судьбе уже были две горы: Воскресенская в Томске, Вознесенская - в Кузнецке, а теперь вот - Железная, здесь. Получается - воскрес, вознесся, теперь станет железным?

На устье Толчейки Григорий увидел большое плотбище с лесопильными мельницами, с горами бревен. С кораблями, которые были в строительных деревянных решетках. Ссылные украинские казаки в смушковых шапках похаживали по плотбищу с трубками-висюльками в зубах, усы у них были прокурены и вислые. А курить-то опять запретила Москва. Только в Сибири не все указы сразу исполняются. А иные не исполняются вообще никогда. Да и то сказать, при Михаиле Федоровиче ноздри за курение рвали, при новом царе велели торговать всюду царевым табаком. Теперь одумались, и вновь велют не курить.

Казаки покуривали, стучали топорами, да пели свою песню:

То ще добре козацька голова знала,  
Що без вийська козацького нэ вмирала...

А перед плотбищем возле реки Толчейной, кою еще кличут Мельничной, виден Христокрещенский монастырь.

Перекрестившись на монастырские стены и кресты, Григорий спросил встречного мужика - как найти Французанина? Мужик указал на ветхую развалюху, где даже крыши не

было, а вместо нее положен был дерн, из которого выросла маленькая березка, трепетавшая на ветру листочками.

Григорий постучал в дверь. Отворил ее человек в кружевном грязном фряжском воротнике, в полукафтани, когда-то модном, но очень заношенном. Человек имел живые, черные, маслянистые глаза, бородку клинышком, тонко подбритые усики. Был черен волосом и задумчив.

То, что они оба сперва были сосланы в Томской, а теперь вот - сюда, делало их как бы родными. Савва хлопнул в ладоши, и вошла старая карга, одетая почему-то, как одеваются девки, и платок у нее не был завязан под подбородком, как это бывает у женщин.

- Она прозывается девицей, - пояснил Французанин, - хотя подрабатывает передним местом. Но замужем не была.

- И находятся до нее охотники? - удивился Григорий.

- Ну, в сей стране мало жонок, и потому казаки иногда к ней заходят. Все это мне тягостно воспринимать. Но что же делать, если негде жить?

- Девица! - обратился Григорий к бабке Акулине, - вот тебе рубль, подай нам с Саввой вина и закуски.

Акулина принесла глиняный кувшин с вином да тарелку с квашеной капустой.

- Это - закуска? - удивился Григорий.

- А что же еще? - поджала губы бабка-девица Акулина. Глядя в окно, Савва сказал:

- Идет еще один жилец здешний, сам он аглицкой земли, у него здесь непростое дело,

- А что за дело?

- Пусть сам расскажет.

Гарвей Каролус выпил стаканчик хлебного. Закусывать не стал. Набил трубку, высек огнивецом искру, помотал трут и прикурил трубку.

Затем, ерзая на пеньке задом, дергая коленкой, стал рассказывать о своем деле.

О, Гарвей здесь тяжело зарабатывает свой хлеб! На родине он был моряком. Прибыл с купцами на Русь. Да черт его попутал, спер в одной церкви серебрянный подсвечник и попался.

И вот увезли в края, где морозы дикие, где честному моряку не прожить. Корабли здесь строят варварские, ходят на них, полагаясь на глаз. А его, Гарвея, к кораблям тем не допускают, определили к работе на суше. Работа тайная. При Христокрещенском монастыре находится тюрьма для чернокнижниц и колдуний. Там есть пытошные подвалы, дыбы, клещи, горны для каления железа.

Вот там Каролус бьет кнутом, пытается раскаленным железом ведьм, которых сюда собирает тайный приказ со всей Руси.

- А что, есть среди них молоденькие? - осведомился Григорий.

- О, всякие есть! Бывают совсем молодые.

- И ты их мучаешь?! - сердито воскликнул Григорий, стукнув ладонью по столу.

- Это есть моя служба, - сказал Каролус, выпивая еще стакан хлебного. Он запустил свою волосатую лапищу в блюдо с капустой. Был он кривоногим, широкоплечим, а все лицо было усыпано бородавками, словно сам черт постарался отметить его подобной внешностью.

Одного такого я уже отправил на свидание с тем дьяволом, который его породил, сказал Григорий сердито. - В чем же повинны те самые ведьмочки, с коими ты столь немилосердно поступаешь?

От вина лицо Каролуса пошло красными пятнами, он рассказывал:

- Разные у них ухищрения, которые им нашептывает сатана. Так говорят ваши ярыги и послухи. Есть такие, что соседскую скотину портили, есть, что людей глазили, а иные делают мужикам килы и невстанихи.

Ага! А невстаниха, что может быть хуже для мужика да и для его жонки? А это сами ведьмы признают при пытке сразу же. Они, как железом прижгешь их, не только вину признают, но и колдовскую свою просьбу к сатане рассказывают. Одну я переписал для себя...

С этими словами Гарвей пошел к своей лежанке да вытянул из сумы свиток небольшой, расправил на столе, прочитал:



- Как птица пьет воду и сама дуется, так бы у того кила дулася по всяк день, по всяк час, от ея приговору...

Видите? И воду сквозь пробой льют, а потом человеку пить дадут. И покойника нитью обмотают, а потом живому эту нить к одежде прицепят. А коренья наговорные?

А то младенцев из чрева вынимают. Соседка забеременеет, уже три-четыре месяца проходит, глядь, а ребенка-то во чреве нет! А иная женские рубашки жгла, а как государь куда проедет, в государев след пепел сыпала, чтобы челобитные государь исполнил. А челобитные те воры разные писали!

А одна слепая сама, а насылала на вино порчу, кто выпьет того вина, тому косматые кажутся, сидят и сеют человечьи кости через огромные решета...

Гарвей выпил подряд два стаканчика вина и продолжал:

- Была такая, что соседку сглазила, и стала та соседка кукушкой вопить и зайцем. Да что говорить! Сколько мужиков те ведьмы скопцами сделали, сколько детей уморили, сколько добрых женок попортили!

Да еще намучаешься с ними, пока сознаются. Да ведь они меня самого сглазить могут. Посмотрели бы вы, какие бывают глаза!

- Тебя каленым железом прижечь, у тебя тоже глаза с пятак станут! - сказал Французанин.

- Это говоришь по недомыслию, - заключил пьяный Гарвей. - Если бы ты читал записи пытошные, ты бы по-иному думал. И не думаешь ли ты, что по царскому указу мы зря сжигаем этих ведьм, после того, как их вина будет доказана?

Французанин глянул испуганно. Всякое оскорбление царского величия каралось смертью. Достаточно было в разговоре высказать сомнение в правильности какого-либо из царских указов. Григорий же усмехнулся:

- Значит ты, аглицкий мореход, думаешь, что, вывернув бедняжкам их белые руки, покалечив их битьем и огнем, да понаписав всякую чепуху в расспросных бумагах, ты можешь жечь себе подобных?

- Могу! - воскликнул Гарвей, - и прямо скажу, что нравится мне привязывать это зло ко столбу, обкладывать хворостом, соломой да дровами, да метать потом смоляной факел и смотреть, как они корчатся, корчатся, корчатся!..

- Ложись спать! - сказал Григорий, - ты пьян. А будешь орать, так я тебя тресну, что ты сам скорчишься, даром, что ты в плечах широк, зато умом тонок...

Григорий с Французанином еще долго беседовали, после того, как Гарвей в своем углу свалился на лежанку. Григорий знал, что в Томском Савва показывал разные картины при помощи хрустального шара, который подвешивал на ниточке. Теперь спросил у Саввы про тот шар, правда ли, что шар сей волшебный и будущее может показывать и прошлое? Савва отвечал:

- Шар отобрал у меня дьяк Томской. Да что ему с того шара толку? Шар без хозяина ничего, никому не покажет... Да я думаю найти новый хрусталь в здешних горах, тогда сделаю иной шар.

- А возможно ли здесь найти серебро или золото? - поинтересовался Григорий.

- Воевода надеется, что мы отыщем железную добрую руду или медную. Но кто знает? Может, есть и золото в здешних степях и горах. Поедем скоро. С первым теплом и тогда уж все, что сможем, найдем. У меня есть хороший, совершенно волшебный способ, который очень немногим ведунам известен.

- Про искусство твое я слышан, - сказал Григорий, - теперь бы посмотреть тебя в деле.

Так они беседовали в развалюхе, где пахло табаком, кислой капустой, прелыми онучами и черт еще знает чем. Грязь в избе была изрядная, видно, девица престарелая Акулина не очень-то дружила с водой и метлой. И дуло в щели, и потолок грозил обвалиться. А в маленькое окошечко были видны монастырские кресты, а дальше черная железная гора, на склоне которой сутились люди, как мураши.

## 40. ХИТРЫЕ САПОГИ

Проплыли стадами льдины по великой реке, распушились вербы и талины, закричали птицы по озерам да лугам. Стало тепло.

Григорий с Саввой собрались в поход. Причем Савва сказал, что не стоит с собой брать еще казаков. Большой отряд в горах - лишние хлопоты. А если что ценное найдешь - надо на всех дуванить. Лучше по горам ползать вдвоем, лошадям меньше корма потребуется, да шуму меньше будет.

Взяли с собой сумы переметные со всяким оружием и рыболовным припасом, да рыбы вяленой запасли, да винца в малых бочках.

И пошли лесом, лугами, увалами и дикими распадками. Изредка встречали одинокие пустые зимовья и ночевали там. Видели пепелища костров. Вспугивали стада косуль, но нигде не видели людей. Это было даже им на руку. Зачем лишнее любопытство? Да и еще какой человек попадет. От иного лучше даже спрятаться. В том, что Савва был ведун, Григорий вскоре убедился на деле.

Забрались они в пустынное предгорье, легли спать возле дерева-лиственницы, наломав лапника, стреножив и привязав к осинкам лошадок. Не раздевались, сняли только сапоги. И поставили их носами в одну сторону, откуда пришли. А когда проснулись, Григорий увидел, что сапоги уже стоят далеко от них и носами совсем в другую сторону повернуты.

- Это ты сапоги перетащил туда? - спросил он Савву. На что Савва ответил:

- Нет, это они сами.

И был еще день пути, и опять, ложась спать, поставили сапоги рядом, а когда проснулись, Григорий увидел, что сапоги их убежали на дальнюю поляну.

И в третью ночь Григорий решил не спать, и поймать Французанина, когда он сапоги будет перетаскивать. И взял он в руку кинжал и как начинал задремывать, так колот острием себя в бок. И увидел: под утро сапоги их сами собой развернулись в иную сторону и запрыгали по склону холма. Он потряс за плечо Французанина, а сапоги в тот же миг замерли на том месте, до которого допрыгали, Французанин потер глаза и говорит:

- Чего тебе?

- Сапоги.

- А-а, опять упрыгали? Я же тебе говорил! Это они нам дорогу указывают.

Так и не понял Григорий, что за скоморошина с этими сапогами была.

Возле одного озера Савва Французанин вырезал тонкие талины и загнул их таким образом, что они как бы рогами устремлялись вперед. И шел, и держал эту талину впереди себя Савва Французанин.

И рассказывал, что в родном Брабанте он для таких поисков использовал молодой орешник и нашел в горах ртуть, за что получил от своего маркиза изрядную горсть золота.

Вот после отбыл он в Россию, зная, что это, край богатый всякими рудами. Но его оговорили московские немцы, обвинили во всех смертных грехах колдовских да в Сибирь же и сослали. Благо, что он дворянского рода, а то бы и главу ссекли ни за что.

- А не тешишь ли ты, Савва, беса со своей лозой? - спросил Григорий.

- Как тебе сказать? Вот ты смотришь глазами, а ведь они светятся только благодаря Люциферу. Ты смотришь, не зажмуриваешься и не просишь ослепить себя?

Люцифер свою силу берет от дальних светил. А камни драгоценные - разве не осколки тех светил во чреве земли? Ну и Люцифер помогает найти мне те камни, которых люди так ждут. А раз им это надо, я это и делаю. Зачем же воевода велит руду искать?

Спали одну ночь у огромного болота, и всю ночь в нём что-то ухало и выло. В другой раз ехали в совершенно голубом ущелье. Гулко стучали копыта. Григорий закричал:

-Эхо! Слышишь ли ты Григория?!

- И эхо ответило:

- Твое горе я!

И горе не замедлило к ним прийти. Свистнули стрелы, полетели дротики. Кони пали. И вскрикнул Французанин, уязвленный в ногу копьем.

И связали путешественников неизвестные люди в белых треухах, утащили в свои шалаши. И пришел их шаман и стал спрашивать:

- Зачем здесь ходите, урусы? Чего в наших горах потеряли?

Хорошо, что шаман немножко по-русски понимал, а то бы и мычать только пришлось бы на его расспросы.

Савва с Григорием объяснили, что хотят мир посмотреть, чтобы описать все, что есть на земле.

- Это плохо, - заключил шаман, - если вы опишете наши места, сюда явятся урусы и станут ковырять наши горы, как они ковыряют гору в Минусинск-Туре.

Я бы без разговоров приказал отрезать вам обоим головы, но я видел, что вы спали, а ваши сапоги сами бегали по поляне. И я понял, что вы большие колдуны, Я вижу теперь, что ваши сапоги, как у всех людей, из простой кожи, они не защитили даже одного из вас от ранения. Но вы мне скажите слово, по которому бегают сапоги.

- Это можно сказать только во время полнолуния, а сейчас луна на ущербе, - сказал Савва.

- Хорошо, я буду ждать, а вы поживите пока связанные, вас будут хорошо кормить.

Через неделю Савва от своей раны в голени загорелся весь, как огонь, он терял сознание, и когда приходил в себя, то просил, чтобы его поскорее убили, так у него болела нога. Григорий сказал шаману:

- Секрет бегающих сапог знает только Савва Французанин, но если опухоль с ноги пойдет выше и дойдет до сердца - Савва умрет. Отпустите нас на Енисейск, только там есть знахарь, который может его вылечить. Тогда мы вернемся, и Савва расскажет тебе свой секрет...

Вообще-то Григорий знал, что Савва обречен. Не было такого врача ни в Енисейске, ни на Москве, который бы мог спасти человека при этой болезни. Только где-то в английской земле, говорят, был врач-оператор, который отсекал больные конечности и иногда ему удавалось этим спасти больного. Но говорили, что половина больных после отсечения руки или ноги все равно умирала. Шаман же сказал:

- Ему не нужен енисейский знахарь. У нас тут есть свой лекарь, мой друг. Я позову его, и он сегодня же полечит твоего друга.

В шалаш вошел седоглавый великан и принялся распоряжаться. Прежде всего, он удалил из шатра всех, кроме шамана и Григория. Затем приказал разжечь посильнее костер, поставил на огонь казан с бараньим жиром.

Из своего мешка басурманский врач извлек стесанное с двух сторон полено, секиру с коротким черенком, да бутылку с коричневой жидкостью. Старик лекарь налил целый стакан коричневого пойла и заставил Савву выпить его.

Французанин как раз пришел в себя, увидел, что тут затевается, и завопил, что не хочет лишаться ноги.

Старик сказал шаману, чтобы тот перевел Французанину такие слова:

- Зачем кричишь? Я великий врач. Я отсекаю ноги и руки многим нашим больным воинам. Все они до сих пор живы и благодарят меня. Тебе совсем незачем беспокоиться. Если не отсечь - помрешь.

Когда бараний жир закипел ключом, старик окунул в него свою секиру, велел держать Французанина крепче, подsunул под его больную ногу свое полешко, размахнулся секирой и, крикнув, отхватил Савве ногу повыше колена. Затем он подтащил к ноге Саввы, дико кровоточившей и хлеставшей фонтанчиками крови в отрубленном месте, казан с расплавленным жиром, и полил этой кипящей жидкостью рану.

Савва дико взвыл, дернулся и потерял сознание. Но кровь сразу унялась. Туземный доктор оставил бутылку коричневой жидкости в шалаше, сказав, чтобы Савве давали пить по полстакана утром и вечером. И ушел.

Шаман похоронил обрубок Саввиной ноги неподалеку от шалаша. Пояснил:

- Нехорошо, если его съедят собаки, это не даст ему поправиться. Через неделю Савва попросил есть.

И еще через неделю сказал, что нога у него страшно чешется, в отрубленном месте отстают струпья, но сильной прежней боли он уже не чувствует. У диких людей, оказывается, есть даже свои операторы, словно бы в какой европейской стране.

Прошел месяц, шаман развязал Григорию руки, но на ногах у него были колодки. Савва стал поправляться.

Целебные отвары трав, и первые ягоды, которые приносили соплеменники шаману Табанкулу, - всё это оказало живительное воздействие на организм Саввы. Ночами, когда шаман забывался чутким сном, Савва еле слышно шептал Григорию:

- Я помогу тебе сбить колодки и беги. Мне уж отсюда не выбраться.

- Выберемся, - шептал Григорий, - ты умеешь отводить глаза. Да и я зря, что ли, столько всего на свете повидал?

В разгар тепла сказал Табанкул, что пошлет их поискать серебро, но пусть не помышляют о побеге. Григорий будет в колодках, а Савва с одной ногой далеко не ускачет. Сопровождать их в горы будут самые сильные и смелые воины.

И вскоре они уже ехали в горы. Григорий сидел на лошади, свесив ноги на одну сторону, это было неудобно и замедляло движение. Один из нерусей приказал снять колодки, да привязать Григория за пояс веревкой к переднему всаднику. Теперь Григорий ехал на привязи. Когда въехали в ущелье, Григорий опять заорал:

- Эхо! Слышишь ли ты Григория?!

Эхо не замедлило ответить:

- Горе я!

Земля дрогнула, со склонов покатались камни. Трещины змеились среди каменных стен, причудливыми линиями разделяя их на части, разверзалась земля и ручьи, запруженные обвалами, быстро обраовывали озера.

Григорий соскочил с коня, подхватил под руки Французанина, который полз среди дикого хаоса. Охранники кричали, и падали, и воздевали руки к небу.

- Землятресение - сказал Савва Французанин. - Мне доводилось попадать в такое в Пиренеях, но тогда я был еще на двух ногах.

- Надо прижаться к скале! - воскликнул Григорий, увлекая за собой Савву. С грохотом летели камни, поднялась туча пыли, откуда-то хлестанула вода. Испуганно ржали лошади, вскрикивали люди.

Когда все стихло, Григорий и Савва не могли узнать ущелье. В нем текла река, а дальше - разливалось и становилось все больше озеро.

- Вверх! - крикнул Григорий. Он лез из последних сил, таща за собой друга. Сердце готово было выскочить через горло, одежда изорвалась в клочья, пот заливал глаза.

Через полчаса все же достигли вершины горы, ее позвоночного хребта, а там увидели более или менее гладкий травянистый склон. Решили просто съехать по склону, лежа на спине.

Но не раз приходилось вставать на четвереньки, ощупывать шишки и ссадины, ползти, потом снова катиться, пока не уткнулись ногами в малый ручей с прозрачной водой и песчаным дном. Зачерпнув воды ладонями, чтобы умыться и попить, Григорий заметил желтую крапинку на дне ручья. Она блеснула на солнышке и исчезла. Отдохнув немного, Григорий сходил к березовой роще, надрал бересты, пришел опять к ручью, возле которого лежал полуживой Савва, сказал:

- Попробую промыть песочек, поблазнилось, что на дне ручейка была блестка.

- Блестки бывают разные, - сказал Савва, - но попробуй. Григорий зачерпнул песка и воды, принялся встряхивать берестяной кузовок, сливал воду, смотрел, что осталось. Пятнадцатая промывка дала малюсенькую золотую песчинку.

- Золото? - спросил Григорий Французанина.

- Оно! - подтвердил он. - Да ведь может быть случайная крупинка, сколько я находил таких ручьев: две-три случайных крупинки намоешь, а потом - хоть тресни - нет ничего.

Григорий работал кузовком еще, и еще, сделал себе кузовок и Савва. Число намытых крупинок росло. Ниже по течению ручья блесток оказалось больше.

- Намыть-то здесь можно, но нам нужно отсюда выбираться поскорее, если горные духи нас пощадили, то голод не пощадит, да и раны залечить надо,- сказал Савва.- Чую, что тяжело тебе со мной придется, забрались в тар-тара-ры, а ни лошадей, ни оружия,

- Ладно, - сказал Григорий, - еще несколько промывок, чтобы хватило на доброе вино, да чтобы нанять пару женок помоложе бабки Акулины. А затем уж поташу тебя. Да что! У тебя сапоги сами по ночам бегают!

- Теперь у меня только один сапог, - грустно заметил Савва, - вроде и нет ноги, а чувствую, как на ней пальцы шевелятся...

#### 41. ВЕДЬМЫ И ДЬЯВОЛ

В тот самый день, когда стало известно, что в апреле 1652-го года помер патриарх Иосиф, Григорий отправил письмо в Москву. Он не держал зла на покойного, хотя по его хлопотам угодил в Сибирь, чтобы жить без почета, без славы и денег.

Всего год назад покойный предсказал воссоединение Руси с Украиной. И верно предсказал. При Алексее Михайловиче многие церковные земли и слободы отошли к государству. Иосиф сумел исподтишка обратно расширить церковные владения, а царю помогал справиться с бунтами, проповедями и писаниями призывал народ к спокойствию и трезвости.

Со дня ссылки Григорий имел три надежды: первая была на то, что царь сменился и Алексей Михайлович отменит указ своего батюшки о ссылке Плещеева. Другая надежда была на дядюшку Левонтия, который стал судьей земского приказа. Дядюшку народ растерзал.

А виноват патриарх, он помогал царю народ сжимать потуже петлей. Ворожей и скоморохов в дома не водить, не петь шутейно на свадьбах, не плясать с медведями, не играть в карты. Запретны - позорища, хари-маски, домры, сурны, гусли, гудки, их ломали, а музыкантов - в каторгу.

А оброк все выше, а вместо хлебного жалованья - денежное, а деньги обесценились. А дядюшка в том виноват? Он лишь исполнял то, что патриарх с царем указывали. А если где и брал взятку, так кто их в таких чинах не берет?

Григорию после смерти дяди на кого надеяться было? На смерть Иосифа. Новый патриарх, глядишь, обратно вернет. А так вся жизнь пройдет в запустении.

Уговорились с Саввой ничего о золоте не говорить, сбывать его проезжим купцам понемногу. Для Саввы один казак с Украины сделал деревянную ногу, казак тому искусству у литвинов учился. Ногу пристегнули ремнями, и запрыгал Савва на деревьях, далеко не уйдешь, но все же хоть свет божий увидишь.

Григорий же исходил весь Енисейск. С одной стороны град сей ограничивался Енисеем. Столько река была широка и столь быстра, что ничего подобного прежде Григорий нигде не видел. Могучие потоки воды бешено мчались в даль, и сравнить это было не с чем. Дикий восторг, дремучую радость вызывал этот полет, хотелось самому мчаться куда-то, сворачивать горы на пути.

С двух сторон город ограничивался малыми реками: Толчейной да Скородумом. И еще был меж реками ров, чтобы город получался как бы на острове. За ровом было пустынное, болотистое, с чахлыми березками, поле. Там находился Убогий дом. Вообще-то дома никакого не было там, но была совсем маленькая, полуразвалившаяся часовенка да сторожка-полуземлянка, где жил сторож Гервасий, полуслепой, вечно пьяненький.

Возле одной стены был здесь ров изрядный, куда бросали тела безродных, бездомных, ссыльных, басурманишек, прочих незнаемых, ненужных людей. Добрых горожан хоронили при двух монастырях да четырех церквах. Над могилами высились огромные черные кресты, которые высотой превосходили ограды и могли смотреть на могучий Енисей.

Сторож Гервасий в холодное время года трупы не зарывал вовсе, мертвяки валялись во рву как бы на поле боя: головами друг к другу и - наоборот, и как попало. Лишь по теплу выходил иногда Гервасий с лопатой ко рву, вяло ковырял землю и пошвыривал в ров.

И, не зарыв бедолаг, а только припорошив их землей, шел он к тюрьме, либо к монастырю, либо к караулке и просил у всех денежку, сетуя на то, что жутко ему проживать рядом с мертвыми.

Надо рвом Убогого дома вечно кружилось воронье, забредали туда огромные медведи и волки.

Григорий постоял тут, склонив голову: тоже думали, любились, ненавидели. И что же? Лежат аки псы прибитые, ни на что не годны, даже на мыло.

После, оглядывая мужской монастырь, возле которого было обширное озеро, по берегам которого гнездились птицы, Григорий вдруг подумал, что неплохо было бы уйти в монахи. Но тут же отбросил эту мысль. Ну, какой же с него монах? Не будет в таком чернеце истины.

В городе было множество малых речушек, ручьев, а через них были перекинута причудливые мостки. Уже были отстроены новые башни и грозно смотрели на луга и леса.

Приходил Плещей и к высокой Железной горе, смотрел, как каторжники бьют ломом, как тащат лошадки короба с рудой.

Долго стоял на плотбище, где стучали топорами вислоусые украинские казаки, строя кочи. А далее были слышны звоны молотов в кузнях, взвизги пил. Было много мощи в новых домах-крепостях, построенных из отборного леса, с подвалами из дикого камня. Сибирские цветы, не столь пышные, как в южных краях, поражали своим щемящим ароматом.

Вечером в хижине бабки Акулины Каролус Гарвей рассказывал, как пытал очередную ведьму, хвастал тем, что сумел вырвать признание и поэтому подлую девку приговорили к сожжению. За каждое сожжение он получал дополнительную плату, да еще бочонок вина.

- Кто присутствует при казни? - поинтересовался Григорий, - народу показывают?

- Нет, это секретно,- ответил Каролус. - Раньше случалось, но при Алексее Михайловиче велено это делать втайне. Приходят подьячий, писец, поп, да иногда настоятельница Параскева Племянникова любопытствует.

Да ведь опасно! Ведьма-то корчится в огне, а изо рта вдруг язык коровий высунется, а то и вовсе - скажут змеи. Мало ли что может случиться? Она перед смертью и сглазить может. Я лишь вином спасаюсь от скверны, да еще амулет ношу, морскую выучку имею. Потому и жив до сих пор.

- Возьми нас с Саввой на твоё дело, - попросился Григорий.

- О, это никак нельзя! - замотал нечесаной башкой Каролус,- о, это совсем даже нельзя! Что скажет подьячий? Что скажут стражники? Что скажет игуменья Параскева?

- Да ей-то что за докука? - спросил Григорий.

- Она входит во все дела наши, - пояснил Гарвей, - она может меня службы лишить.

Григорий уже сумел продать часть добытого золота и пообещал Гарвею десять ефимков, если тот позволит посмотреть на казнь.

Гарвей сказал, что выберет время, когда игуменья не будет в монастыре. Он сам определяет время казни, она зависит от его настроения, привести душу в должное состояние - не так просто...

Однажды утром Гарвей позвал Савву и Григория посмотреть казнь ведьмы. Прошли в заднюю калитку, пудовый замок Гарвей открыл своим ключом. Здесь на заднем, отгороженном дворе монастыря были двери в подвал тайного приказа. Сошли в подвал вместе с пьяненьким подьячим Федотом Затынным.

В подвале на соломе лежала женщина, ноги которой были вдеты в колодки. Глаза ее запали и были окружены синевою, но они были все равно прекрасны. Она смотрела на вошедших воспаленно и обреченно. Она уже устала надеяться на чудо, все, что могла, передумала, все муки вынесла и теперь ждала конца, как избавления. Григорий сказал:

- Мужики! Я дам вам по полста рублей каждому. Зачем вам жечь ее? Не лучше ли ей каждую ночь сгорать огне страсти, а утром возрождаться к новой жизни и копить силы для новой ночи? Какая вам выгода, если она сгорит насовсем? Ведь сжечь можно и чучело?

Подьячий хоть и был пьян, но стоял ровно и сказал звучно:

- Мы не пойдем против царева дела ни за какое золото!..- Он подумал и сказал:

- Если ты хочешь с ней перед сожжением позабавиться, то плати, и мы снимем колодки. Но смотри, как бы она не забрала твою душу в ад, не напустила на тебя порчу, хотя это - твое дело.

- Я хочу, чтобы она жила! - воскликнул Григорий.

- Это никак не можно, она будет сожжена, это уже записано в бумагах. А позабавиться с ней ты можешь, хотя Каролус повывернул ей руки из суставов...

Палач поднял женщину с соломы, в каменном этом мешке каменный пол был вышаркан коленями узниц. Они приковывались цепью к стене, и сколько они проводили тут времени - кто знает?

Пытки и допросы велись ночами, во тьме ночной здесь по двору проходили люди с факелами, лязгали запоры, звенели цепи, слышался хрип и лай несчастных женщин. Иная вдруг рычала басом, и это еще более убеждало всех, что ее устами говорит бес.

Палач поднял женщину с соломы, два стражника подхватили ее под руки.

- В чем виновата сия жонка и чем это вы ее поите? - спросил Григорий.

Подьячий в полголоса пояснил:

- Поим отваром маковых головок, а виновата во многих бесовских делах.

Глаза женщины оборотились на подьячего:

- Неправда. Горшки на брюха намetyвала с приговором, лечила, не всем помогало - по грехам их. На мед шептала... Ой! - вскрикнула она, палач в это время связывал ей руки и ощутила боль в вывернутом плече.

- Боярин! Спаси! Век буду молить! - обратилась она к Плещееву.

- Не боярин я ныне, а простой казак, рад бы спасти, да, видишь, не слушают...

Во дворике, отгороженном от монастыря особой стеной, Гарвей, отхлебнув вина из кувшина, деловито прикручивал женщину к столбу веревкой.

- В прошлый раз у меня одна красotka сразу не сгорела, ведьмовские штуки, костер загас. Но больше не дам беса тешить. Молоденький попик с некоторой опаской пошел к женщине:

- Крест примешь?

Женщина не отвечала, мотала головой, дергалась, веревки все ту же впивались в тело.

Священник удалился, смотреть на казнь не хотел.

Гарвей складывал вокруг столба с женщиной хворост и дрова. Отошел в сторону, ударил огнивом по кремню, вспыхнувший смоляной факел метнул ловко, так, что политый смолой хворост враз запылал.

Видеть все это было тяжело. Григорий обернулся и понял, что Гарвей ест глазами свою жертву. Он повторяет все ее конвульсии, тяжело дышит, пуская слюну и кусая себя за руку.

Плещеев изо всех сил ударил его в неудобное место. Затем подхватил бледного от ужаса Французанина под руку:

- Идем! Не то я его убью!

К Плещееву кинулись стражники. Григорий бросил им кису, в которой весело звякнули ефимки. Стражники отступились.

- Надо нам поискать иное жильё, - сказал Григорий, - да пора свой дом строить. Того, что намыли на ручье, нам хватит, а после еще сходим. План ведь перенесен с бересты на бумагу и надежно спрятан. А воевода пусть думает, что мы нашли только медную руду.

## 42. ВАСИЛИСА, ПОДРУГА ЛУНЫ

Ставить дом Григорий позвал казаков с Украины. Плотбище было рядом, оттуда натаскать бревен им ничего не стоило. Был у них инструмент, была сноровка.

В эти дни Григорий жадно ждал вестей из Москвы. И часто уезжал за город, на охоту, потому что так время проходило быстрее.

Однажды встретил за городом казаков, сопровождавших ссыльных и каторжников. На одной из телег он увидел девушку очень красивую, с необычными глазами. Спросил одного

казака - чья? Откуда? Казак отвечал, что девку зовут Василисой, что она из дворовых князя Щербатого. Перепортила у того князя скотину, самого его чуть со света не сжила. Теперь везут в Минусинской.

"Не дам сжечь!" - подумал Григорий, - "хватит Гарвею беса тешить. Да она уж тем дорога, что Оську со света сжить хотела. Смотри где о себе, мерзавец, напомнил!"

Плещеев потряс кисой, мол, нельзя ли купить девку?

- Что ты! - сказал казак, - везем по цареву указу, под роспись надо сдать. Поищи зазнобу в ином месте, с такими-то деньгами везде найдешь...

Григорий повернул коня и стал нахлестывать нагайкой. На добром взгорке среди рощицы вырос сруб. Здесь сперва был выстроен сарай, в коем жили они с Саввой, а теперь мужики в барашковых шапках тесали плахи и копали ямы под подвалы, грузили камень, били щебень.

Григорий принес из сарая бочонок и крикнул украинцам, чтобы отдохнули. Сели, кто на бревно, кто на чурбак. Звякнули оловянными стаканами. Григорий спросил - умеют ли казаки хранить тайну? Старший ответил, что все они здесь ссыльные и друг друга не выдают.

- Тогда знайте, что мне нужно. Из подвалов сделайте ход, чтобы в случае Осады я мог покинуть дом незаметно. А еще мне нужен будет другой ход, который надо делать так, чтобы никто кроме вас его не увидел. Ход тот сделайте мне от речки Толчейной под ту вон монастырскую стену, чтобы выход был в пытошный подвал. И я вам потихоньку укажу, в каком именно месте.

- Раз надо, сделаем! - отвечал седоусый, - для хорошего человека

- почему не сделать? Тихо подкопаем, мы люди военные, не раз это делали, Подроем, куда скажешь, а там уж - твоё дело.

- Вот и ладно, - сказал Григорий, передавая усачу кисет с ефимками.

В училищной избе старый казак Еласка Буда говорил с казачатами:

- А ну-ка, Филиппка, прочти, что написали Ермак Тимофеевич да его товарищ Аргак Андреевич царю Иоанну?

Филиппка, подтягивая штаны, звонким голосом прочитал:

- Божию милостью и заступлением пречистыя Богородицы, и молением московских чудотворцев, и твоим царским величеством и счастьем, и храбростью, и грозою, на твое цареве величество, под твою царскую руку сибирское царство ввели....

Григорий заглянул в школу, кашлянул:

- Не пора ли ученье на сегодня кончать?

Еласка отпустил детей. Спросил Григория:

- Ну, что? Готов подкоп?

- Готов. Только медлить нельзя. Покалечит Гарвей девку своими щипцами.

Да, тут время не терпит...

Они пошли к Григорию в дом, который уже увенчался крышею, всюю шли работы по строительству тына.

Савва Французанин сидел в сарае и обрабатывал шар из горного хрусталя. Перед боевой вылазкой он хотел погадать на счастье.

Вспомнили приезд протопопа Аввакума в Енисейск. Набрал он воды из ручья умыться, а вода-то окрасилась красным цветом. И сказал:

- Никон-то книги все правит по-бесовски. И красный цвет - это мой конец. Вижу его, как пожар большой...

- Да, сказал Григорий.- Надеялся я на нового патриарха, а ему не до меня. Он свои дела правит. У каждого - свое. Ну, смотри, Савва, в свой шар. Что ты для нас увидишь? Был ты маркиз Брабантский, был возле короля, а ноне - где? И я был при патриархе и возле царя, а где я теперь? И где мы будем завтра, можешь ты мне сказать?

Савва поднял свой шар на ниточке, долго вглядывался, потом сказал:

- Глазами ослаб я, и хрусталь горный темен. Смутно вижу, что-то вроде сводчатых подвалов, вижу огни далекие, но что это - не понять.



- Ладно, братья, ждем свое время, - сказал Григорий. - Пойдем перед рассветом, тогда палачи утомятся, по домам пойдут. Только бы стража не услышала, как пол будем ломать, придется отламывать по пылиночке.

Сидели трое возле бочонка с вином, каждый думал свое. Григорий думал, как отомстит Осипу Щербатому, умыкнув женщину, кою тот заточил. Буда думал о том, что после многих походов засиделся он в городе, застоялась кровь.

В рассветный час, поеживаясь от тумана и росы, пробрались к берегу Толчейной, отодвинули доску с дерном, нырнули в тайный лаз.

Первым лез Григорий. Казаки сделали ход умело, в нужных местах подперли стойками. Григорий считал время в уме и множил цифры. И когда уперлись в стену, понял, что находятся под подвалом тайного приказа. Все трое принялись ковырять камни над своими головами. В подземном ходе они могли стоять лишь на коленях, да нужно было вытаскивать камни по одному, чтобы камни не рухнули им на голову, да не погребли их навсегда под собой. Григорий говорил тихонько, ни к кому не обращаясь:

- Искал дед маму, да попал в яму, у кого долото бреет, а у нас шило не берет. Таракан с печи свалился, в сучке ногу увязил. Кабы не воры, не были б запоры. Тут такие портные, нить у них пеньковая, а игла дубовая.

Не хватало воздуха, и холодный пот их прошибал. Наконец один камень вывалился, и сразу почувствовалось, что воздуха стало больше, Впереди была темнота. Поднатужившись, Григорий подтянулся на руках и влез внутрь подвала.

Он наткнулся в темноте на что-то мягкое. Кто-то рядом всхрапнул. Григорий высек огонь и зажег свечу, увидел спавшего на лавке стражника. Немножко не рассчитали украинцы, ход вывел не в келью, где томилась Василиса, а в коридор.

- Сюда! - шепнул Григорий Еласке Буде, втаскивая в дыру Французанина, - потише! Спит тут один, не разбудите, а то не выспитесь.

Затолкали стражнику в рот кляп, натянули кафтан на голову, связали покрепче. Звеня ключами, пошли по коридору, со свечой, перепутали и открыли не ту дверь. Пахло прелой соломой, мочой и еще чем-то неприятным. На подстилке на коленях стояла старая, растрепанная баба. Увидев их, она заорала дурным голосом:

- Родименькие, помогите! От беса я зачала робеночка. Он шевелится во чреве, а вылезти не может, рожки ему мешают. Вот он копытцами мне под сердце стучит, да так больно! Который год разродиться я не могу! Спасите, миленькие! У меня имение под Москвой, всех озолочу!

- Молчи, стерва! - сказал Григорий и захлопнул дверь. Нельзя было терять время. В любую минуту в тюремный подвал мог кто-нибудь прийти. Надо было спешить.

Открыли дверь соседней кельи, там увидели Василису, которая спала, стоя на коленях. Увидев их, она забормотала:

- Опять мучить пришли, али ночи вам было мало?

- Мы пришли тебя спасти,- сказал Григорий, - ничего не бойся, сейчас мы уведем тебя из сего узилища.

Долго выламывали ломиком чепь из стены, повели Василису к ходу, как была, с чепью на руке. Спрыгнул в дыру Григорий, принял Василису сильными руками, потащил, за ним Буда спустил в ход Французанина. Старый казак полз по ходу последним.

Вот вылезли они на берег Толчейной, вот и в лодку залезли, Еласка Буда оттолкнулся от берега веслом. Вода следов не оставляет.

Пусть думают - в которую сторону ушли? Пусть головы ломают. Вода в реке всегда другая, всегда новая, а та, что была вчера, утекла далеко, далеко.

Вода тоже друг казака, она его катает, она его кормит, она его в колыбели качает.

Вышли на берег далеко от монастыря, а лодку пустили плыть по воле волн - куда унесет. Сбили с Василисы чепь и утопили в реке.

Пришли в дом к Григорию. Василису отправили спать в особую горницу. Сами обмыли успех дела крепким вином. И пели песни, и казак Буда плясал, как, видел, пляшут в Туретчине. И смеялись, и в ладоши хлопали.

Послал Григорий Буду на другой день на торга, купить для Василисы материи разной. Села она шить себе сарафаны и прочие женские одежды. А однажды сказала Григорию:

- Не знаю, как благодарить тебя, а что ведьма я - не верь. И хвоста у меня нет.

- А вот мы это проверим! - сказал Григорий. И если она вспоминала объятия князя Осипа с омерзением, то объятия Григория ей были приятны. Она ответила на поцелуй, и гладила его тонкие, но сильные пальцы.

И была у них ночь, какой давно не было у Григория и никогда не было у Василисы. Потолок становился звездным небом, и летели они в звездную даль.

Очнулись под утро, как два цветка на одной ветке. Два несчастных цветка, помятых ветрами жестокой жизни, но все оставшихся жить.

И мечталось еще радоваться жизни. Мечта всегда живет в самой малой пылинке на этой земле.

### 43. ЦВЕТ РАЗЛУКИ

Дни в любовных утехх пролетают быстро. Кому-то в августе были заботы: косить, пахать, сеять. В августе серпы греют, а вода холодит. Отцветают розы, опадают росы, скот бывает гладок, пчела не носит взятки. Спеет малина, справляют осенины. Одев яркие платы - поют на закаты.

А для Григория Василиса была - осениной, а губы ее - малиной.

Енисейцы сжали последний снопок, бабы рвали в засолку укроп, и шли на гумно сторожить с кочергой, Огуменник чтобы туда - ни ногою.

И кончились ныне у нас осенины, а ягоды - только лишь гроздь рябины. Ужи поползли по лугам прямо днем, от старых осин запасаясь огнем. И птицы на юг полетели, охотники в дудки свои задудели.

Григорий ко всему охладел, всё больше отсиживался дома.

Ни в кабак, ни в съезжую, никуда не ходил Григорий. Коли о службе речь шла, сказывался больным.

А Французанин, видя отстраненность друга, все чаще до кабака ковылял. Сидел, курил табак, читал вывески, которые велено было повесить во всех значных местах: "Сидеть самосадам вино, воры будут караться. Блудных женок не водить!" Странно было видеть такие угрозы, потому как почти в каждом дворе курили свое вино, и блудные жонки по пивным местам шастали. А если бы кто попался, то могли бы отговориться незнанием грамоты. Не читали они этой вывески и все тут!

Воеводы в Енисейске поменялись. Теперь уж воеводой был Максим Григорьевич Ртищев, а подьячим - Викула Палеев.

А нам - плевать! Мы пьем, за уши не льем!

И крутил Французанин на ниточке шар хрустальный, который показывал волшебные картины. И каждый казачина видел в этом шаре свое: кто родину далекую, кто матушку умершую, кто свою суженую.

Но показывал свой шар Савва в уголке за печкой, тайно. Ибо знал, что новый воевода суров ко всякому волшебству и гаданию. Говорили, что обозвал по приезде Енисейск воровским городом. И то сказать, ссыльные, да беглые, да каторжники, да ведьмы. Да и казаки-то - хуже дьяволов.

Василиса души не чаяла в своем спасителе, сама не верила в свое счастье. Но все больше томило ее то, что не могла она выходить из дома. А так хотелось бы прогуляться ей возле речки или озера вместе с милым своим дружкой, себя показать, да людей посмотреть.

- Что тебе жить со мной, если я - ведьма, даже из дома мне выйти нельзя? - все чаще стала она говорить так Григорию. Он ее успокаивал, как мог: мол, пройдет зима, настанет лето, тогда сходят они на ручей заветный, намоют золотишка и уедут куда-нибудь. Может, в царство Богды-царя. У Григория есть старые книги путеводные, он знает - куда надо идти. С золотом - везде двери открыты будут.

Через многие горы, через пустыни, мимо сухих и мокрых озер, соленых и пресных, к великой стене, по которой можно на шестерке лошадей по верху ехать. И у той стены еще три дня идти и будет город Канбалык, у громадных ворот три тысячи стражи. Купцов в город не пускают, возле стены торг идет.

- Так и нас в город не пустят? - мечтательно спрашивала Василиса.

- Нас обязательно пустят! - говорит Григорий. - У нас золото будет с собой.

А хоть и без золота. У того царя китайского есть русские люди в войсках. Рождены они были от баб-каторжанок, потому им все нипочем, наша русская вера им - не указ. Убегли в ту страну и служат тому царю. Их целый большой отряд, и тамошний царь говорит, что у него лучше нет воинов, чем эти.

- А на ком же они там женятся, там ведь женок русских нет? - спрашивает Василиса.

- А женятся они на китайских тех девках, у которых глаз такой узкий, что и прищуриваться не надо. И с лица те девки желты.

- Страсть какая! - восклицает Василиса. - Так детишки-то у них, какого цвета получаются?

- Бывалые люди, которые там бывали, говорили, что рождается ребенок у них со светлыми волосиками, голубоглазый и до семи лет похожий на русского, а далее - чернеть начинает волос, кожа желтеть, а глаза узкими и карими делаются.

- И никак им русского ребенка не родить, получается?

- Для этого надо приговор знать. А приговор такой: от рожона, от ношена, отступися, откачнися, не то, черный, черемной, урочливый, дадим соли в глаза, тут тебе и коса!.. И читать приговор надо, пока младенец во чреве.

- А что будет, если у нас дитя зачнется? - порозовев, спрашивает Василиса.

- Там будет видно.

А Василиса задумается. Там будет видно? Не кручены, не венчаны. Она, вроде как ведьма из подземелья, а теперь в плену, хотя и в почетном. Если и правда, что весной золота намоют, да в далекую страну им идти, а в ту пору у нее живот будет, как - тогда? Мужикам проще: встряхнулся и побежал. А тут... А что-то похоже на то, что ребенок-то у нее уже зачался. Но пока зря тревожить Григория не хочет, не говорит.

И в ночи, когда полная луна, ей было особенно томительно, особенно ее тянуло на улицу.

А Григорий в ее настроение вникнуть не мог. О своем думал. Куда же деваться? В самом деле, что ли, в желтую страну бежать?

Да ведь он-то хотел бы по-своему говорить, своим людям служить. Он ли дурнее тех, что в Москве возле престола столпились? Он хоть по посольским делам хлопотать, хоть бумаги писать, хоть считать, хоть войско вести - все способен делать. А что - теперь? И что - дальше? Этого даже Саввин шар показать не может. И выпив большую ендову вина, валился он на ковры, катался, бил по ним кулаками и засыпал на полу.

И однажды, когда он спал, вышла из дома Василиса на двор, и, глядя на полную луну, на крышу влезла. Уже первый ледок на лужах похрустывал, а была она босая и простоволосая.

И, на беду, проходил мимо ярыга, пригляделся: да это же ведьма, из подвала сбежавшая. Ее же столько все ярыги по всем лугам высматривают. Плата большая за ее поимку обещана!

Кинулся он в караулку. А Василиса, как зачарованная, на краю крыши стоит, ничего не видит, ничего не слышит, только луна в ее сердце сияет, велит смотреть на нее, тосковать о чем-то, что было десять тысяч лет назад. Что именно было - не помнит, но чувствует - было! И надо думать о том, надо стоять здесь на ветру.

Стражники бегут. Собаки взлаяли, Савва Французанин Григория будит, добудиться не может.

Стражники уже через тын перелезли. Взвизгнул пес Полкан, которого один стражник сабелькой рубанул. Стражники лестницу к крыше тянут, начинают по ней взбираться, ничего не видит Василиса, стоит спокойная, полуулыбка на губах застыла.

Савва с пищалью ковыляет в сени, в малое окошечко прицелился, выстрелил, сшиб одного стражника. А их много, пока пищаль перезаряжал, порубили сенную дверь, в сени ворвались, не успел еще выстрелить, раскроили ему череп секирой.

В светлицу ворвались, оглушили Григория кистенем, связали по рукам и ногам, в тюремную избу волокут.

Остался новый дом - сирота. И под шумок стражники кое-какие вещички припрятали. Все равно казаку Григорию Плещееву за такое-то дело, как укрывательство ведьмы, из тюрьмы вовек не выйти. Его имущества лишат, как и казачества. Дак лучше взять для своей пользы и эти одежки дорогие, и крест золотой, и ткани из сундуков. Все спишется!

Василису тем временем утащили в тот же каменный мешок, откуда сбежала. Только теперь пол в подвале еще железом покрыли, да страже велели не дремать, ни днем, ни ночью. Впрочем, сказали, недолго ведьме тут сидеть. Только допросы снимут, так и сожжет ее заплечных дел мастер Гарвей Каролус.

#### 44. БЕДОВЫЙ ВОР

Привели Григория на допрос в съезжую, допрашивал его подъячий Викула Палеев, присутствовал при этом сам воевода Максим Григорьевич. Много был наслышан он о Плещееве. И в Москве ему сказали, чтобы никакого послабления Григорию не делал, а лучше всего, чтобы Григорий этот в тюрьме бы сидел. Вот теперь и случай вышел его надолго упрятать, может, навсегда. Викула Палеев орет:

- С ведьмами путаешься? Чертовщиной занимаешься? На костре изжариться захотел? А Плещеев ему:

- Ты сам черт! А я не у таких чертей сживал. Я в Кузнецке сидел, я в Томске сидел. Я всюду сидел, да всюду вышел.

- У нас не выйдешь! - вскипел вдруг воевода Ртищев. - Пороть его кнутом, пока не расскажет во всех подробностях, как у него с ведьмой связь получилась, через какие чары. Что еще ведьма наведьмовать собиралась?

Пошли за Каролусом Гарвеем. А тот рад стараться. Не забыл пинка того самого. Ух, отомщу! Кнут-то из воловьей кожи. Просеку насквозь.

Григорий на "козле" лежит, зубы сцепил, ни звука не издает. Даже воеводе любопытно. Правда, черт! Терпит. Да и спина вся в шерсти, как в рубахе. Долго старался Гарвей, аж вспотел. Вот отвязали Григория, воевода спрашивает:

- Ну, каково?

- А ничего, - отвечает Григорий, - ровно комар щекотал. Уж дали бы мне Каролуса выпороть, уж я бы его научил, как кнутом пользоваться.

- Ох, Гришка! Доведешь ты меня! - вскричал Максим Григорьевич, - прикажу запороть до смерти!

- А слышал ли ты, воевода, про святого Василия Мангазейского? - спрашивает Григорий. - Так вот. В Туруханском крае в тысяча шестьсот втором году воеводою был самодур вроде тебя, Савлук Пушкин. Забил по дурости своей ключами амбарными до смерти служителя купеческого Василия. И бросили того Василия в болото. И прошло двадцать лет, и однажды охотники нашли тело сего Василия нетленным. И был причислен к лику святых. И боле я тебе ничего не скажу, об остальном сам думай.

- Убрать его! - заорал воевода. - В тюрьму. Воды не давать, а кормить соленой рыбой. Небось, и без кнута заговорит.

Мужская тюрьма в Енисейске была поболее размером, чем в Томском. Было в ней две половины. В лучшей половине сидели аманаты. Были они в крепях-чепях, да в казенках-колодках. Однако, могли выходить на двор тюремный свободно и кормили их хорошо.

Были они залогом того, что ясашные людишки из дальних улусов будут платить ясак исправно, и не перебьют, не покалечат сборщиков.

Но и в аманатском сидении радостного было мало. Случалось так, что сборщиков ясака убивали в дороге совсем не те племена, из которых аманаты взяты, но аманатов все равно казнили. Так, что ели хорошо, да мысли были у них не сильно хорошие.

Григорий попал в ту часть избы, где сидели разные оторви-головы. Они сразу же стали приставать с расспросами: верно ли, что он с ведьмой спал. Каково это на вкус? И ездила ли она на нем по ночам? Он отвечал кратко:

- То она - на мне, то я - на ней.

Рыбу соленую, которую ему принесли, съел. Все мужики в тюрьме были предупреждены, что нельзя давать ему воды ни под каким видом. За это казнь лютая была обещана.

А мужики знали, что меж ними ярыга есть. Но не знали - кто из них? И не давали Григорию воды. И тюремщики нарочно перед ним ковш берестяной пустой ставили, дескать, посмотрит, пить захочет, говорить начнет, подьячего позовет, да все про колдовство-ведьмовство расскажет.

Григорий молчал, пить не просил. Утром стражники заглянули в тюрьму, как им ведено было, смотрят, а перед Григорием - полный ковш воды!

- Где взял? - спрашивают.

- Нигде, - говорит, - видал во сне кисель, да ложки не было, лег спать с ложкой, да кисель не приснился. По усам текло, а в рот не попало. А лучше вы так скоро, как я, скороговорку скажите: ал лал, бел алмаз, зелен изумруд!

- Молчать! - кричит стражник, - где взял воду, спрашиваю?!

Стали всех сидельцев тюремных на дворе поить, в избу воды не давали, из ковша у Григория воду вылили. Утром пришли, а ковш перед ним опять полон.

- Где взял?

- Нигде. Сон мне снился, будто на утках плавает озеро. Еловую палку бросил - перебросил, рябиновую бросил - недобросил, березовую бросил - угодил. Озеро улетело, а утка осталась. А я ее съел. А вот вы скороговорку так скоро, как я, скажите. У дуба суха - два сука, один сук мокр, другой сух, у суха сука - белошерста сука!

- Вот и видно, что ты для костра поспел! - сказал один из стражников, -- а для топора ты и сразу был готов.

С той поры стали его кормить, как всех, горохом пареным да репой, а воды не лишали - бесполезно.

Томительно тянулись дни. Только и узнали, что ныне - праздник. По всем церквам читают с амвонов о воссоединении Украины с Россией. Провидцем оказался патриарх Иосиф-то. Верно все предсказал.

Было в тюрьме двое украинских казаков. Их хлопали теперь по плечам: братья! Теперь мы еще роднее. От одного же корня пошли, первый язык Наш был общий, да и теперь понимаем же друг друга без толмачей. Вы - казаки, да и мы - казаки, понимаем же друг друга без толмачей. Вы - казаки, да и мы - казаки, так чего ж нам, братья, делиться?

Григорий вел себя смиренно. Муха уснет, он для нее маленьким ножичком колоду вырежет и хоронит. Таракана мертвого найдет и его хоронит. И всю службу читает, как дьяк над покойником.

- Шутовой парень! - говорят про него разбойники Васильевы, братья-погодки. - Нам бы его в шайку - не скучно было бы!

А братья эти на караваны нападали на лесных тропах. На людей воеводских, ехавших в острог с ясаком, и лесных людишек грабили: отнимали пушнину, жонок и дочек. Много за ними числится дел.

Долго добивался Еласка свидания с Григорием, по-разному тюремщиков умасливал, кому - вина кувшин, кому - ефимок. Среди стражников и знакомые были. В одно из воскресений пустили его на свидание.

Буда передал Григорию корзину с вином в тыквенной баклаге да едой. Тыквенную баклагу потому Еласка положил, что знал - это всегдашняя походная фляга Григория. Правда, из другой тыквы вырезанная, а та, что была прежде - в доме Григорьевом осталась.

Григорий впился зубами в жареную утку, глотал жадно, а когда проглотил последний кусочек, спросил:

- Что с Саввой? На воле он?

- Эх, парень, говорить даже не хочется, - отвечал печально Буда, - похоронил ведь я Савву-то.

- Как?

- Так он же дом оборонял, стражника подстрелил, ему секирой голову развалили на две части, как арбуз.

Глотнул Григорий из баклаги вина и потупился:

- Из-за меня погиб. Чудна судьба. Был маркизом брабантским. Дядя его, маркиз, был девственником, поскольку алхимией занимался. А только девственнику духи даются. И когда умирал его дядя, то завещал Савве хрустальный шар. Через сей шар можно видеть разные картины прошлого и будущего. Но для этого надо быть девственником.

И Савва им оставался. Никогда женщин не знал. Зарок, данный дяде, исполнял. Он рожден был при короле Генрихе четвертом да королеве Марии Медичи, воспитан, как фряжский дворянин. Служил же на войне при польском короле Сигизмунде, и попал в плен. Сослали его в Томск, а там воеводы у него хрустальный шар отобрали.

В Енисейске он сделал шар другой, но говорил, что сей шар уже хуже первого. Руду с лозой искал. Многоученный муж, золотая голова, а они по этой голове - секирой. Досадно. Отомщения такое дело требует. И что за судьба? Фряжскому маркизу умереть на чужбине? Ты его похоронил?

И рассказал Буда, как он ходил к Прасковье Племянниковой. Говорили. Пожертвовал на монастырь изрядно. Разрешила тогда похоронить на задворках монастырского кладбища. Вырубил он крест ему православный, написал имя и звание на камне. Пусть ему земля будет пухом. Лежит не так далеко от казаков, погибших в походах. Савва ведь тоже был землепроходец изрядный.

- Многих Сибирь-матушка успокоила, - задумчиво сказал Григорий, - казак не тот, кто в поле скачет, а кого рубят, а он не плачет. Народ наш неугомонный, всегда на нашей земле будут казаки, куда свет стоит.

Григорий пригнулся к уху Еласки и шепнул:

- Бежать хочу, не придумал еще - как. Больно тюрьма крепка, камня в сих местах много, вот и строили крепко. Буда шепотом отвечал:

- Бежать надо, казаку в неволе - не в чистом поле. А знаешь, что сказал казак, когда в поле у костра прикуривал трубку да опрокинул котел с кашей? Сказал он, мол, тут теснота такая, что повернуться негде!

Эх! А дом твой отдан ныне со всем добром, кое в нем есть, Гарвею проклятому. Там змей бородавчатый ныне пьет твоё вино, да нечистым духом своим углы отравляет. Говорят, все иконы православные в нужник побросал. Обливанец проклятый, на статульку молится. Потерпи чуток, еще приду, плавун-травы принесу. Высушу ее, разотру в мелкий порошок, научу тебя, как с ней поступить...

Стражники уже заглядывали в тюремную избу, один, сидевший в ней, наблюдавший за свиданием, сказал:

- Довольно тебе, Буда, шептаться, как бы не договорились до чего.

Буда обнял Григория, поклонился, надев свою вишневою шапку, вышел, наклонясь в дверях.

Григорий после сего стал еще веселее. Повеселиться у нас на земле охотников всегда - хоть отбавляй. И Григорий потешал всех веселыми приговорами, которые слышал у московских скоморохов да в разных землях зарубежных у всяких затейных людей.

- Около свищет. Кто? Где? Ищет. Свищет - беда! Он - в лес. На березу влез. Сидит. Все равно свистит! Свистит в лесу. А свистело... в носу!

- Га-га-га! - смех сотрясал тюрьму. Смеялись братья-разбойники и украинцы, попавшие сюда за то, что казенный лес на сторону сбывали со своего плотбища, и прочие удалые люди.

Иногда приходили послушать Григория и стражники и тоже от души хохотали. Уж очень неожиданны и забавны были его шуточки. По здешним местам никто ничего подобного не знал.

## 45. В ТАЙНОМ ПРИКАЗЕ

Игуменья Параскева Племянникова гордилась своим монастырем. Нигде на Руси больше такого не было. Монахинь она тоже подбирала особенных, сильных духом своим, сильных молитвой особо-крепкой. От такой молитвы диавол трепещет.

Знала игуменья, когда они собираются вместе и моление господу возносят, узницы в тайном подвале беснуются, у них пена идет изо рта, их ломает, изгибаются по-всякому, ноги к голове задирают, трясутся, а из их чрева дьявол вопит: " Не выйду, не выйду!"

Страшно монахиням, но и гордятся они: важная им поручена забота. Может, грешниц закоренелых не всех исправят, но дьяволу будет немало хлопот. А если из кого-то удастся дьявола изгнать, так великая будет им честь и хвала.

Монахини в большинстве случаев старушки, их мужья в битвах за Сибирь богу души поотдавали. А им тут воевать, на духовном поле. Им молиться за всех грешных людей, чтобы господь простил их, детей своих неразумных.

С утра в подвалы тайного приказа явились поп и дячок. Пономарь нес под мышкой требник митрополита Петра Могилы. Не было на Руси более сильных молитв против дьявола! Были в этих молитвах страшные заклинания, от которых враг рода человеческого в корчах исходил.

Лязгали запоры, тюремщики открывали дверь то одного, то другого каменного мешка. И кропил священник ведьм святой водой, и начинались истерики и конвульсии, да еще звучали слова Петра Могилы. И закоренелые грешницы каялись в совершенных ими ужасных деяниях, и писцы тут же писали всё в свитки, и требовали руку приложить, и послухи расписывались.

Вот и теперь переходили они из каморы в камору, и дошли до той, где теперь Василиса была. Пол там был настелен железом, да приковали её к стене чепями за обе руки. И можно было только стать ей на колена, чтобы грехи замаливать, а лечь, поспать, отдохнуть - чепь не пускала.

И вошел священник к ней и окропил святой водой, а ей хоть бы - хны. Не шевелится. Отсутствующим взглядом смотрит. Душа ее где-то у дьявола, наверно. Читает пономарь из Петра Могилы самое страшное. Поп говорит:

- Покайся! Тебе легче будет перед богом ответ держать. Скажи все, что знаешь. Молись!

Молчит Василиса. Видит, что подъячий с пером тут, как тут. И подъячий говорит:

- Скажи. Что дьявольским наущением тебя Григорий Плещеев-Подрез опутал. Расскажи, как он с дьяволом встречается? Какие за ним еще дела есть?

А Василиса думает: "Господи, за ту маленькую толику любви, которую я узнала на этой земле, пусть мне будут муки великие. Но за что же Григория наказывать? Ему ли, высокородному и высокоученому, жить во всякой мерзости и запустении?"

А еще, господи, ты же знаешь, под сердцем у меня ребенок Григория слушает материнскую утробу. Ты, господи, из милости своей создал этот мир. Так прости меня, грешную, пожалей невинного младенца во чреве моем. Освободи меня от пут нынешних, не дай меня казнить.

Пусть бы я робеночка родила, а уж потом пусть казнят. Или дозвожь потом в монастырь мне уйти, господи, что бы век возносить молитвы и милости к падшим просить".

И ничего не сказала Василиса в этот раз подъячему. И ночью пришел палач Гарвей, опять лязгали засовы, опять писцы явились, и факелы смоляные пылали. И пошла работа по всем каменным мешкам. После полуночи и до Василисы добрались.

И стал Гарвей раздувать меха горна, в который были помещены длинные щипцы. И щипцы раскалились до бела, даже ручки были горячи, но Каролус имел на руках бараньи рукавицы. Подъячий спросил:

- Добром прошу - скажи, что знаешь про дьявольские козни Плещеева, не то огнем будем пытаться!

Молчала Василиса, только радужные глаза пристально Гарвею в его буркалы смотрели.

Гарвей хлебнул винца из кувшина, взял клещи и поднес к белому плечу Василисы. Запахло паленым мясом. Но ни звука не издала ведьма, только с великой ненавистью смотрела в лицо Гарвею, да потом взор ее помутился и повисла она на чепях своих.

- Ладно, - сказал подьячий. - Пусть охолонет. Потом будем пытаться еще, а ежели через неделю не скажет, так приговорим к сожжению. Такова воля воеводы. Нам таких долго держать не полагается. Она на других свое дурно пускает.

Через пономаря да попа дошло до Еласки Буды, что Василису хотят казнить. И оделся он в самое дорогое и к воеводе Максиму Григорьевичу пришел. И вел такие речи:

-Ты, воевода, меня знать должен. Мы три великих похода ходили, о которых и на Москве слышно было. Я под цареву руку многие сибирские земли привел. Так вот, можешь ты мою просьбу уважить?

- Почему же не уважить бывалого казака? - говорит воевода и улыбается.

- Так дело такое. Сидит здесь при монастыре девка Василиса. И ведьмовского в ней не боле, чем в тебе или во мне. То, что при луне на крышу вылезла, так это порчу кто-то на нее напустил, а в остальном она вполне добрая девка. Я прошу ее выпустить, могу ее к себе на поруки взять, на воспитание.

- Ох, старый! - погрозил пальцем воевода, - седина в бороде, бес - в ребро? Но поищи себе другую зазнобу. Это же тайного приказа дела. Тайный приказ, он воеводе не подчинен. И почто мы будем ведем из тюрем вынимать? Придумал бы что получше.

Ушел Еласка. Стал думу думать, как Василису спасти? Много он в своих походах повидал, во всех битвах бывал, побеждал. А тут... И готов был плакать от бессилия старый казак. Пошел к Гарвею:

- Позволь мне при казни Василисы присутствовать, поспособствуй. Заплачу хорошо, очень я люблю на всякое такое, эдакое смотреть.

А сам Буда при этом думал, что только бы ему в тот двор попасть. Пищаль малую обрезную под кафтаном пронести, да кинжалов пару, Уж он покажет всей этой своре. Это будет бой, так бой! Небось, по-мужски биться, это им не баб связанных мучить. А Каролус важно сказал:

- Ведьма сия особливая. Это можно всякое дурно от одного ее взгляда получить. Да и не в этом дело. На ее сожжение никто не будет допущен. Из нее в пламени будет выходить бес.

Эх, слышал бы ты, как дьявол перекликается устами ведьм этих, когда все каморы для проветривания открывают. Одна кричит: " Мне бы воды и мыльце", а дьявол устами другой ведьмы вопит: "Тебе свиное рыльце!" Я, если жив до сих пор, то потому только, что смываю всякую скверноту вином ежечасно.

А это разве легко мне? Другому бы и года не вытерпеть, а я десять лет тут служу палачом. Куда проще мне на съезжей избе отодрать кого-либо кнутом, или же кому-нибудь руки повыкрутить, чем с этими ведьмами возиться. Зато вот, смотри! - и Каролус показал Еласке ожерелье, которое, как знал Буда, подарил Григорий Василисе, и перстень, который также был ей подарен.

- Все имущество сжигаемой ведьмы, если таковое имеется, отдается палачу, - сказал Гарвей.

Еласка ушел. Хрустел ледок в лужах. Пахло из изб хорошо, потому что бабы рубили капусту, хрустящую, как первый снег. Выводили на порог избы карапузов и поливали их из решета от призора, от сглаза. И мальчишки кричали отлетающим гусям: "Колесом дорога!" И это означало, что они просят их, чтобы весной птицы сюда вернулись снова.

И снова сжигали старую солому из матрасов и набивали новую, которая от мечтательных снов детских или любовных ласк взрослых должна до весны утолкаться, смяться и сопреть.

И прошло еще несколько дней. И узнал Еласка Буда, что в тот самый день, когда воробей под кустом пиво варит, когда лешие ломают деревья и гонят зверя, ночью на тайном



дворе проклятый Каролус сжег несчастную Василису. Говорят, и маков отвар пить она отказалась, и не стенала, и не плакала, потому что была опоена Григория любовью и своей любовью к нему.

И вороны носились над тайным двором и каркали, как полоумные, и смоляные факелы коптели. И во всех церквах города колокола сами собой в момент сожжения блямкнули один раз. И кто это слышал - содрогнулся от страха. К чему это?

А старый казак Еласка Буда плакал в своей одинокой избе и говорил такие слова:

- Почему же нельзя победить бесов во всех этих людях? Которые другим завидуют, которые себе добра набирают не по своим заслугам, а по их хитрости? До каких же пор будут благородство оплевывать, чистоту грязнить и казнить, а грязь будут возвышать до небес? Может, это нам главное испытание господне? Тогда хотел бы я посмотреть, как все криволюбцы будут лизать в аду раскаленные сковородки...

#### 46. ПОБЕГ

А в тюремной избе печка пышет жаром. Кого-то уже осудили, да отправили в неведомые края, в каторжные работы или в службу нелегкую. А Григория уже и забыли, видать, не вызывают, не спрашивают. И нет у него вестей ни от кого.

С воли люди приходят все не енисейские, с этапов, с Тобольска, да с Москвы самой. А что в Москве? Их сказка одна: о патриархе новом, о Никоне. Что же он сделал? Приказал столяру одному искусному ящик сделать, куда бы вошла "архила церковная, книжная". Тот ящик положили в другой ящик да заперли. Потом сделали третий ящик, еще более лепый, да в него два прежних положили и опять прочно заперли.

Зарыли тройной ящик в поле под Москвою, да свечу на холмике зажгли. Ехал государь Алексей Михайлович на охоту. Глядь, а в поле на холмике свеча горит. Что такое? Выкопали. Раскрыли один ящик, смотрят - в нем - другой. Раскрыли другой, смотрят в нем - третий. А в третьем увидели "архилу церковную".

И повелел самодержец сию "архилу" патриарху Никону отнести, пусть объяснит, что сие значит?

И пришел патриарх Никон в Царские покои. Отворяет дверь по пяту, крест кладет пописанному, поклон ведет по-ученому, на две, на три, на четыре сторонки поклоняется, а царю, Алексею Михайловичу в особину. И объяснения дает:

"Позволь, государь, доложить твоему величеству. В архиле писано от ангелов небесных, что надо чинить православному народу троеперстный крест, а двуперстный во грех ставить". Так вот склонил он царя к новому молению и письму. А нас за нашу правду-матушку в Сибирь заарканили..."

Все слушал Григорий. Да сам на ус мотал. И что знал-сам рассказывал.

И однажды к нему опять напросился Еласка Буда. Опять вино принес. И сказал полголоса, что казнили его зазною Василису. А Каролус проклятый Еласку на тайный двор отказался взять. А то бы Еласка голову положил бы, да не дал бы сжечь. Он и к воеводе ходил - что толку?

Погоревали они, да долго Еласке в тюремной избе сидеть нельзя. Улучил момент, сказал, что в корзинке с едой, есть туесок с плавун-травой. Уж так мелко натер, как только смог. И сказал, как поступать надо с травой-плавунном. И ушел.

А Григорий сидит возле печи, веселые слова говорит:

- Хорошо бы арестантам да тюремщиков стеречь! А то наше брюхо хуже злодея, старого добра не помнит, все время нового просит. Я уж и так похудел, скоро лопну! А жить бы нам на море-окияне на острове Буяне. Там стоит бык печеный, у него в заду - чеснок толченый, с одного боку - режь, а с другого - макай и ешь!

Послушать такие речи рад не только тот стражник, что внутри избы за заключенными наблюдает, но и те, что во дворе и у ворот, тоже послушать захотели, зашли в избу. Да и на дворе-то ноне не то, чтобы не жарко, но даже отчасти и холодно.

Слушают стражники, что Григорий вешает, он же незаметно туесок с плавун-травой раскрыл, да порошок-то сверху весь взметнул и тут же кресалом искру высек, уже, когда в дверь выскакивал.

Грохнуло в избе синее пламя. Опалило всем бороды, усы и ресницы. Все стали враз чумазыми, как черти, только что из ада вылезшие, узнать друг друга не могут. Все кашляют, чихают и жмурятся.

Пока прокашливались, промаргивались, Григорий уже подкатил бочку водосточную к тыну, да сиганул через него.

Запетлял переулками окраинными, возле болот, не попасться бы на глаза - кому не надо.

Вот и дом, который Григорию возвели украинские казаки на знатном пригорке. Вот и кусты да елочки вечнозеленые, среди которых замаскирован ход потайной.

Сдвинул Григорий доску с дерном, влез в подземный ход. Какое-то существо от него шмыгнуло, мышшь, должно быть, или крыса. Вот и он, как крыса, в свой собственный дом должен красться. Вот обида! Да и сильно-то обижаться нечего.

И чего Василиса на луну глядела? Говорят, что пятна на луне изображают, как господь бог кормит первых людей хлебом. Но если были - первые, значит, будут и последние? А мы - какие? В середке сидим? Как знать?

А ползти тяжело, воздуху маловато, не проветривался ход никогда.

Обождать надо было, посидеть возле хода открытого. Да ведь нельзя. Беглый. Кровля, под которой водятся голуби, не горит. А он голубей завести не успел, значит, и дом спалить не жалко. Только бы знать, что Каролус дома находится. Работа его ночная, а сейчас еще день, дома должен быть, но надо проверить.

Вот мышшь заскочила за пазуху. Так и есть. Отбросил ее. Говорят, мышшь - за пазуху - это к большой беде. Вот сейчас и посмотрим.

Вот и доска, которую надо отодвинуть, чтобы проникнуть в подвал. Мысли о пожаре. От воров - стены остаются, от пожара - ничего. Если от грозы загорается - это божий пожар. Его можно гасить только молоком от черной коровы, или пивом, или квасом.

И если встанут вокруг такого пожара с иконами в руках безгрешные люди, то дальше такой пожар не пойдет. А наш пожар ничем не загасить. Пожар в груди горит. И сгоришь ты, Каролус, даже золы не найдут. Василису сжег, и тебя сожгу!

Вот и лари в подвале. Открыл один ларь Плещеев, смотрит - пусто, другой, третий открыл - пусто. Все растащили, али, может, Каролус пропил. И шубы нет, и мехов нет, ничего нет.

А вот дверца, подняться к ней по лестнице, тихонько отворить, как дверцу в рай. Или в ад? Разве тут разберешься?

Смотрит в щелку Григорий, а Каролус - тут, как тут. Вот он, пьяный, лицо красное, волосы взъерошены, по полу кухни на четвереньках идет и слышно, как бормочет:

- Я здесь трубку обронил. Где же она? Где она? Сгорела, что ли, как эта ведьма Василиса...

Гарвей Каролус по-аглицки половину слов говорит, но Григорий многое понимает, не забыл еще.

- О, когда я жег Василису, я получил самое большое наслаждение в жизни. Это было даже много лучше того, что испытывал я, будучи юношей, целуя эту простушку Мэри в поле возле копны. О, это был мой лучший миг в жизни, мой самый большой страсть...

Гарвей подполз на четвереньках к подвальной дверце: - Где есть эта проклятая трубка? Я хочу курить, а ее куда-то дьявол утащил...

Лучше бы не упоминать Гарвею дьявола. Две косматые руки с тонкими, но сильными пальцами высунулись из приоткрытого подвала, из тьмы. Они сжали шею Каролуса, словно железным обручем, который все сжимался и сжимался. Гарвей дернулся несколько раз, посинел и замер.

Григорий прошел в светлицу, где спали, бывало, с Василисой. Посветил тусклым фонарем. Все заплевано, из порванной перины пух напал на пол, мерзость и запустение.

Набрал в сундуке порохового зелья, снес все сухое в среднюю комнату, дрова от печки тоже сюда принес, свечи, какие были. Ударил кресалом, поджег. Заторопился обратно в подземный ход. Успел вылезть вовремя. Оглянулся - дом стоял, как ни в чем не бывало. Ну, значит, погасла свеча, погас хворост. Не умеем жечь. Не обучены.

Вот и темнеет уже. Краиной пробирался к избе Еласки, оглянулся и увидел, что вдали на холме вырвались языки пламени. Ага! Все-таки сгорит Каролус проклятый. Жаль, что он этого не почувствует. Ну да ладно, мы не жадные, нам и этого хватит.

Еласка Буда встал, разбуженный шумом. Вышел в вечерний сумрак, вглядывался - где горит. И показалось ему, что это горит дом, в котором Григорий жил. Каролус с пьяных глаз поджег? И вдруг Еласка услышал голос Григория:

-Я здесь, Еласка! Не хочу тебя подводить, да что делать? Сбежал я, Каролуса задушил, теперь мне надо из города выбираться. Сбежать-то сбежал, да куда деваться? Займи коня, достану себе, твоего верну.

Еласка потянул его за рукав:

- О чем ты говоришь? Разве брошу я товарища в беде? Такого среди настоящих казаков никогда не бывает. Конь у меня один. Сядем на него вдвоем, впервые нам, что ли? Сейчас кафтан накину, пищали возьму. Сабля у тебя есть? Возьму и для тебя саблю.

А в тюрьме был переполох. Важный преступник сбежал. Обжег всех огнем дьявольским. Где он? Куда бросился? Доложили подьячему, воеводе самому. Ртищев аж перекосился:

- Вот - турок! Не зря хвалился, что сбежит. И сбежал!

Затопал воевода ногами:

- Весь город поднять, всю стражу, всех казаков, поймать во что бы то ни стало! Упустите - шкуру спущу. Перекрыть все дороги. А тут новые гонцы бегут:

-Воевода - пожар! Бывший Плещеева дом горит. Там Каролус жил, а где он теперь - неизвестно.

- Это тоже Гришкина работа! -кричит воевода, - тут и на бобах гадать не надо. Поймать, связать! Государево дело. Палача убил, беглый, дом поджег...

А Еласка с Григорием из дома вышли, лошадку вывели из стойла, седлают, спешат.

- Эх! - говорит Григорий, - не в попы, так в звонари. Лишь бы до леса добраться.

И тотчас на тыне возникла фигура, и голос резкий прокричал:

- Буда! Дом твой в кольце! Выдавай государева преступника Гришку, не то сам преступником станешь. Он царева палача убил, он поджег содеял. За сие ему костер полагается, как поджигателю.

И там и сям над тыном головы поднялись. Принесли стражники лестницы с собой.

Буда подал повод Григорию и махнул рукой на закатную сторону, и сказал:

- Скачи в ту сторону, там тын ниже, перескочит Рыжак, он у меня конь небольшой, но норовистый и резвый. А я по этим арбузам стрелять буду, небось, сразу с тына скатятся.

- Бежать так вместе, не хочу, чтобы ты за меня отвечал.

- Скачи! - закричал Буда, - некогда тут разговаривать. Меня-то не сожгут. А с тюрьмы я всегда убегу...

Перетянул Григорий коня плеткой, а Буда ударил из пищали по тому стражнику, который уже ногу на тын занес. И тут же сам получил пулю. Заскочил в сенцы старый казак, перезарядил пищаль, а уж двор полон казаков да стражников. Прицелился Буда во Влаську, который был братом подьячего, да и поразил его в самое сердце. И тогда же сразу две пули попало в старого казака.

- Ах, вот вы как?! - вскричал он, открывая камору, где был бочонок с порохом. Открыл он крышку бочонка, закурил, слушая, как рубят дверь. Когда ворвались в дом, загорланили, ища его, сунул он горящую трубку в порох.

Ударило белое пламя, и полетел Буда, как ангел, не зная сам куда, а с ним улетело двое стражников, а еще троих - покалечило.

Григорий перескочил с конем через тын и уже помчался по проулку, нахлестывая коня плетью, и уже свобода была близка, но нагнали его быстрые пули, одна в грудь ударила,

другая в шею. И коня пули поразили и брякнулся он в промерзшую лужу, с последним жалобным ржанием.

Подскочили к Плещееву служивые, подхватили под руки, хотели вязать, но один сказал, глядя, как кровавое пятно расплывается на груди Григория:

- Братцы, а не вяжем ли мы покойника?

Принесли из соседней избы зеркало, приложили к губам Григория. Нет, не запотело бронзовое зеркало.

- Сильно кровит, что же делать с ним? Тащите старый армяк замотать голову.

Кликнули подьячего. Он хотел убедиться, что Гришка в самом деле мертв, не притворяется. Хотел сердце нащупать. Но только руки в крови измазал.

- Куда же его теперь? - спросили стражники.

Подьячий был во гневе, его брата убили из-за этого проходимца и вора Плещеева. И, отирая руки белым платом, который сразу покрылся бурыми пятнами, сказал:

- Везите его в Убогий дом, куда же больше?

И положили Плещеева на телегу, прикрыли армяком старым и драным и повезли по городским улицам.

Вот и перекоп, вода в нем застыла и сияет синеватым льдом. Луна сверху глядит равнодушно. Что ей наши стрельбы, беды, пожары? А, может, она-то во всем и виновата?

Не так ли говорят мудрые звездочеты, странники, много повидавшие? А разве не от луны море выходит из берегов?

Вдали монастырь, как зачарованный, плыл в свете луны, за Скородумом на конном дворе стучал сторож колотушкой. И на башнях сидели дозоры, и в караулке казаки пили потихоньку горькое вино. Ибо по ночам начальство не очень-то любит ходить и проверять их. Спать любит начальство.

Ну, был в городе пожар, потом ловили кого-то, стрельба была. Да в этом окраинном городе всегда кого-то ловят и всегда стреляют. Если надо - позовут. А пока надо к караулу готовиться, на башню скоро лезть.

Сторож Гервасий, как всегда в это время пьяный до безумия, сидел в своей сторожке и разговаривал сам с собой:

- А разве легко мне жить на кладбище? Сюда привозят таких, которые при жизни со всеми чертями спознались. Вон, опять один из угла рожки кажет. Осиротел, хозяин-то его во рву валяется, ему и скучно. За такую плату страхи великие тут терпеть? Да еще требуют мертвяков закапывать. А земля-то уже застыла. До весны-то они и так обождут. А вороны все равно летают, их черт не берет. И всегда голодные...

В это время загремела телега, факела во тьме замелькали. Казаки в караулке из любопытства выглянули:

- Чего там?

- Григорий Плещеев-Подрез из тюрьмы убог, убийством и поджогами занялся, да и сам убит.

- Что же, это казацкая смерть. А пошто же в Убогий дом православного? Чать знатных кровей.

-Подьячий велел, а наше дело маленькое.

Сторож Гервасий, услышав вдалеке крики, а затем и увидев в окошечко огни, проворчал:

- Ни днем, ни ночью покоя нет. То черти докучают, то люди.

Надел сторож драную шубейку, взял посох свой и вышел навстречу ночным гостям.

- Куда его? - спросили из темноты- Мертвого - куда?

Гервасий пошел впереди телеги, указывая дорогу. Возле края рва остановился.

- Сваливайте здесь!

Когда ночные посетители удалились, Гервасий снял с Григория зипун, которым он был укрыт. Затем пошарил на груди, снял крест из дорогого серебра с тремя камнями драгоценными. Стянул сапоги:

- Тебе теперь без надобности.

Хотел стянуть кафтан, но передумал - возни много, тяжелый мужик-то.

Подтолкнул тело ногой, и оно съехало в ров.

Гервасий ушел в сторожку, согрелся стаканом хлебного и стал рассматривать крест.

- Ну и знатная вещь! В темноте-то и не понял, думал - медь. Крест такой, что лучше не бывает. Его в пивнушке заложить, так месяца два бесплатно поить будут. Эх, а я-то! Даже не обшарил его, как следует. Кто мог подумать? Сюда же только нищих бросают. Но не лезть же мне в ров? Али пойти, посмотреть, может, не так далеко скатился?

Хлебнув еще вина, сторож Гервасий, кряхтя и сопя, стал опять одеваться.

В этот самый момент Григорий, как во сне, видел, что он вышел из своего тела, оно лежало среди мертвяков, которых наполовину склевали птицы. И что-то светлое встало на пути Григория и спросило:

- Куда ты? Не забыл ли ты покаяться? Разве у тебя совсем не было грехов?

И Григорий увидел, как медленно, неощутимо для него самого, он возвращается в свое тело, И вдруг он ощутил свои раны, боль дикую почувствовал и застонал,

Сторож Гервасий, уже протянувший, было, руку к мертвому телу, в ужасе отшатнулся. Он сам не помнил, как выбрался из оврага наверх, и как добежал до караулки, которая была вовсе не близко от кладбища.

Стуча зубами, сказал он казакам:

- Там... мертвяк ожил... никогда прежде у меня не было...

И увидел Григорий перед лицом слюдяной фонарь и бородатые лица. И прошептал:

- Причаститься хочу...

Казак Микита долго будил попа, который был не очень трезвым, ибо считалось, что в краю этом суровом после службы самое лучшее лекарство от всех болезней - хлебное вино. И аппетит повышает, и сон добрый дает.

Пришлось идти будить дьячка и пономаря, который тоже вставать не хотел, да что же делать? Служба!

И пришли они в полуразвалившуюся часовенку, и священник исповедал грешника. И дьячок кадил, и пономарь читал: "Днесь, Сыне и Боже, причастника мя прими не бо врагом твоим тайну повем, не лобзанием Те дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя! Помяни мя, Господи, в царствии Твоем..."

А на дворе ветер крутил мокрые хлопья снега, луна спряталась за тучи, видно, надоело ей смотреть на грешную землю.

В воеводской канцелярии на другой день воевода Ртищев спрашивал подьячего Палеева:

- Куда же застреленного беглеца Гришку девали?

- В Убогий дом свезли, родичей у него здесь нет.

- Здесь-то нет, на Москве есть и вокруг нее. Плещеевы, брат, люди непростые. Черт его знает, как еще обернется. Надо было все же в отдельной могиле закопать.

- А его уже во рву Гервасий засыпал.

- Станешь в бумаги писать, запиши, что Гришку мужик от ревности зарезал. А то вернись в Москву, начнут родственники лезть: пошто застрелить дозволил?.. Так, что пиши по-другому.

- А Буда, значит, сам взорвался и других подорвал? Это по-казацки. И какой дьявол его с этим Гришкой повязал?

Подьячий Палеев почесал за ухом, задумался. Вот придется теперь в бумагах врать. А это грех. И правду писать нельзя - воевода не велел.

И зима надвигалась, и грусть брала. А за окном что-то так щемяще и жалобно пропело. А это в караулке казак пробовал свою медную сигнальную трубу, изогнутую, как немецкий праздничный крендель. Он дудел едва слышно, только для тренировки, и звук этот тревожил горожан своей печальной нездешностью. И многие задумались, загрустили.

Эх, Сибирь, Сибирь! Кто тебя выдумал? Не ради славы мы шли сюда, в края неведомые, далекие. Кого сослали, кто сам сбежал, кто государеву службу правил. Отдаем государю меха, рыбий зуб, руды медные, серебряные и золотые, сами сиры живем, аки святые. И сколько нас в лесах и горах сибирских успокоилось? Сколько померзло, от цинги полегло,

от вражеских копий и сабель погибло? Какие адские муки вынесли на земле, и куда нас поместит господь после смерти?

Мы, русские, буйны в труде и битве, буйны во гневе, в забавах, в любви и радости. Куда пришли, там и легли. Помянут ли нас наши правнуки?

Так пела труба молодого енисейского казака в начале зимы 1660 года.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕТЛЫЕ СТРУИ .....
2. ДЕТИ ВОЛХВОВ ...
3. ЗА МНОГИЕ ВОРОВСТВА ...
4. ЭТО Я, ГУРБАН! .....

5. РЕБРО АДАМА.....
6. ТАЙНЫЙ СГЛАЗ .....
7. КЕЛЯС СЕЛЯМ! .....
8. ДУРМАН-ТРАВА .....
9. ЕЩЕ ОДНО ЧУДО .
10. НОЧЬ НА ГОРЕ.....
11. В КУЗНЕЦКОЙ ГОРОД .
12. БАБЬЯ БАНЯ .....
13. БАРБАКАН .....
14. МОРСКОЙ БОЙ НА ТООМЕ.....
15. ТАЙНОЕ ЗОЛОТО.....
16. ПАДШИЙ АНГЕЛ .....
17. ВОРОБЬИНЫЙ СКОК
18. НА СТАРОМ ГОРЕЛЬНИКЕ
19. БИТВА МЕДВЕДЕЙ.....
20. ИЗВЕТ.....
21. КНЯЗЬ, ЛЕЗЬ В ГРЯЗЬ!
22. ПОХОРОНЫ МИЗИНЦА .....
23. ТОНКАЯ ДОСКА НАД ЯМОЙ
24. КНИГА СУДЕБ.....
25. СТРЕЛА ШАЙТАНА.....
26. СМЕРТЬ ИЗЕГЕЛЬДЕЯ .....
27. ГРОМ И МОЛНИЯ .....
28. БЕДНЫЙ НОВГОРОДСКИЙ КОРКОДИЛ
29. К САТАНЕ В ГОСТИ.....
30. ДОЛЯ СИБИРСКАЯ.....
31. ВСТРЕЧА С ЦАРЕМ .....
32. ДАЛЬШЕ СИБИРИ НЕ СОШЛЮТ ...
33. В ПОЛУНОЧНУЮ СТОРОНУ .....
34. РЫБИЙ ЗУБ .....
35. КНУТ ВОЛОВЬЕЙ КОЖИ .....
36. МОНАХ-ОХОТНИК.....
37. ПОЛЕТЫ ПРИ ЛУНЕ.....
38. ДИАМАНТ.....
39. ЖЕЛЕЗНАЯ ГОРА.....
40. ХИТРЫЕ САПОГИ .....
41. ВЕДЬМЫ И ДЬЯВОЛ .....
42. ВАСИЛИСА, ПОДРУГА ЛУНЫ.
43. ЦВЕТ РАЗЛУКИ .....
44. БЕДОВЫЙ ВОР.....
45. В ТАЙНОМ ПРИКАЗЕ .....
46. ПОБЕГ